Троцкий
Л.Д.
История
русской
революции.
Т. 2. ч. 1.
Берлин, 1933

Л. ТРОЦКИЙ

ИСТОРИЯ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

II

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

1

ИЗ-ВО „ГРАНИТ“
БЕРЛИН

Л. ТРОЦКИЙ

ИСТОРИЯ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ТОМ II

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

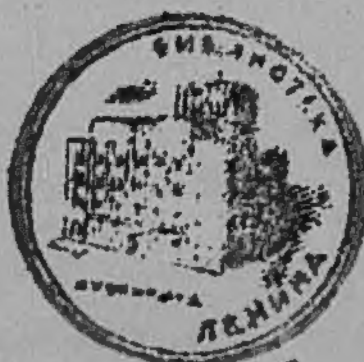
ИЗ-ВО „ГРАНИТ“ · БЕРЛИН 1933

Л. ТРОЦКИЙ

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ИЗ-ВО „ГРАНИТ“ · БЕРЛИН 1933



«Energiadruck», Berlin SW 61

ПРЕДИСЛОВИЕ

Россия так поздно совершила свою буржуазную революцию, что оказалась вынуждена превратить ее в пролетарскую. Иначе сказать: Россия так отстала от других стран, что ей пришлось, по крайней мере, в известных областях, обогнать их. Это кажется несообразностью. Между тем история полна таких парадоксов. Капиталистическая Англия настолько опередила другие страны, что оказалась вынуждена отстать от них. Педанты думают, что диалектика есть праздная игра ума. На самом деле она лишь воспроизводит процесс развития, который живет и движется противоречиями.

Первый том этого труда должен был уяснить, почему исторически запоздалый демократический режим, пришедший на смену царизму, оказался совершенно нежизнеспособным. Настоящий том посвящен приходу к власти большевиков. Основу изложения и здесь составляет повествование. Читатель должен в самих фактах найти достаточную опору для выводов.

Автор не хочет этим сказать, что он избегает социологических обобщений. История не имела бы цены,

еслиб ничему не учила нас. Могущественная планомерность русской революции, последовательность ее этапов, непреодолимость натиска масс, законченность политических группировок, отчетливость лозунгов, все это чрезвычайно облегчает понимание революции вообще, а тем самым и человеческого общества. Ибо можно считать доказанным всем ходом истории, что раздираемое внутренними противоречиями общество до конца раскрывает не только свою анатомию, но и свою «душу» именно в революции.

Более непосредственно настоящий труд должен помочь пониманию характера Советского Союза. Актуальность нашей темы не в том, что октябрьский переворот произошел на глазах живущего еще ныне поколения, — конечно, и это имеет немалое значение, — а в том, что вышедший из переворота режим живет, развивается и ставит перед человечеством новые загадки. Во всем мире вопрос о стране советов не сходит с порядка дня. Между тем нельзя постигнуть то, что есть, не уяснив предварительно, как существующее возникло. Для больших политических оценок нужна историческая перспектива.

На восемь месяцев революции, с февраля по октябрь 1917 года, понадобились два больших тома. Критика, по общему правилу, не обвиняла нас в растянутости изложения. Масштаб работы объясняется скорее подходом к материалу. Можно дать фотографический снимок руки: это займет страницу. Но, чтоб представить результаты микроскопического исследования тканей руки, нужен том. Автор не делает себе никаких иллюзий насчет полноты и законченности произведенного им исследования. Но все же во многих

случаях ему приходилось применять методы, которые ближе к микроскопу, чем к фотографическому аппарату.

В те моменты, когда нам казалось, что мы злоупотребляем долготерпением читателя, мы щедро вычеркивали показания свидетелей, признания участников, второстепенные эпизоды; но затем нередко снова восстановляли многое из вычеркнутого. В этой борьбе за детали нами руководило стремление показать, как можно конкретнее, самый процесс революции. Нельзя было, в частности, не попытаться использовать до конца то преимущество, что эта история писалась с живой натуры.

Тысячи и тысячи книг выбрасываются ежегодно на рынок, чтоб представить новый вариант личного романа, повесть колебаний меланхолика или карьеры честолюбца. Героине Пруста нужно несколько изысканных страниц, чтоб почувствовать, что она ничего не чувствует. Думается, что можно, хотя бы на равных правах, требовать внимания к коллективным историческим драмам, поднимающим из небытия сотни миллионов человеческих существ, преобразующим характер наций и вторгающимся навсегда в жизнь человечества.

Точность ссылок и цитат первого тома не оспаривалась до сих пор никем: да это было бы и не легко сделать. Противники ограничиваются чаще всего рассуждениями на ту тему, что личное пристрастие может проявиться в искусственном и одностороннем подборе фактов и текстов. Неоспоримое само по себе, это соображение ничего не говорит о данном произведении и еще меньше — о его научных приемах. Между тем мы позволяем себе решительно настаивать на том, что коэффициент субъективизма определяется, ограничи-

вается и проверяется не столько темпераментом историка, сколько характером его метода.

Чисто психологическая школа, которая рассматривает ткань событий, как переплет свободной деятельности отдельных людей или их группировок, оставляет величайший простор для произвола, даже при наилучших намерениях исследователя. Материалистический метод дисциплинирует, обязывая исходить из тяжеловесных фактов социальной структуры. Основными силами исторического процесса являются для нас классы; на них опираются политические партии; идеи и лозунги выступают, как разменные монеты объективных интересов. Весь путь исследования ведет от объективного к субъективному, от социального к индивидуальному, от капитального к конъюнктурному. Для авторского произвола этим поставлены жесткие пределы.

Если горный инженер в необследованном районе обнаружит путем сверления магнитный железняк, всегда можно допустить счастливую случайность: строить шахту не рекомендуется. Если тот же инженер, на основании, скажем, отклонений магнитной стрелки, придет к выводу, что в земле должны таиться залежи руды, и после этого в разных точках района действительно доберется до железняка, тогда и самый придирчивый скептик не осмелится ссылаться на случайность. Убеждает система, которая соподчиняет общее и частное.

Доказательств научного объективизма надо искать не в глазах историка и не в интонациях его голоса, а во внутренней логике самого повествования: если эпизоды, свидетельства, цифры, цитаты совпадают с общими показаниями магнитной стрелки социального ана-

лиза, тогда у читателя есть наиболее серьезная гарантия научной обоснованности выводов. Конкретнее: автор в той мере верен объективизму, в какой настоящая книга действительно раскрывает неизбежность октябрьского переворота и причины его победы.

Читатель знает, что в революции мы ищем прежде всего непосредственного вмешательства масс в судьбы общества. За событиями мы пытаемся открыть изменения коллективного сознания. Мы отклоняем огульные ссылки на «стихийность» движения, которые в большинстве случаев ничего не объясняют и ничему не научают. Революции совершаются по известным законам. Это не значит, что действующие массы отдают себе отчет в законах революции; но это значит, что изменения массового сознания не случайны, а подчинены объективной необходимости, которая поддается теоретическому выяснению и тем самым создает основу для предвидения и для руководства.

Некоторые официальные советские историки пытались, как это ни неожиданно, критиковать нашу концепцию, как идеалистическую. Профессор Покровский настаивал, например, на том, что мы недооценили объективные факторы революции: «между Февралем и Октябрем прошла колоссальная экономическая разруха»; «за это время крестьянство... восстало против Временного правительства»; именно в этих «объективных сдвигах», а не в изменчивых психических процессах надлежит видеть движущую силу революции. Благодаря похвальной резкости в постановке вопросов, Покровский как нельзя лучше обнаруживает несостоятельность вульгарно-экономического объяснения истории, выдаваемого нередко за марксизм.

Происходящие в течение революции радикальные перевороты вызываются на самом деле не теми эпизодическими потрясениями хозяйства, которые происходят во время самих событий, а теми капитальными изменениями, которые накопились в самых основах общества в течение всей предшествующей эпохи. Что накануне низвержения монархии, как и между Февралем и Октябрем, экономический распад неизменно углублялся, питая и подстегивая массовое недовольство, это совершенно бесспорно и никогда не оставлялось нами без внимания. Но было бы грубейшей ошибкой полагать, будто вторая революция совершилась через восемь месяцев после первой вследствие того, что хлебный паек снизился за это время с полутора до трех четвертей фунта. В ближайшие после октябрьского переворота годы продовольственное положение масс продолжало непрерывно ухудшаться. Между тем надежды контр-революционных политиков на новый переворот каждый раз терпели крушение. Загадочным это обстоятельство может представляться лишь тому, кто восстание масс рассматривает, как «стихийный», т.е. стадный бунт, искусно использованный вожаками. На самом деле одной наличности лишений для восстания недостаточно, — иначе массы восставали бы всегда; нужно, чтоб окончательно обнаруженная несостоятельность общественного режима сделала эти лишения невыносимыми и чтобы новые условия и новые идеи открыли перспективу революционного выхода. Во имя осознанной ими большой цели те же массы оказываются затем способны переносить двойные и тройные лишения.

Ссылка на восстание крестьянства, в качестве вто-

рого «объективного фактора», представляет еще более очевидное недоразумение. Для пролетариата крестьянская война являлась, разумеется, объективным обстоятельством, поскольку вообще действия одного класса становятся внешними толчками для сознания другого класса. Но непосредственной причиной самого крестьянского восстания явились изменения въ сознании деревни; вскрытие их характера составляет содержание одной из глав этой книги. Не будем забывать, что революции совершаются через людей, хотя бы и безыменных. Материализм не игнорирует чувствующего, мыслящего и действующего человека, но объясняет его. В чем другом состоит задача историка?*)

Некоторые критики демократического лагеря, склонные оперировать при помощи косвенных улик, усмотрели в «ироническом» отношении автора к соглашательским вождям выражение недопустимого субъективизма, опорочивающего научность изложения. Мы позволяем себе считать такой критерий не убедительным. Принцип спинозизма: «не плакать, не смеяться, а понимать», предостерегает лишь против неуместного смеха и несвоевременных слез; но он не лишает человека, хотя бы и историка, права на свою долю слез и смеха, когда они оправдываются правильным пониманием самой материи. Чисто индивидуалистическая иро-

---

*) Весть о смерти М. Н. Покровского, с которым нам не раз приходилось полемизировать на протяжении обоих томов пришла, когда наша работа была закончена. Примкнув к марксизму из либерального лагеря уже сложившимся ученым, Покровский обогатил новейшую историческую литературу ценными работами, начинаниями, но методом диалектического материализма он так и не овладел до конца. Делом простой справедливости будет прибавить, что Покровский был человеком не только исключительной эрудиции и высоких дарований, но и глубокой преданности тому делу, которому служил.

ния, которая, как дымка безразличия, распространяется на все дела и помыслы человечества, есть худший вид снобизма: она одинаково фальшива, в художественном произведении, как и в историческом труде. Но есть ирония, заложенная в самих жизненных отношениях. Обязанность историка, как и художника, извлечь ее наружу.

Нарушение соответствия между субъективным и объективным есть, вообще говоря, основной источник комического, как и трагического, в жизни и в искусстве. Область политики меньше всего изъята из-под действия этого закона. Люди и партии героичны или смешны не сами по себе, а по своему отношению к обстоятельствам. Когда французская революция вступила в решительную стадию, самый выдающийся жирондист оказывался жалким и смешным рядом с заурядным якобинцем. Жан-Мари Ролан, почтенная фигура, в качестве лионского инспектора мануфактур, выглядит, как живая карикатура, на фоне 1792 года. Наоборот, якобинцы приходятся событиям по росту. Они могут вызывать вражду, ненависть, ужас, но не иронию.

Героиня Диккенса, пытающаяся половой щеткой задержать морской прилив, есть, по причине рокового несоответствия средства и цели, заведомо комичный образ. Если мы скажем, что эта особа символизирует политику соглашательских партий в революции, это покажется утрировкой. Между тем Церетели, действительный вдохновитель режима двоевластия, признавался после октябрьского переворота Набокову, одному из либеральных вождей: «Все, что мы тогда делали, было тщетной попыткой остановить какими-то ничтож-

ными щепочками разрушительный стихийный поток». Эти слова звучат, как злая сатира; между тем это самые правдивые слова, которые соглашатели сказали о самих себе. Отказываться от иронии при изображении «революционеров», которые щепочками пытаются задержать революцию, значило бы, в угоду педантам, обворовывать действительность и изменять объективизму.

Петр Струве, монархист из бывших марксистов, писал в эмиграции: «логичен в революции, верен ее существу был только большевизм, и потому в революции победил он». Так же приблизительно отзывался о большевиках и Милюков, вождь либерализма: «Они знали, куда идут, и шли в одном, раз принятом направлении, к цели, которая с каждым новым неудачным опытом соглашательства становилась все ближе». Наконец, один из менее известных белых эмигрантов, пытавшийся по своему понять революцию, выразился так: «пойти по этому пути могли лишь железные люди... по самой своей «профессии» революционеры, не боящиеся вызвать к жизни всепожирающий бунтарский дух». О большевиках можно с еще большим правом сказать то, что сказано выше о якобинцах: они адэкватны эпохе и ее задачам; проклятий по их адресу раздавалось достаточно, но ирония к ним не приставала: ей не за что зацепиться.

В Предисловии к первому тому объяснено, почему автор счел более уместным говорить о себе, как об участнике событий, в третьем лице, а не в первом: эта литературная форма, сохраненная и во втором томе, сама по себе, разумеется, не ограждает от субъекти-

визма; но она, по крайней мере, не вынуждает к нему. Более того: она напоминает о необходимости избегать его.

Во многих случаях мы останавливались в колебании, приводить ли тот или другой отзыв современника, характеризующий роль автора этой книги в ходе событий. Можно было бы без труда отказаться от иных цитат, еслиб дело не шло о чем-то большем, чем условные правила хорошего тона. Автор этой книги был председателем петроградского Совета, после того, как большевики завоевали в нем большинство; затем — председаталем Военно-революционного комитета, организовавшего октябрьский переворот. Этих фактов он не может и не хочет вычеркнуть из истории. Правящая ныне в СССР фракция успела за последние годы посвятить множество статей и немало книг автору этого труда, поставив себе при этом задачей доказать, что его деятельность направлялась неизменно против интересов революции: вопрос о том, почему большевистская партия ставила столь упорного «противника» в наиболее критические годы на наиболее ответственные посты, остается при этом открытым. Обойти ретроспективные споры полным молчанием значило бы, в известной мере, отказаться от восстановления действительного хода событий. Во имя чего? Подделка незаинтересованности нужна бывает тому, кто задается целью, крадучись, внушить читателю выводы, не вытекающие из фактов. Мы предпочитаем называть вещи полным именем, в соответствии со словарем.

Не скроем, что дело идет для нас при этом не только о прошлом. Как противники, нападая на лицо, стремятся поразить программу, так борьба за опреде-

ленную программу обязывает лицо восстановить свое действительное место в событиях. Кто в борьбе за большие задачи и за свое место под знаменем не способен видеть ничего, кроме личного тщеславия, о том мы можем пожалеть, но убеждать его не беремся. Во всяком случае мы приняли все меры к тому, чтобы «личные» вопросы не занимали в этой книге больше того места, на которое они могут претендовать по праву.

Некоторые из друзей Советского Союза — нередко это лишь друзья сегодняшних советских властей и лишь до тех пор, пока те остаются властями, — ставили автору в вину его критическое отношение к большевистской партии или отдельным ее вождям. Никто, однако, не сделал и попытки опровергнуть или поправить данную нами картину состояния партии во время событий. К сведению тех «друзей», которые считают себя призванными защищать от нас роль большевиков в октябрьском перевороте, предупреждаем, что наша книга учит не тому, как любить задним числом победоносную революцию, в лице выдвинутой ею бюрократии, а только тому, как подготовляется революция, как она развивается и как побеждает. Партия для нас не аппарат, непогрешимость которого охраняется государственными репрессиями, а сложный организм, который, подобно всему живому, развивается в противоречиях. Вскрытие этих противоречий, в том числе колебаний и ошибок штаба, ни в малейшей мере не ослабляет, на наш взгляд, значения той гигантской исторической работы, которую большевистская партия взвалила на свои плечи впервые в мировой истории.

Принкипо, 13 мая 1932 г.

А. Троцкий.

«ИЮЛЬСКИЕ ДНИ»: ПОДГОТОВКА И НАЧАЛО

В 1915 году война стоила России 10 миллиардов рублей, в 1916 — 19 миллиардов, в первое полугодие 1917 года уже $10^{1/2}$ миллиардов. Государственный долг должен был к началу 1918 г. составить 60 миллиардов, т. е. почти сравняться со всем национальным богатством, исчислявшимся в 70 миллиардов. Центральный исполнительный комитет разрабатывал проект воззвания о военном займе под паточным именем «Займа свободы», а правительство приходило к несложному выводу, что без нового грандиозного внешнего займа оно не только не оплатит заграничных заказов, но не справится и с внутренними обязательствами. Пассив торгового баланса непрерывно возрастал. Антанта, повидимому, готовилась окончательно предоставить рубль его собственной участи. В тот самый день, когда воззвание о Займе свободы заполнило первую страницу советских «Известий», «Вестник правительства» сообщил о резком падении курса рубля. Печатный пресс уже не поспевал за темпом инфляции. От старых солидных денежных знаков, на которых оставался еще отблеск их прежней покупательной силы, готовились перейти к рыжим бутылочным ярлычкам, которые в обиходе стали называться керенками. И буржуа и рабочий, каждый по своему, вкладывали в это имя нотку брезгливости.

На словах правительство принимало программу государственного регулирования хозяйства и даже создало для этого в конце июня громоздкие органы. Но слово и дело февральского режима, как дух и плоть благочестивого христианина, находились в постоянной борьбе. Надлежаще подобранные регулирующие органы больше были озабочены охранением предпринимателей от капризов шаткой и валкой государственной власти, чем обузданием частных интересов. Административный и технический персонал промышленности расслаивался; верхи, испуганные уравнительными тенденциями рабочих, решительно переходили на сторону предпринимателей. Рабочие с отвращением относились к военным заказам, которыми расшатанные заводы были обеспечены на год и на два вперед. Но и предприниматели теряли вкус к производству, сулившему больше тревог, чем прибылей. Преднамеренная остановка заводов сверху приняла систематический характер. Металлургическое производство сократилось на 40%, текстильная промышленность — на 20%. Всего, что нужно было для жизни, не хватало. Цены росли вместе с инфляцией и упадком хозяйства. Рабочие рвались к контролю над скрытым от них административно-коммерческим механизмом, от которого зависела их судьба. Министр труда Скобелев в многословных манифестах проповедывал рабочим недопустимость вмешательства в управление предприятиями. 24 июня «Известия» сообщали, что снова предполагается закрытие ряда заводов. Такие же вести шли из провинции. Половина паровозов требовала капитального ремонта, большая часть подвижного состава находилась на фронте, недоставало топлива. Министерство путей сообщения не выходило из состояния борьбы с железнодорожными рабочими и служащими. Продовольственное снабжение ухудшалось непрерывно. В Петрограде запасов хлеба оставалось на 10-15 дней, в других центрах — немногим лучше. При полупараличе подвижного состава и нависшей угрозе забастовки железных дорог это озна-

чало постоянную опасность голода. Впереди не открывалось никакого просвета. Не этого ждали рабочие от революции.

Еще хуже, если возможно, обстояло в сфере политики. Нерешительность — самое тяжкое состояние в жизни правительств, наций, классов, как и отдельного человека. Революция есть самый беспощадный из способов разрешения исторических вопросов. Внесение уклончивости в революцию есть самая разрушительная политика из всех. Партия революции не смеет колебаться, как хирург, вонзивший нож в больное тело. Между тем двойственный режим, возникший из февральского переворота, был организованной нерешительностью. Все оборачивалось против правительства. Условные друзья становились противниками, противники — врагами, враги вооружались. Контрреволюция мобилизовалась совершенно открыто, вдохновляемая Центральным комитетом кадетской партии, политическим штабом всех тех, у которых было, что терять. Главный комитет союза офицеров при ставке, в Могилеве, представлявший около ста тысяч недовольных командиров, и Совет союза казачьих войск в Петрограде составляли два военных рычага контр-революции. Государственная дума, несмотря на решение июньского съезда советов, постановила продолжать свои «частные совещания». Ее Временный комитет давал легальное прикрытие контрреволюционной работе, которую широко финансировали банки и посольства Антанты. Опасности грозили соглашателям справа и слева. Озираясь с беспокойством по сторонам, правительство тайно постановило отпустить средства на организацию общественной контр-разведки, т. е. секретной политической полиции. В это же приблизительно время, в середине июня, правительство назначило выборы в Учредительное собрание на 17 сентября. Либеральная печать, несмотря на участие кадетов в министерстве, вела упорную кампанию против официально назначенного срока, которому никто не верил и которого никто серьезно не защищал. Са-

мый образ Учредительного собрания, столь яркий в первые дни марта, тускнел и расплывался. Все оборачивалось против правительства, даже его худосочные благие намерения. Только 30-го июня оно собралось с духом упразднить дворянских опекунов над деревней, земских начальников, самое имя которых было ненавистно стране со дня их введения Александром III. И эта вынужденная и запоздалая частная реформа ложилась на Временное правительство печатью унизительной трусости. Дворянство тем временем оправлялось от страха, земельные собственники сплачивались и напирали. Временный комитет Думы обратился к правительству в конце июня с требованием принять решительные меры к ограждению помещиков от крестьян, подстрекаемых «преступными элементами». 1-го июля открылся в Москве всероссийский съезд земельных собственников, в подавляющем большинстве дворянский. Правительство извивалось, пытаясь гипнотизировать словами то мужиков, то помещиков. Но хуже всего было на фронте. Наступление, которое стало решающей ставкой Керенского также и во внутренней борьбе, билось в конвульсиях. Солдат не хотел воевать. Дипломаты князя Львова боялись глядеть в глаза дипломатам Антанты. Заем нужен был до зарезу. Чтоб показать твердую руку, бессильное и осужденное правительство вело наступление на Финляндию, осуществляя его, как и все наиболее грязные дела, руками социалистов. Одновременно разрастался конфликт с Украиной и вел к открытому разрыву.

Далеко позади остались те дни, когда Альбер Тома пел гимны светлой революции и Керенскому. В начале июля французского посла Палеолога, слишком пропахшего ароматом распутинских салонов, сменил «радикал» Нуланс. Журналист Клод Анэ прочитал новому послу вступительную лекцию о Петрограде. Напротив французского посольства, по ту сторону Невы, простирается Выборгский район. «Это район больших заводов, который полностью принадлежит

большевикам. Ленин и Троцкий царят там, как господа». В этом же районе помещаются казармы пулеметного полка, насчитывающего около десяти тысяч человек и свыше тысячи пулеметов: ни эсеры, ни меньшевики не имеют доступа в казармы полка. Остальные полки либо большевистские, либо нейтральные. «Если Ленин и Троцкий захотят взять Петроград, кто им помешает в этом?» Нуланс слушал с удивлением. «Как же Правительство терпит подобное положение?» — «А что ему остается делать? — ответил журналист. Надо понять, что у Правительства нет иной силы, кроме моральной, да и та кажется мне очень слабой...»

Не находя выхода, пробужденная энергия масс дробилась на самочинные действия, партизанские выступления, случайные захваты. Рабочие, солдаты, крестьяне пытались разрешить по частям то, в разрешении чего им отказывала ими же созданная власть. Нерешительность руководства больше всего изнуряет массы. Бесплодные выжидания побуждают их ко все более настойчивым ударам в дверь, которой не хотят перед ними открыть, или к прямым взрывам отчаянья. Еще в дни съезда советов, когда провинциалы едва удержали руку своих вождей, занесенную над Петроградом, рабочие и солдаты получили достаточную возможность убедиться в том, каковы по отношению к ним чувства и намерения советских верхов. Церетели вслед за Керенским стал не только чужой, но и ненавистной фигурой для большинства петроградских рабочих и солдат. На периферии революции росло влияние анархистов, игравших главную роль в самочинном Революционном комитете на даче Дурново. Но и более дисциплинированные слои рабочих, даже широкие круги партии, начинали терять терпение или прислушиваться к тем, кто потерял его. Манифестация 18-го июня обнаружила для всех, что правительство не имеет опоры. «Чего же они там смотрят наверху?» спрашивали солдаты и рабочие, имея в ви-

ду уже не только соглашательских вождей, но и руководящие учреждения большевиков.

Борьба за заработную плату при инфляционных ценах нервировала и изнуряла рабочих. Особенно остро стоял в течение июня этот вопрос на Путиловском гиганте, где работало 36000 человек. 21 июня в нескольких мастерских завода вспыхнула стачка. Бесплодность таких разрозненных вспышек была партии слишком ясна. На другой день руководимое большевиками собрание представителей основных рабочих организаций и 70-ти заводов заявило, что «дело путиловских рабочих является делом всего петроградского пролетариата» и призвало путиловцев «сдержать свое законное негодование». Стачка была отложена. Но ближайшие 12 дней не принесли никаких перемен. Заводская масса металась, ища выхода. У каждого предприятия был свой конфликт, и все эти конфликты вели наверх, к правительству. Докладная записка профессионального союза паровозных бригад министру путей сообщения гласила: «Последний раз заявляем: терпению бывает предел. Жить в таком положении дальше нет сил»... Это была жалоба не только на нужду и голод, но и на двойственность, бесхарактерность, фальшь. Записка особенно гневно протестовала против «бесконечного призывания нас к гражданскому долгу и к голодному воздержанию».

Мартовская передача власти Временному правительству Исполнительным комитетом состоялась на условии невывода революционных войск из столицы. Но те дни остались далеко позади. Гарнизон сдвинулся влево, правящие советские круги — вправо. Борьба с гарнизоном не сходила с порядка дня. Если части целиком и не выводились из столицы, то наиболее революционные, под предлогом стратегической надобности, систематически ослаблялись путем выкачки маршевых рот. Слухи о реформировании на фронте все новых и новых частей за неповиновение, за отказ выполнить боевые приказы докатывались до столицы непрерывно. Две сибирские дивизии — давно ли си-

бирские стрелки считались лучшими? — были расформированы с применением вооруженной силы. По делу о массовом неисполнении боевых приказаний только в 5-ой армии, ближайшей к столице, привлечено к ответственности 87 офицеров и 12725 солдат. Петроградский гарнизон, аккумулятор недовольства фронта, деревни, рабочих кварталов и казарм, непрерывно волновался. Сорокалетние бородачи с истерической настойчивостью требовали увольнения домой, на полевые работы. Полки, расположенные на Выборгской стороне: 1-ый Пулеметный, 1-ый Гренадерский, Московский, 180-ый Пехотный и другие, всегда омывались горячими ключами пролетарской окраины. Тысячи рабочих проходили мимо казарм, среди них немало неутомимых агитаторов большевизма. Под грязными опостылевшими стенами почти непрерывно шли летучие митинги. 22 июня, когда еще не успели погаснуть патриотические манифестации, вызванные наступлением, на Сампсониевский проспект неосторожно заехал автомобиль Исполнительного комитета с плакатами: «Вперед за Керенского». Московский полк задержал агитаторов, воззвания разорвал, а патриотический автомобиль отправил в Пулеметный полк.

Солдаты были вообще нетерпеливее рабочих: и потому что им непосредственно угрожала отправка на фронт, и потому что они гораздо труднее усваивали соображения политической стратегии. Кроме того у каждого в руках была винтовка, а после февраля солдат склонен был переоценивать ее самостоятельную силу. Старый рабочий-большевик Лиздин рассказывал позже, как солдаты 180 запасного полка говорили ему: «Что же спят наши там во дворце Кшесинской, пойдем, прогоним Керенского»... На собраниях полков то и дело выносились резолюции о необходимости выступить, наконец, против правительства. Делегации от отдельных заводов являлись в полки с запросом, выйдут ли солдаты на улицу? Пулеметчики шлют своих представителей в другие части гарнизона с призывом подняться против затягивания войны. Более не-

терпеливые делегаты прибавляют: Павловский и Московский полки и 40 тысяч путиловцев «завтра» выступают. Официальные увещания Исполнительного комитета не действуют. Все острее становится опасность того, что не поддержанный фронтом и провинцией Петроград будет разбит по частям. 21 июня Ленин в «Правде» призывал петроградских рабочих и солдат выждать, когда события толкнут на сторону Петрограда тяжелые резервы. «Мы понимаем горечь, мы понимаем возбуждение питерских рабочих. Но мы говорим им: товарищи, выступление сейчас было бы нецелесообразным». На другой день частное совещание руководящих большевиков, стоявших, повидимому, «левее» Ленина, пришло к заключению, что, несмотря на настроение солдат и рабочих масс, боя принимать еще нельзя: «лучше обождать, чтобы правящие партии опозорили себя окончательно начатым наступлением. Тогда игра наша». Так передает районный организатор Лацис, один из наиболее нетерпеливых в те дни. Комитет все чаще вынужден посылать агитаторов в части и на предприятия, чтоб удержать их от несвоевременного выступления. Смущенно покачивая головами, выборжские большевики жалуются в своем кругу: «Должны служить пожарной кишкой». Призывы на улицу не прекращаются, однако, ни на один день. Среди них были и явно провокационные. Военная организация большевиков оказалась вынуждена обратиться к солдатам и рабочим с воззванием: «Не верить никаким призывам к выступлению на улицу от имени Военной организации. К выступлению Военная организация не призывает». И далее еще настойчивее: «Требуйте от каждого агитатора или оратора, призывающего к выступлению от имени Военной организации, удостоверения за подписью председателя и секретаря».

На знаменитой Якорной площади в Кронштадте, где анархисты все увереннее поднимают голос, вырабатывается один ультиматум за другим. 23 июня делегаты Якорной площади, минуя кронштадтский Со-

вет, требовали от министерства юстиции освобождения группы петроградских анархистов, угрожая, в противном случае, нашествием матросов на тюрьму. На следующий день представители из Ораниенбаума заявили министру юстиции, что их гарнизон так же взволнован по поводу арестов на даче Дурново, как и Кронштадт, и что у них «уже чистят пулеметы». Буржуазная пресса налету подхватывала эти угрозы и потрясала ими под самым носом у своих союзников-соглашателей. 26 июня прибыли в свой запасный батальон делегаты от Гвардейского гренадерского полка с фронта с заявлением: полк против Временного правительства и требует перехода власти к советам; отказывается от наступления, начатого Керенским; выражает опасение, не перешел ли Исполнительный комитет вместе с министрами-социалистами на сторону буржуев. Орган Исполнительного комитета напечатал об этом посещении укоризненный отчет.

Котлом кипел не только Кронштадт, но и весь Балтийский флот, базировавшийся главным образом на Гельсингфорс. Главной силой большевиков во флоте был, бесспорно, Антонов-Овсеенко, еще в качестве юного офицера участвовавший в севастопольском восстании 1905 г., меньшевик в годы реакции, эмигрант-интернационалист в годы войны, сотрудник Троцкого по изданию в Париже газеты «Наше Слово», примкнувший после возвращения из эмиграции к большевикам. Политически шаткий, но лично мужественный, импульсивный и беспорядочный, но способный к инициативе и импровизации, Антонов-Овсеенко, еще мало известный в те дни, занял в дальнейших событиях революции далеко не последнее место. «Мы в гельсингфорсском комитете партии, — рассказывает он в своих воспоминаниях, — понимали необходимость выдержки и серьезной подготовки. Мы имели и соответствующие указания от ЦК. Но мы сознавали всю неизбежность взрыва и с тревогой поглядывали в сторону Питера». А там элементы взрыва накоплялись изо дня в день. 2-й Пулеметный полк, более

отсталый, чем первый, вынес резолюцию о передаче власти советам. 3-й Пехотный полк отказался выделить 14 маршевых рот. Собрания в казармах принимали все более грозовой характер. Митинг в Гренадерском полку 1-го июля сопровождался арестом председателя комитета и обструкцией по адресу ораторов-меньшевиков. Долой наступление! Долой Керенского! В средоточии гарнизона стояли пулеметчики, которые и открыли шлюзы июльскому потоку.

Имя 1-го Пулеметного полка уже встречалось нами в событиях первых месяцев революции. Прибыв вскоре после переворота, по собственной инициативе, из Ораниенбаума в Петроград «для защиты революции», полк сразу наткнулся на противодействие Исполнительного комитета, который постановил: поблагодарить и вернуть в Ораниенбаум. Пулеметчики наотрез отказались покинуть столицу: «контр-революционеры могут напасть на Совет и восстановить старый режим». Исполнительный комитет сдался, и несколько тысяч пулеметчиков остались в Петрограде вместе со своими пулеметами. Разместившись в Народном доме, они не знали, что с ними будет дальше. В их среде было, однако, немало петроградских рабочих, и не случайно, поэтому, заботу о пулеметчиках взял на себя комитет большевиков. Его заступничество обеспечило получение продовольствия из Петропавловской крепости. Дружба была налажена. Скоро она стала несокрушимой. 21-го июня пулеметчики вынесли на общем собрании постановление: «В дальнейшем посылать команды на фронт только тогда, когда война будет носить революционный характер». 2 июля полк устроил в Народном доме прощальный митинг отправляемой на фронт «последней» маршевой роте. Выступали Луначарский и Троцкий: этому случайному факту власти пытались позже придать исключительное значение. От имени полка отвечали солдат Жилин и старый большевик, унтер-офицер Лашевич. Настроение было очень приподнятое, клеймили Керенского, клялись в верности революции, но никаких практиче-

ских предложений на ближайшее время никто не делал. Однако, в течение последних дней в городе упорно ждали событий. «Июльские дни» наперед отбрасывали свою тень. «Повсюду, во всех углах, — вспоминает Суханов, — в Совете, в Мариинском дворце, в обывательских квартирах, на площадях и бульварах, в казармах и на заводах, — говорили о каких-то выступлениях, ожидаемых не нынче-завтра . . . Никто не знал толком, кто именно, как и когда будут выступать. Но город чувствовал себя накануне какого-то взрыва». И выступление действительно разразилось. Толчок ему дали сверху, из правящих сфер.

В тот самый день, когда Троцкий и Луначарский говорили у пулеметчиков о несостоятельности коалиции, четыре министра-кадета, взорвав коалицию, вышли из состава правительства. В качестве повода они выбрали неприемлемый для их великодержавных претензий компромисс, который их соглашательские коллеги заключили с Украиной. Действительная причина демонстративного разрыва лежала в том, что соглашатели медлили с обузданием масс. Выбор момента подсказан был провалом наступления, пока еще не признанным официально, но уже не составлявшим сомнения для посвященных. Либералы сочли своевременным оставить своих левых союзников лицом к лицу с поражением и с большевиками. Слух об отставке кадетов немедленно распространился по столице и политически обобщил все текущие конфликты в одном лозунге, вернее, вопле: надо кончать с коалиционной канителью! Солдаты и рабочие считали, что от разрешения вопроса о том, кто будет дальше править страной, буржуазия или их собственные советы, зависят все другие вопросы: и о заработной плате, и о цене на хлеб, и о том, придется ли погибать на фронте неведомо, за что. В этих ожиданиях был известный элемент иллюзии, поскольку массы надеялись с переменой власти достигнуть немедленного разрешения всех больных вопросов. Но в последнем счете они были правы: вопрос о власти решал направление всей

революции, а значит и определял судьбу каждого в отдельности. Предполагать, что кадеты могли не предвидеть того действия, какое произведет акт открытого саботажа с их стороны по отношению к советам, значило бы решительно недооценивать Милюкова. Вождь либерализма явно стремился втянуть соглашателей в острую ситуацию, выход из которой можно было бы открыть только штыком: в те дни он твердо верил, что смелым кровопусканием можно спасти положение.

3-го июля с утра несколько тысяч пулеметчиков, сорвав собрание ротных и полкового комитетов своего полка, выбрали собственного председателя и потребовали немедленного обсуждения вопроса о вооруженном выступлении. Митинг сразу принял бурное течение. Вопрос о фронте пересекся с кризисом власти. Председатель собрания, большевик Головин, пробовал тормозить, предлагая сговориться предварительно с другими частями и Военной организацией. Но каждый намек на оттяжку выводил солдат из себя. На собрании появился анархист Блейхман, небольшая, но колоритная фигура на фоне 1917 года. С очень скромным багажом идей, но с известным чутьем массы, искренний в своей всегда воспламененной ограниченности, с расстегнутой на груди рубахой и разметанными во все стороны курчавыми волосами, Блейхман находил на митингах немало полуиронических симпатий. Рабочие относились к нему, правда, сдержанно, слегка нетерпеливо, особенно металлисты. Но солдаты весело улыбались его речам, подталкивая друг друга локтями и подзадаривая оратора ядреными словечками: они явно благоволили к его эксцентричному виду, его нерассуждающей решительности и его едкому, как уксус, еврейско-американскому акценту. В конце июня Блейхман плавал во всяких импровизированных митингах, как рыба в воде. Его решение всегда было при нем: надо выходить с оружием в руках. Организация? «Нас организует улица». Задача? «Свергнуть Временное правительство, как это

сделали с царем, хотя ни одна партия и тогда не призывала к этому». Такие речи как нельзя лучше отвечали в этот момент настроению пулеметчиков, и не только их одних. Многие из большевиков не скрывали своего удовольствия, когда низы переступали через их официальные увещания. Передовые рабочие помнили, что в феврале руководители готовились дать отбой как-раз накануне победы; что в марте восьмичасовый день был завоеван по инициативе снизу; что в апреле Милюков был сброшен самовольно вышедшими полками. Напоминание об этих фактах шло навстречу напряженным и нетерпеливым настроениям масс.

Военная организация большевиков, которую немедленно известили о том, что на митинге у пулеметчиков царит температура кипения, посылала к ним своих агитаторов одного за другим. Прибыл вскоре и сам Невский, почитаемый солдатами руководитель Военной организации. Его как будто послушались. Но настроения тянувшегося без конца митинга менялись, как и его состав. «Для нас было величайшей неожиданностью, — рассказывает Подвойский, другой руководитель Военной организации, — когда в 7 часов вечера прискакал верховой известить, что . . . пулеметчики вновь постановили выступить». Вместо старого полкового комитета они избрали Временный революционный комитет, по два человека от роты, под председательством прапорщика Семашко. Специально выделенные делегаты уже объезжали полки и заводы с призывом о поддержке. Пулеметчики не позабыли, разумеется, отправить своих людей и в Кронштадт. Так, этажом ниже официальных организаций, отчасти под их покровом, натягивались новые, временные нити между наиболее возбужденными полками и заводами. Массы не намеревались рвать с Советом, наоборот, хотели, чтоб он взял власть. Еще меньше массы собирались рвать с большевистской партией. Но им казалось, что она нерешительна. Им хотелось нажать плечом, пригрозить

Исполнительному комитету, подтолкнуть большевиков. Создаются импровизованные представительства, новые узлы связи и центры действия, не постоянные, а для данного случая. Смены обстановки и настроений происходят так быстро и резко, что даже наиболее гибкая организация, как советы, неизбежно отстает, и массам приходится каждый раз создавать вспомогательные органы для потребностей момента. При таких импровизациях проскакивают нередко случайные и не всегда надежные элементы. Масла в огонь подливают анархисты, но также и кое-кто из новых и нетерпеливых большевиков. К делу примазываются, несомненно, и провокаторы, может быть немецкие агенты, но вернее всего агенты истинно-русской контр-разведки. Как разложить сложную ткань массовых движений на отдельные нити? Общий характер событий выступает все же с полной ясностью. Петроград чувствовал свою силу, рвался вперед, не оглядываясь ни на провинцию, ни на фронт, и даже большевистская партия уже неспособна была сдержать его. Здесь мог помочь только опыт.

Вызывая полки и заводы на улицу, делегаты пулеметчиков не забывали присовокупить, что выступление должно быть вооруженным. Да и как иначе? Не подставлять же себя безоружными под удары врагов? Кроме того, и это, пожалуй, главное, надо показать свою силу, а солдат без ружья — не сила. Но и на этот счет одинакового мнения были все полки и все заводы: если выступать, то не иначе, как с запасом свинца. Пулеметчики не теряли времени: затеяв большую игру, они должны были как можно скорее довести ее до конца. Следственные материалы такими словами характеризовали позже действия прапорщика Семашко, одного из главных руководителей полка: «...требовал с заводов автомобили, вооружал их пулеметами, рассылал их к Таврическому дворцу и другим местам, указывая маршруты, лично вывел полк из казармы в город, ездил в запасный батальон Московского полка с целью склонить его к выступлению, что и

достиг, обещал солдатам Пулеметного полка поддержку полков Военной организации, поддерживал постоянную связь с этой организацией, пребывающей в доме Кшесинской, и лидером большевиков, Лениным, высылал караулы для охраны Военной организации». Ссылка на Ленина здесь сделана для полноты картины: Ленина ни в этот день, ни в предшествующие не было в Петрограде: с 29-го июня он, по нездоровью, находился на даче в Финляндии. Но в остальном сжатый язык военно-судебного чиновника совсем неплохо передает подготовительную лихорадку пулеметчиков. Во дворе казармы шла не менее горячая работа. Не имевшим оружия солдатам выдавали винтовки, некоторым — бомбы, на каждый грузовик, доставлявшийся с заводов, ставили по три пулемета с прислугой. Полк должен был выступить на улицу в боевом порядке.

На заводах происходило, примерно, одно и то же: прибывали делегаты от пулеметчиков или из соседнего завода и звали на улицу. Их как будто бы давно уже ждали: работа сразу приостанавливалась. Рабочий завода Рено рассказывает: «После обеда к нам прибежало несколько пулеметчиков с просьбой дать им грузовые автомобили. Несмотря на протест нашего коллектива (большевиков), пришлось автомобили дать . . . Срочно нагрузили они на грузовики «Максимы» (пулеметы) и покатили на Невский. Тут уж наших рабочих больше удержать не удалось... Все, в чем работали, прямо в передниках, от станков, вышли на двор» . . . Протесты заводских большевиков не всегда имели, надо думать, настойчивый характер. Наиболее долгая борьба шла за Путиловский завод. Около 2-х часов дня прошел по цехам слух, что прибыла делегация от пулеметной команды и созывает митинг. Тысяч десять рабочих собралось у конторы. Под крики одобрения пулеметчики рассказали, что им дан приказ отправиться 4-го июля на фронт, но они решили «ехать не на германский фронт, против германского пролетариата, а против своих министров-ка-

питалистов». Настроение поднялось. «Двинем, двинем», — закричали рабочие. Секретарь завкома, большевик, возражал, предлагая запросить партию. Протесты со всех сторон: «долой, опять желаете затянуть дело . . . дальше так жить невозможно» . . . Часам к 6-и прибыли представители Исполнительного комитета, но этим еще меньше удалось воздействовать на рабочих. Митинг продолжался, бесконечный, нервный, упрямый митинг многотысячной массы, которая ищет выхода и не позволяет внушить себе, что его нет. Предложено отправить делегацию в Исполнительный комитет: еще одна оттяжка. Собрание по прежнему не расходилось. Тем временем группа рабочих и солдат приносит весть, что Выборгская сторона уже двинулась к Таврическому дворцу. Дальше сдерживать стало невозможно. Решено итти. Путиловский рабочий Ефимов забежал в районный комитет партии, чтобы справиться: «что будем делать?» Ему ответили: «Выступать не будем, но оставить рабочих на произвол судьбы не можем, поэтому идем с ними вместе». В этот момент появился член районного комитета Чудин с вестью, что во всех районах рабочие выступают, придется партийным «поддерживать порядок». Так большевики захватывались движением и втягивались в него, подыскивая оправдание своим действиям, шедшим вразрез с официальным решением партии.

Промышленная жизнь столицы к семи часам вечера совершенно прекратилась. Завод за заводом поднимался, выстраивался, снаряжались отряды красной гвардии. «В тысячной массе рабочих, — рассказывает выборжец Метелев, — стуча затворами, суетились сотни молодых гвардейцев. Одни вкладывали в магазинные коробки пачки патронов, другие подтягивали ремни, третьи подвязывали подсумки, патронташи, четвертые приравнивали штыки, а рабочие, не имевшие оружия, помогали гвардейцам снаряжаться» . . . Сампсониевский проспект, главная артерия Выборгской стороны, забит народом. Вправо и влево от него — сплошные колонны рабочих. Посредине проспекта

проходит Пулеметный полк, позвоночный столб шествия. Во главе каждой роты — грузовые автомобили с «максимами». За Пулеметным полком рабочие; в арьергарде, прикрывая манифестацию, части Московского полка. Над каждым отрядом знамя: «Вся власть советам». Траурное шествие в марте или первомайская демонстрация были, вероятно, многолюднее. Но июльское шествие несравненно стремительнее, грознее и — однороднее по составу. «Под красными знаменами идут рабочие и солдаты, — пишет один из участников. — Отсутствуют кокарды чиновников, сияющие пуговицы студентов, шляпы «сочувствующих дам», — все это было четыре месяца тому назад, в феврале, — в сегодняшнем же движении этого нет, сегодня идут только черные рабы капитала». По улицам мчались по прежнему в разных направлениях автомобили с вооруженными рабочими и солдатами: делегаты, агитаторы, разведчики, связь, отряды для снимания рабочих и полков. Винтовки у всех наведены вперед. Ощетинившиеся грузовики воскрешали картину февральских дней, электризовали одних, терроризовали других. Кадет Набоков пишет: «Те же безумные, тупые, зверские лица, какие мы все помним в февральские дни», т. е. в дни той самой революции, которую либералы официально именовали славной и бескровной. К 9 часам уже семь полков двигались к Таврическому дворцу. По пути присоединялись колонны заводов и новые воинские части. Движение Пулеметного полка обнаружило огромную заразительную силу. Открылись «июльские дни».

Начались походные митинги. Кое-где слышались выстрелы. По словам рабочего Короткова, «на Литейном из подвала вытащили пулемет и офицера, который тут же был убит». Всевозможные слухи опережают демонстрацию, страхи расходятся от нее во все стороны лучами. Чего только не передают телефоны потревоженных центральных кварталов. Сообщают, будто около 8 часов вечера вооруженный автомобиль примчался на Варшавский вокзал, в поисках уезжав-

шего как-раз в этот день на фронт Керенского, с целью арестовать его, но автомобиль опоздал к поезду, и ареста не вышло. Этот эпизод приводился впоследствии не раз, как доказательство заговора. Кто именно был в автомобиле, и кто раскрыл его таинственные намерения, так и осталось неизвестным. В тот вечер автомобили с вооруженными людьми разъезжали во всех направлениях, вероятно и в районе Варшавского вокзала. Крепкие слова по адресу Керенского раздавались во многих местах. Это и послужило, повидимому, основой мифа, если не считать, что он вообще выдуман с начала до конца.

«Известия» рисовали такую схему событий 3-го июля: «В 5 часов дня выступили вооруженными: 1-й Пулеметный, часть Московского, часть Гренадерского и часть Павловского полков. К ним присоединились толпы рабочих... К 8-ми часам вечера ко дворцу Кшесинской стали стекаться отдельные части полков в полном боевом вооружении, с красными знаменами и плакатами, требующими перехода власти к советам. С балкона раздаются речи... В 10½ часов на площади у здания Таврического дворца идет митинг... Части выбрали депутацию во Всероссийский центральный исполнительный комитет, которая предъявила от них следующие требования: долой 10 буржуазных министров, вся власть Совету, прекратить наступление, конфискация типографий буржуазных газет, земля — государственная собственность, контроль над производством». Если оставить в стороне второстепенные подчистки: «части полков» вместо: полки, «толпы рабочих» вместо: сплошные заводы, то можно сказать, что официоз Церетели-Дана в общем не искажает того, что происходило, в частности правильно отмечает два фокуса демонстрации: особняк Кшесинской и Таврический дворец. Духовно и физически движение вращалось вокруг этих антагонистических центров: к дому Кшесинской идут за указанием, за руководством, за вдохновляющей речью; к Таврическому

дворцу, чтоб предъявить требование и даже пригрозить своей силой.

* *
*

В 3 часа пополудни, на общегородскую конференцию большевиков, заседавшую в этот день в особняке Кшесинской, прибыли два делегата от пулеметчиков с сообщением, что их полк решил выступать. Никто не ожидал и никто не хотел этого. Томский заявил: «Выступившие полки поступили не по товарищески, не пригласив на обсуждение вопроса о выступлении комитет нашей партии. Центральный комитет предлагает конференции: во-первых, выпустить воззвание, чтоб удержать массы, во-вторых, выработать обращение к Исполнительному комитету — взять власть в свои руки. Говорить сейчас о выступлении без желания новой революции нельзя». Томский, старый рабочий большевик, запечатлевший свою верность партии годами каторги, известный впоследствии руководитель профессиональных союзов, был, по характеру, вообще более склонен удерживать от выступлений, чем призывать к ним. Но на этот раз он только развивал мысль Ленина: «говорить сейчас о выступлении без желания новой революции нельзя». Ведь даже попытку мирной демонстрации 10-го июня соглашатели провозгласили заговором! Подавляющее большинство конференции было солидарно с Томским. Надо во что бы то ни стало оттянуть развязку. Наступление на фронте держит в напряжении всю страну. Неудача его предрешена, как и готовность правительства перебросить ответственность за поражение на большевиков. Надо дать время соглашателям окончательно скомпрометировать себя. Володарский ответил пулеметчикам от имени конференции в том смысле, что полк должен подчиниться решению партии. Пулеметчики с протестом ушли. В 4 часа Цетральный комитет подтверждает решение конференции. Члены ее расходятся по районам и заводам, чтоб удержать массы от выступления. Соответственное воззвание по-

слано в «Правду» для напечатания на первой странице на следующее утро. Сталину поручено довести о решении партии до сведения объединенного заседания Исполнительных комитетов. Намерения большевиков не оставляют, таким образом, места никаким сомнениям. Исполнительный комитет обратился к рабочим и солдатам с воззванием: «Неизвестные люди . . . зовут вас выйти с оружием на улицу», удостоверяя этим, что призыв не исходит ни от одной из советских партий. Но центральные комитеты, партийные и советские, предполагали, а массы располагали.

К 8-ми часам вечера Пулеметный полк и за ним Московский подошли ко дворцу Кшесинской. Популярные большевики: Невский, Лашевич, Подвойский пытались с балкона повернуть полки домой. Им отвечали снизу: долой! Таких криков большевистский балкон от солдат еще не слышал, и это было тревожным признаком. За спиною полков показались заводы: «Вся власть советам!» «Долой 10 министров-капиталистов!» Это были знамена 18-го июня. Но теперь они были окружены штыками. Демонстрация стала могущественным фактом. Что делать? Мыслимо ли большевикам оставаться в стороне? Члены петроградского комитета вместе с делегатами конференции и представителями полков и заводов постановляют: перерешить вопрос, прекратить бесплодные одергивания, направить развернувшееся движение на то, чтоб правительственный кризис разрешился в интересах народа; с этой целью призвать солдат и рабочих итти мирно к Таврическому дворцу, избрать делегатов и через них предъявить свои требования Исполнительному комитету. Наличные члены Центрального комитета санкционируют изменение тактики. Новое решение, возвещенное с балкона, встречается приветственными кликами и марсельезой. Движение легализовано партией: пулеметчики могут вздохнуть с облегчением. Часть полка тут же вступает в Петропавловскую крепость, чтоб воздействовать на ее гарнизон и, в случае надобности, оградить от удара дворец Кшесин-

ской, который отделен от крепости узким Кронверкским проливом.

Головные отряды демонстрации вступили на Невский, артерию буржуазии, бюрократии и офицерства, точно в чужую страну. С панелей, из окон, с балконов осторожно глядит недоброжелательство тысячами глаз. Полк наваливается на завод, завод на полк. Прибывают новые и новые массы. Все знамена, золотом по красному, вопят об одном и том же: «власть советам!» Шествие владеет Невским и непреодолимой рекой льется к Таврическому дворцу. Плакаты «Долой войну!» вызывают наиболее острую враждебность офицеров, среди которых немало инвалидов. Размахивая руками и надрывая голос, студент, курсистка, чиновник пытаются втолковать солдатам, что стоящие за их спиною немецкие агенты хотят впустить в Петроград войска Вильгельма, чтоб задушить свободу. Ораторам их собственные доводы кажутся неотразимыми. «Обмануты шпионами!» говорят чиновники про рабочих, которые угрюмо огрызаются. «Втянуты фанатиками!» отвечают более снисходительные. «Темные люди!» соглашаются те и другие. Но у рабочих своя мера вещей. Не у немецких шпионов учились они тем мыслям, которые привели их сегодня на улицу. Демонстранты неучтиво вытесняют назойливых наставников из своей среды и продвигаются вперед. Это выводит из себя патриотов с Невского. Ударные группы, предводительствуемые чаще всего инвалидами и георгиевскими кавалерами, набрасываются на отдельные ряды демонстрантов, чтоб вырвать знамя. Стычки происходят там и здесь. Атмосфера нагревается. Раздаются выстрелы, один, другой. Из окна? Из Аничкина дворца? Мостовая отвечает залпом вверх, без адреса. На некоторое время вся улица приходит в замешательство. Около полуночи, рассказывает рабочий с завода «Вулкан», когда по Невскому проходил Гренадерский полк, подле Публичной библиотеки откуда-то была открыта стрельба, продолжавшаяся несколько минут. Вспыхнула паника. Рабочие стали

рассыпаться по боковым улицам. Солдаты под огнем залегли: не даром многие из них проходили школу войны. Этот полуночный Невский, с залегшими на мостовой, под обстрелом, гвардейцами-гренадерами, представлял фантастическое зрелище. Ни Пушкин, ни Гоголь, певцы Невского, таким его себе не представляли! Между тем эта фантастика была реальностью: на мостовой остались убитые и раненые.

* * *

Таврический жил в этот день своей особой жизнью. В виду выхода кадетов в отставку, оба Исполнительных комитета, рабоче-солдатский и крестьянский, совместно обсуждали доклад Церетели о том, как вымыть шубу коалиции, не замочив шерсти. Секрет такой операции был бы, вероятно, открыт, наконец, еслиб не помешали беспокойные пригороды. Телефонные сообщения о подготовляющемся выступлении Пулеметного полка вызывают на лицах вождей гримасы гнева и досады. Неужели же солдаты и рабочие не могут подождать, пока газеты принесут им спасительное решение? Косые взгляды большинства в сторону большевиков. Но демонстрация явилась на этот раз неожиданностью и для них. Каменев и другие наличные представители партии соглашаются даже отправиться после дневного заседания по заводам и казармам, чтоб удерживать массы от выступления. Позже этот жест истолковывался соглашателями, как военная хитрость. Исполнительными комитетами принято спешно воззвание, объявлявшее, по обыкновению, всякие выступления предательством революции. Но как все же быть с кризисом власти? Выход найден: оставить усеченный кабинет, как он есть, отложив вопрос в целом до вызова провинциальных членов Исполнительного комитета. Оттянуть, выиграть время для собственных колебаний — разве это не мудрейшая политика из всех?

Только в борьбе с массами соглашатели считали недопустимым упускать время. Официальный аппарат

немедленно был приведен в движение для того, чтоб вооружиться против восстания — так демонстрация была наименована с самого начала. Вожди искали всюду вооруженную силу для охраны правительства и Исполнительного комитета. За подписями Чхеидзе и других членов президиума пошли в разные военные учреждения требования доставить к Таврическому дворцу броневые машины, 3-дюймовые орудия, снаряды. В то же время чуть не все полки получили приказание выслать вооруженные отряды для защиты дворца. Но на этом не остановились. Бюро поспешило в тот же день протелеграфировать на фронт, в ближайшую к столице 5-ю армию, предписание «выслать в Петроград дивизию кавалерии, бригаду пехоты и броневики». Меньшевик Войтинский, на которого возложена была забота о безопасности Исполнительного комитета, откровенничал позже в своем ретроспективном обзоре: «Весь день 3-го июля ушел на то, чтобы стянуть войска, чтобы укрепить Таврический дворец... У нас была задача втянуть хоть несколько рот... Одно время у нас совершенно не было сил. У входных дверей Таврического дворца стояли шесть человек, которые не в силах были сдержать толпу»... Затем снова: «В первый день демонстрации в нашем распоряжении было только 100 человек, — больше сил у нас не было. Мы разослали комиссаров по всем полкам с просьбой дать нам солдат для несения караула... Но каждый полк озирался на другой, — как тот поступит. Нужно было во что бы то ни стало прекратить это безобразие, и мы вызвали с фронта войска». Даже и умышленно трудно было бы придумать более злую сатиру на соглашателей. Сотни тысяч демонстрантов требуют передачи власти советам. Чхеидзе, возглавляющий систему советов и тем самым кандидат в премьеры, ищет военной силы против демонстрантов. Грандиозное движение за власть демократии объявляется ее вождями нападением вооруженных банд на демократию.

В том же Таврическом дворце собралась, после

долгого перерыва, рабочая секция Совета, которая в течение последних двух месяцев успела, путем частичных перевыборов на заводах, настолько обновить свой состав, что Исполнительный комитет, не без основания, опасался засилия в ней большевиков. Искусственно оттягивавшееся собрание секции, назначенное, наконец, самими соглашателями несколько дней тому назад, случайно совпало с вооруженной демонстрацией: газеты и в этом усмотрели руку большевиков. Зиновьев убедительно развил в своем докладе на секции ту мысль, что соглашатели, союзники буржуазии, не хотят и не умеют бороться с контр-революцией, ибо под этим именем они понимают отдельные проявления черносотенного хулиганства, а не политическое сплочение имущих классов с целью раздавить советы, как центры сопротивления трудящихся. Доклад бил в точку. Меньшевики, почувствовав себя впервые на советской почве в меньшинстве, предлагали не принимать никакого решения, а разойтись по районам для охранения порядка. Но уже поздно! Весть о том, что к Таврическому дворцу подошли вооруженные рабочие и пулеметчики, вызывает величайшее возбуждение в зале. На трибуну поднимается Каменев. «Мы не призывали к выступлению, говорит он, но народные массы сами вышли на улицу... А раз массы вышли — наше место среди них... Наша задача теперь в том, чтоб придать движению организованный характер». Каменев заканчивает предложением выбрать комиссию в составе 25 человек для руководства движением. Троцкий поддерживает это предложение. Чхеидзе боится большевистской комисси и тщетно настаивает на передаче вопроса в Исполнительный комитет. Прения принимают бурный характер. Окончательно убедившись, что они вместе составляют не больше трети собрания, меньшевики и эсеры покидают зал. Это вообще становится излюбленной тактикой демократов: они начинают бойкотировать советы с того момента, как теряют в них большинство. Резолюция, призывающая Центральный исполнительный комитет взять в

свои руки власть, принята 276 голосами, в отсутствие оппозиции. Тут же произведены выборы пятнадцати членов комиссии: десять мест оставлено для меньшинства; они так и останутся незанятыми. Факт избрания большевистской комиссии означал для друзей и врагов, что рабочая секция петроградского Совета стала отныне базой большевизма. Большой шаг вперед! В апреле влияние большевиков распространялось примерно на треть петроградских рабочих; в Совете они занимали в те дни совсем ничтожный сектор. Теперь, в начале июля, большевики дали рабочей секции около $^{2}/_{3}$ делегатов: это означает, что в массах их влияние стало решающим.

По прилегающим к Таврическому дворцу улицам со знаменами, пением, музыкой стекаются колонны рабочих, работниц, солдат. Подтягивается легкая артиллерия, командир которой вызывает восторг, докладывая, что все батареи их дивизиона заодно с рабочими. Проезд и сквер у Таврического заполнены народом. Все стремятся уплотниться вокруг трибуны, у главного подъезда дворца. К демонстрантам выходит Чхеидзе, с угрюмым видом человека, которого напрасно оторвали от дела. Популярного советского председателя встречают недоброжелательным молчанием. Усталым и охрипшим голосом Чхеидзе повторяет общие фразы, давно набившие оскомину. Не лучше встречают и явившегося на подмогу Войтинского. «Зато Троцкий — по словам Милюкова — заявивший, что теперь настал момент, когда власть должна перейти к советам, был встречен шумными аплодисментами» . . . Эта фраза намеренно двусмысленна. Никто из большевиков не говорил, что «настал момент». Слесарь небольшого завода Дюфлон на Петроградской стороне рассказывал позже о митинге под стенами Таврического дворца: «Припоминается речь Троцкого, который говорил, что еще не время взять власть в свои руки». Слесарь передает суть речи правильнее, чем профессор истории. Из уст большевистских ораторов демонстранты узнавали о только

что достигнутой в рабочей секции победе, и этот факт давал им почти осязательное удовлетворение, как вступление в эпоху советской власти.

Объединенное заседание Исполнительных комитетов снова открылось незадолго до полуночи: в это время гренадеры залегли на Невском. По предложению Дана постановляется, что на собрании могут оставаться лишь те, кто заранее обязуется защищать и проводить принятые решения. Это новое слово! Из рабочего и солдатского парламента, каким меньшевики объявляли Совет, они попытались превратить его в административный орган соглашательского большинства. Когда они останутся в меньшинстве, — до этого всего два месяца, — соглашатели будут страстно защищать советскую демократию. Сегодня же, как и во все вообще решающие моменты общественной жизни, демократия увольняется в запас. Несколько межрайонцев с протестом покинули заседание; большевиков совсем не было: они обсуждали во дворце Кшесинской, как быть завтра. В дальнейшем течении заседания межрайонцы и большевики появляются в зале с заявлением, что никто не может отнять у них мандат, предоставленный им избирателями. Большинство отмалчивается, и резолюция Дана незаметно приходит в забвение. Заседание тянется, как агония. Вялыми голосами соглашатели убеждают друг друга в своей правоте. Церетели, в качестве министра почты и телеграфа, жалуется на низших служащих: «О почтово-телеграфной забастовке я узнал только сейчас... Что касается политических требований, то их лозунг также: вся власть советам!» ... Делегаты демонстрантов, облегающих Таврический дворец со всех сторон, потребовали доступа в заседание. Их впустили с тревогой и неприязнью. Между тем делегаты искренне верили, что соглашатели не смогут на этот раз не пойти им навстречу. Ведь сегодня газеты меньшевиков и эсеров, разгоряченные выходом кадетов в отставку, сами разоблачают происки и саботаж своих буржуазных союзников. К тому же рабочая секция высказалась

за власть советов. Чего еще ждать? Но горячие призывы, в которых возмущение еще дышет надеждой, бессильно и неуместно падают в застоявшейся атмосфере соглашательского парламента. Вождей озабочивает одна мысль: как поскорее отделаться от непрошенных гостей. Их приглашают удалиться на хоры: выгнать их на улицу, к демонстрантам, было бы слишком неосторожно. С галлереи пулеметчики изумленно слушали развернувшиеся прения, единственной целью которых было выиграть время: соглашатели ждали надежных полков. «На улицах революционный народ, — говорит Дан, — но этот народ совершает контр-революционное дело» . . . Дана поддерживает Абрамович, один из вождей еврейского Бунда, консервативный педант, все инстинкты которого оскорблены революцией. «Мы являемся свидетелями заговора», утверждает он, наперекор очевидности, и предлагает большевикам открыто заявить, что «это их работа». Церетели углубляет проблему: «Выходить на улицу с требованием: вся власть советам, — есть ли это поддержка советам? Если бы советы пожелали, власть могла бы перейти к ним. Препятствий ни с какой стороны воле советов нет . . . Такие выступления идут не по пути революции, а по пути контр-революции». Этого рассуждения рабочие делегаты никак не могли понять. Им казалось, что у высоких вождей ум заходит за разум. В конце концов собрание еще раз подтверждает всеми голосами против 11, что вооруженное выступление является ударом в спину революционной армии и прочее. Заседание закрывается в 5 часов утра.

Массы постепенно рассасывались по своим районам. Вооруженные автомобили разъезжали всю ночь, связывая между собою полки, заводы, районные центры. Как и в конце февраля, массы ночью подводили итог истекшему боевому дню. Но теперь они это делали при участии сложной системы организаций: заводских, партийных, войсковых, которые совещались непрерывно. В районах считалось само собою разумеющимся, что движение не может остановиться

на полуслове. Исполнительный комитет отложил решение о власти. Массы это истолковали, как колебания. Вывод был ясен: надо нажать еще. Ночное заседание большевиков и межрайонцев, происходившее в Таврическом дворце, параллельно с заседанием Исполнительных комитетов, тоже подводило итоги истекшему дню и пыталось предрешить, что несет завтрашний. Доклады из районов свидетельствовали, что сегодняшняя демонстрация лишь раскачала массы, поставив перед ними впервые во всей остроте вопрос о власти. Завтра заводы и полки будут добиваться ответа, и никакая сила не удержит их на окраинах. Прения шли не по вопросу о том, звать ли к захвату власти или не звать, как утверждали позже противники, а по вопросу о том, попытаться ли ликвидировать демонстрацию или же стать на следующее утро во главе ее.

Поздней ночью, на исходе третьего часа, к Таврическому дворцу подтянулся Путиловский завод, 30-тысячная масса, многие с женами и детьми. Шествие тронулось в 11 часов ночи, в пути к нему примыкали другие запоздавшие заводы. У Нарвских ворот, несмотря на поздний час, было столько народу, точно никого уже не осталось в районе. Женщины кричали: «Все должны итти . . . Мы будем охранять квартиры . . .» После звона на колокольне Спаса посыпались выстрелы, будто из пулемета. Снизу дали залп по колокольне. «У Гостиного двора на демонстрантов налетела компания юнкеров и студентов и выхватила было у них плакат. Рабочие сопротивлялись, получилась давка, кто-то выстрелил, пишущему эти строки разбили голову, сильно помяли ногами бока и грудь». Это рассказывает уже знакомый нам рабочий Ефимов. Пересекши весь город, уже безмолвный, путиловцы добрались, наконец, до Таврического дворца. При настойчивом посредничестве Рязанова, тесно связанного в то время с профессиональными союзами, делегация завода была пропущена в Исполнительный комитет. Рабочая мас-

са, голодная и смертельно усталая, расположилась на улице и в саду, большинство тут же растянулось с надеждой дождаться ответа. Путиловский завод, распростертый на земле в 3 часа ночи вокруг Таврического дворца, в котором демократические вожди дожидаются прибытия с фронта войск, — это одна из самых потрясающих картин революции, на остром перевале от Февраля к Октябрю. 12 лет перед тем немалое число этих же рабочих участвовало в январском шествии к Зимнему дворцу, с иконами и хоругвями. Века прошли после того воскресного дня. Новые века пройдут в течение ближайших четырех месяцев.

Над совещанием большевистских лидеров и организаторов, спорящих о завтрашнем дне, нависает тяжелая тень Путиловского завода, залегшего во дворе. Завтра путиловцы на работу не выйдут: да и какая возможна работа после ночного бдения? Зиновьева вызывают тем временем к телефону; из Кронштадта звонит Раскольников, чтоб сообщить: завтра с раннего утра гарнизон крепости движется в Петроград, никто и ничто не удержит его. Молодой мичман повис на другом конце телефонной проволоки: неужели Центральный комитет прикажет ему оторваться от матросов и погубить себя в их глазах? К образу стоящего табором Путиловского завода присоединяется другой, не менее внушительный образ матросского острова, который в эти бессонные ночные часы готовится на поддержку рабочего и солдатского Петрограда. Нет, обстановка слишком ясна. Колебаниям нет больше места. Троцкий спрашивает в последний раз: может быть все-таки попытаться придать демонстрации безоружный характер? Нет, и об этом не может быть речи. Один взвод юнкеров будет гнать десятки тысяч безоружных, как стадо баранов. Солдаты, да и рабочие с возмущением отнесутся к такому предложению, как к западне. Ответ категоричен и убедителен. Все единодушно решают призвать завтра массы на

продолжение демонстрации от имени партии. Зиновьев освобождает душу Раскольникова, который томится у телефона. Тут же составляется обращение к рабочим и солдатам: на улицу! Дневное воззвание Центрального комитета о прекращении демонстрации вырезывается из стереотипа; но уже слишком поздно, чтоб заменить его новым текстом. Белая страница «Правды» станет завтра убийственной уликой против большевиков: очевидно, испугавшись в последний момент, они сняли призыв к восстанию; или, может быть, наоборот: отказались от первоначального призыва к мирной демонстрации, чтоб довести дело до восстания? Между тем подлинное решение большевиков вышло отдельным листком. Оно призывало рабочих и солдат «довести свою волю путем мирной и организованной демонстрации до сведения заседающих сейчас Исполнительных комитетов». Нет, это не призыв к восстанию!

«ИЮЛЬСКИЕ ДНИ»: КУЛЬМИНАЦИЯ И РАЗГРОМ

Непосредственное руководство движением окончательно переходит с этого момента в руки Петроградского комитета партии, главной агитаторской силой которого был Володарский. Мобилизация гарнизона ложится на Военную организацию. Во главе ее еще с марта поставлены были два старых большевика, которым организация во многом обязана была своим дальнейшим развитием. Подвойский — яркая и своеобразная фигура в рядах большевизма, с чертами русского революционера старого типа, из семинаристов, человек большой, хотя и недисциплинированной энергии, с творческой фантазией, которая, правда, легко переходила в прожектерство. Слово «подвойщина» получило впоследствии в устах Ленина добродушно-иронический и предостерегающий характер. Но слабые стороны этой кипучей натуры должны были сказаться главным образом после завоевания власти, когда обилие возможностей и средств давало слишком много толчков расточительной энергии Подвойского и его страсти к декоративным предприятиям. В условиях революционной борьбы за власть его оптимистическая решительность, самоотверженность, неутомимость делали его незаменимым руководителем пробуждавшихся солдат. Невский, в прошлом приват-доцент, более прозаического склада, чем Под-

войский, но не менее его преданный партии, совсем не организатор и лишь по несчастной случайности попавший через год на короткое время в советские министры путей сообщения, привлекал к себе солдат простотой, общительностью и внимательной мягкостью. Вокруг этих руководителей собралась группа ближайших помощников, солдат и молодых офицеров, из которых некоторым предстояло в дальнейшем сыграть не малую роль. В ночь на 4-ое июля Военная организация сразу выдвигается на передний план. При Подвойском, который без труда завладел функциями командования, создается импровизованный штаб. Во все части гарнизона рассылаются краткие призывы и предписания. Чтоб охранять демонстрантов от нападений, у мостов, ведущих из окраин к центру, и на узловых пунктах важнейших артерий приказано разместить броневые машины. Пулеметчики уже с ночи выставили собственный караул у Петропавловской крепости. По телефону и через нарочных оповещены о завтрашней демонстрации гарнизоны Ораниенбаума, Петергофа, Красного села и других ближайших к столице пунктов. Общее политическое руководство остается, разумеется, в руках Центрального комитета.

Пулеметчики возвратились в свои бараки только к утру, усталые и, несмотря на июль, продрогшие. Ночной дождь промочил путиловцев до нитки. Демонстранты собираются только к 11 часам утра. Воинские части выступают еще позже. Первый Пулеметный и сегодня на улице полностью. Но он уже не играет той роли зачинщика, что накануне. На первое место выступили заводы. В движение втянулись и те предприятия, которые вчера оставались в стороне. Где руководители колеблются или противодействуют, рабочая молодежь заставляет дежурного члена завкома давать гудок для прекращения работ. На Балтийском заводе, где преобладали меньшевики и эсеры, из пяти тысяч рабочих выступили около четырех. На обувной фабрике Скороход, долго считавшейся крепостью эсеров, настроение успело так круто переломиться,

что старому депутату от фабрики, эсеру, пришлось несколько дней не показывать глаз. Бастовали все заводы, шли митинги. Выбирали руководителей демонстрации и делегатов для предъявления требований Исполнительному комитету. Снова сотни тысяч тянулись по радиусам к Таврическому дворцу, и снова десятки тысяч заворачивали по пути к особняку Кшесинской. Сегодняшнее движение внушительнее и организованнее вчерашнего: видна руководящая рука партии. Но атмосфера сегодня горячее: солдаты и рабочие добиваются развязки кризиса. Правительство томится, так как на второй день демонстрации его бессилие еще очевиднее, чем вчера. Исполнительный комитет ждет верных войск и получает отовсюду донесения, что на столицу идут враждебные части. Из Кронштадта, из Нового Петергофа, из Красного села, с форта Красная Горка, со всей ближайшей периферии, по морю и по суху, движутся матросы и солдаты, с оркестрами, с оружием и, что хуже всего, с большевистскими плакатами. Некоторые полки, совсем как в февральские дни, ведут с собой своих офицеров, делая вид, что выступают под их командой.

«Заседание правительства еще не кончилось, — рассказывает Милюков, — когда из штаба сообщили, что на Невском происходит стрельба. Решено было перенести заседание в штаб. Там были кн. Львов, Церетели, министр юстиции Переверзев, два помощника военного министра. Был момент, когда положение правительства казалось безнадежным. Преображенцы, семеновцы, измайловцы, не примкнувшие к большевикам, заявили и правительству, что они сохраняют «нейтралитет». На Дворцовой площади, для защиты штаба, были только инвалиды и несколько сотен казаков». Генерал Половцев опубликовал утром 4-го июля извещение о предстоящей очистке Петрограда от вооруженных полчищ; жителям строго предлагалось запирать ворота и не выходить без крайней надобности на улицы. Грозный приказ оказался холостым выстрелом. Командующему войсками округа удалось

выбросить против демонстрантов лишь мелкие отряды казаков и юнкеров. В течение дня они вызывали бессмысленные перестрелки и кровавые столкновения. Хорунжий 1-го Донского полка, охранявшего Зимний дворец, докладывал следственной комиссии: «Было приказано разоружать проходящие мимо небольшие группы людей, из кого бы они ни состояли, а также вооруженные автомобили. Исполняя это приказание, мы время от времени выбегали в пешем строю из дворца и занимались разоружением» ... Нехитрый рассказ казачьего прапорщика безошибочно рисует и соотношение сил и картину борьбы. «Мятежные» войска выходят из казарм ротами и батальонами, владеют улицами и площадями. Правительственные части действуют из засады, налетами, небольшими отрядами, т. е. именно так, как полагается действовать повстанческим партизанам. Перемена ролей объясняется тем, что почти вся вооруженная сила правительства враждебна ему, в лучшем случае нейтральна. Правительство живет по доверенности Исполнительного комитета, который сам держится надеждами масс на то, что он одумается, наконец, и возьмет власть.

Наибольший размах демонстрации придало появление на петроградской арене кронштадтских моряков. Уже накануне в гарнизоне морской крепости работали делегаты пулеметчиков. На Якорной площади неожиданно для местных организаций собрался митинг, по инициативе прибывших из Петрограда анархистов. Ораторы звали на помощь Петрограду. Рошаль, студент-медик, один из молодых героев Кронштадта и любимец Якорной площади, пытался выступить с умеряющей речью. Тысячи голосов оборвали его. Рошалю, привыкшему к иным встречам, пришлось сойти с трибуны. Лишь ночью выяснилось, что большевики в Петрограде зовут на улицу. Это разрешало вопрос. Левые эсеры — в Кронштадте не было и не могло быть правых! — заявили, что и они намерены принять участие в демонстрации. Эти люди

принадлежали к одной партии с Керенским, который в это самое время собирал на фронте войска для разгрома демонстрантов. Настроение на ночном заседании кронштадтских организаций было таково, что даже робкий комиссар Временного правительства Парчевский голосовал за поход на Петроград. Составлен план, мобилизованы плавучие средства, для нужд политического десанта выдано из склада 75 пудов огнестрельных припасов. На буксирах и пассажирских пароходах около 10.000 вооруженных матросов, солдат и рабочих вошли в устье Невы в двенадцатом часу дня. Высадившись по обе стороны реки, они соединяются в процессию, с винтовками на ремнях, с оркестром музыки. За отрядами матросов и солдат — колонны рабочих Петроградского и Васильеостровского районов, вперемежку с дружинами красной гвардии. По бокам броневые автомобили, над головами бесчисленные знамена и плакаты.

Дворец Кшесинской — в двух шагах. Маленький, худощавый, черный как смоль, Свердлов, один из коренных организаторов партии, введенный на апрельской конференции в Центральный комитет, стоял на балконе и деловито, как всегда, отдавал сверху распоряжения своим могучим басом: «Голову шествия продвинуть вперед, стать плотнее, подтянуть задние ряды». Демонстрантов приветствовал с балкона Луначарский, всегда готовый заразиться настроениями окружающих, импонирующий своим видом и голосом, декламаторски красноречивый, не очень надежный, но часто незаменимый. Ему бурно аплодировали снизу. Но демонстрантам больше всего хотелось послушать самого Ленина, — его, кстати, в это утро вызвали из его временного финляндского убежища, — и матросы так настойчиво добивались своего, что, несмотря на нездоровье, Ленин не смог уклониться. Необузданной, чисто кронштадтской волной восторга встретили снизу появление вождя на балконе. Нетерпеливо и, как всегда, полусмущенно пережидая приветствия, Ленин начал прежде, чем голоса смолкли. Его речь, ко-

торую потом в течение недель на все лады трепала враждебная печать, состояла из нескольких простых фраз: привет демонстрантам; выражение уверенности в том, что лозунг «вся власть советам» в конце концов победит; призыв к выдержке и стойкости. С новыми кликами манифестация развертывается под звуки оркестра. Между этим праздничным вступлением и ближайшим этапом, когда пролилась кровь, вклинивается курьезный эпизод. Вожди кронштадтских левых эсеров только на Марсовом поле заметили во главе демонстрации огромный плакат Центрального комитета большевиков, появившийся после остановки у дома Кшесинской; сгорая от партийной ревности, они потребовали его удаления. Большевики отказались. Тогда эсеры заявили, что уходят совсем. Никто из матросов и солдат не последовал, однако, за вождями. Вся политика левых эсеров состояла из таких капризных колебаний, то комических, то трагических.

На углу Невского и Литейного арьергард демонстрации был неожиданно обстрелян, несколько человек пострадало. Более жестокий обстрел последовал на углу Литейного и Пантелеймоновской улицы. Руководитель кронштадтцев Раскольников вспоминает, как остро ударила по демонстрантам «неизвестность: где враг? откуда, с какой стороны стреляют?» Матросы схватились за винтовки, началась беспорядочная стрельба во все стороны, несколько человек было убито и ранено. Лишь с большим трудом удалось восстановить подобие порядка. Шествие снова двинулось вперед под звуки музыки, но от праздничной приподнятости уже не осталось и следа. «Всюду казался притаившийся враг. Винтовки уже не покоились мирно на левом плече, а были взяты на изготовку».

Кровавых стычек за день было в разных частях города немало. Известную часть их нельзя не отнести за счет недоразумений, путаницы, шальных выстрелов, паники. Такие трагические случайности являются неизбежным накладным расходом революции, кото-

рая сама есть накладной расход исторического развития. Но и элемент кровавой провокации в июльских событиях совершенно неоспорим, обнаружен в те же дни и подтвержден впоследствии. «...Когда демонстрирующие солдаты, — рассказывает Подвойский, — стали проходить Невским и прилегающими к нему кварталами, населенными по преимуществу буржуазией, стали появляться зловещие признаки столкновения: странные, неизвестно откуда и кем производимые выстрелы... Колоннами сначала овладело смущение, затем наименее твердые и выдержанные стали открывать беспорядочную стрельбу». В официальных «Известиях» меньшевик Канторович описывал обстрел одной из рабочих колонн следующими словами: «На Садовой улице шла 60-тысячная толпа рабочих многих заводов. Во время того, как они проходили мимо церкви, раздался звон с колокольни, и, как бы по сигналу, с крыши домов началась стрельба, оружейная и пулеметная. Когда толпа рабочих бросилась на другую сторону улицы, то с крыш противоположной стороны также раздались выстрелы». На чердаках и крышах, где в феврале помещались с пулеметами «фараоны» Протопопова, действовали теперь члены офицерских организаций. Путем обстрела демонстрантов они не без успеха стремились сеять панику и вызывать столкновения воинских частей между собою. При обысках домов, из которых стреляли, находили пулеметные гнезда, а иногда и самих пулеметчиков.

Главной причиной кровопролития являлись, однако, правительственные отряды, бессильные, чтоб справиться с движением, но достаточные для провокации. Около 8 часов вечера, когда демонстрация была в полном разгаре, две казачьи сотни с легкими орудиями направлялись для охраны Таврического дворца. Упорно отказываясь по пути вступать в разговоры с демонстрантами, что само собою являлось дурным признаком, казаки перехватывали, где можно было, вооруженные автомобили и разоружали отдельные мелкие группы. Орудия казаков на улицах, занятых

рабочими и солдатами, казались невыносимым вызовом. Все предвещало столкновение. У Литейного моста казаки сближаются с компактными массами врага, который успел воздвигнуть здесь, на пути к Таврическому, кое-какие заграждения. Минута зловещей тишины, которую взрывают выстрелы из соседних домов. «Казаки действуют пачками патронов, — пишет рабочий Метелев, — рабочие и солдаты, рассыпавшись в прикрытиях, или просто лежа под огнем на панелях, отвечают тем же». Огонь солдат заставляет казаков отступить. Пробившись на набережную Невы, они из орудий дают три залпа — выстрелы из пушек отмечены также «Известиями», — но, настигаемые ружейным огнем, отступают в сторону Таврического дворца. Встречная колонна рабочих наносит казакам решительный удар. Бросая орудия, лошадей, винтовки, казаки прячутся у подъездов буржуазных домов или рассеиваются. Столкновение на Литейном, настоящее маленькое сражение, было самым крупным военным эпизодом июльских дней, и рассказ о нем проходит через воспоминания многих участников демонстрации. Бурсин, рабочий завода Эриксон, выступившего вместе с пулеметчиками, рассказывает, как при встрече с ними «казаки сразу же открыли ружейный огонь. Многие рабочие остались лежать убитыми. И меня здесь просверлила пуля, пройдя сквозь одну ногу и остановившись в другой . . . Живой памятью об июльских днях служит у меня моя недействующая нога и палка-костыль» . . . В столкновении у Литейного убито 7 казаков, ранено и контужено 19. Среди демонстрантов убито 6, ранено около 20. Здесь и там валялись трупы лошадей.

У нас есть интересное показание из противоположного лагеря. Аверин, тот самый хорунжий, который совершал с утра партизанские налеты на регулярных мятежников, рассказывает: «В восьмом часу вечера мы получили приказание от ген. Половцева выступить в составе двух сотен при двух скорострельных орудиях к Таврическому дворцу . . . Мы дошли до Литейного

моста, на котором я увидел вооруженных рабочих, солдат и матросов... Со своим головным отрядом я подъехал к ним и попросил их отдать оружие, но просьба моя исполнена не была, и вся эта банда бросилась бежать по мосту на Выборгскую сторону. Не успел я последовать за ними, как какой-то небольшого роста солдат без погон повернулся лицом ко мне и выстрелил в меня, но промахнулся. Этот выстрел послужил как бы сигналом, и отовсюду по нас был открыт беспорядочный ружейный огонь. Со стороны толпы раздались крики: «Казаки по нас стреляют». В действительности так и было: казаки слезли с лошадей и начали стрелять, были даже попытки открыть огонь из орудий, но солдаты открыли такой ураганный огонь, что казаки принуждены были отступить и рассеялись по городу». Нет ничего невозможного в том, что по хорунжему стрелял солдат: казачий офицер мог ждать скорее пули, чем привета, в июльской толпе. Но гораздо правдоподобнее многочисленные свидетельства о том, что первые выстрелы раздались не с улицы, а из засады. Рядовой казак из той же сотни, что и хорунжий, уверенно показывал, что казаков обстреляли со стороны здания окружного суда, затем из других домов, в Самурском переулке и на Литейном. В советском официозе упоминалось, что казаки, не доезжая до Литейного моста, были обстреляны пулеметным огнем из каменного дома. Рабочий Метелев утверждает, что когда солдаты обыскали этот дом, то в квартире генерала нашли запасы огнестрельного оружия, в том числе два пулемета с патронами. В этом нет ничего невероятного. В руках командного состава правдами и неправдами сосредоточивалось за время войны много всякого оружия. Искушение безнаказанно обсыпать сверху эту «сволочь» свинцовым дождем было слишком велико. Правда, выстрелы пришлись по казакам. Но в толпе июльских дней жила уверенность, что контр-революционеры сознательно стреляют по правительственным войскам, чтоб вызвать их на беспощадную расправу.

Офицерство, вчера еще неограниченно властвовавшее, не знает в гражданской войне предела коварству и жестокости. Петроград кишел тайными и полутайными офицерскими организациями, пользовавшимися высоким покровительством и щедрой поддержкой. В секретной информации, которую давал меньшевик Либер почти за месяц до июльских дней, упоминалось, что заговорщики-офицеры имели свой вход к Бьюкенену. Да и могли ли дипломаты Антанты не заботиться о скорейшем пришествии сильной власти?

Либералы и соглашатели искали во всех эксцессах руку «анархо-большевиков» и немецких агентов. Рабочие и солдаты уверенно возлагали ответственность за июльские стычки и жертвы на патриотических провокаторов. На чьей стороне истина? Суждения массы, разумеется, не безошибочны. Но грубо заблуждается тот, кто считает, будто масса слепа и легковерна. Где она задета за живое, там она тысячами глаз и ушей воспринимает факты и догадки, проверяет слухи на своей спине, отбирает одни, отбрасывает другие. Где версии, касающиеся массовых движений, противоречивы, ближе к истине окажется та, которая усвоена самой массой. Поэтому так бесплодны для науки международные сикофанты типа Ипполита Тэна, которые при изучении великих народных движений игнорируют голоса улицы, тщательно подбирая пустые сплетни салонов, порожденные изолированностью и страхом.

Демонстранты снова осаждали Таврический дворец и требовали ответа. К моменту прихода кронштадтцев какая-то группа вызвала к ним Чернова. Почувствовав настроение толпы, словоохотливый министр произнес на этот раз небольшую речь, скользнув по кризису власти и отозвавшись презрительно об ушедших из правительства кадетах: «скатертью дорога»! Его прерывали возгласами: «А почему же вы раньше этого не говорили?» Милюков рассказывает даже, будто «рослый рабочий, поднося кулак к лицу министра, исступленно кричал: «принимай, с. с., власть, коли дают». Если это даже не более, как анекдот, и в

этом случае он с грубоватой меткостью выражает самую суть июльской ситуации. Ответы Чернова не представляют интереса, во всяком случае они не завоевали ему кронштадтских сердец . . . Уже через две-три минуты в зал заседания Исполнительного комитета вбежал кто-то с криком, что Чернова арестовали матросы и собираются расправиться с ним. В неописуемом возбуждении Исполком командировал на выручку министра несколько видных своих членов, исключительно интернационалистов и большевиков. Чернов показывал впоследствии правительственной комиссии, как, сходя с трибуны, он заметил за колоннами, у входа, враждебное движение нескольких лиц. «Они окружили меня, не пуская к двери . . . Подозрительная личность, командовавшая задержавшими меня матросами, все время указывала на стоящий вблизи автомобиль . . . В это время к автомобилю подошел появившийся из Таврического дворца Троцкий, который, встав на передок автомобиля, в коем я находился, произнес небольшую речь». Предлагая отпустить Чернова, Троцкий вызывал поднять руку тех, кто против. «Ни одна рука не поднялась; тогда группа, проводившая меня к автомобилю, с недовольным видом расступилась. Троцкий, как мне кажется, сказал, что вам, гражданин Чернов, никто не препятствует свободно вернуться назад . . . Общая картина всего этого не оставила у меня сомнения, что здесь имела место попытка, заранее подстроенная, темных людей, действовавших помимо общей массы рабочих и матросов, вызвать меня и арестовать».

За неделю до своего ареста Троцкий говорил на объединенном заседании Исполнительных комитетов: «Эти факты войдут в историю, и мы попытаемся установить их такими, как они были . . . Я видел, что около входа стоит кучка негодяев. Я говорил Луначарскому и Рязанову, что это охранники, что они пытаются ворваться в Таврический дворец (Луначарский с места: «верно») . . . Я мог бы их узнать в десятитысячной толпе». В своих показаниях от 24 июля, уже

из одиночной камеры Крестов Троцкий писал: «...Я сперва решил было выехать из толпы вместе с Черновым и теми, кто хотел его арестовать, на автомобиле, чтобы избежать конфликтов и паники в толпе. Но подбежавший ко мне мичман Раскольников, крайне взволнованный, воскликнул: «Это невозможно... Если вы выедете с Черновым, то завтра скажут, будто кронштадтцы его арестовали. Нужно Чернова освободить немедленно». Как только горнист призвал толпу к тишине и дал мне возможность произнести короткую речь, заканчивавшуюся вопросом: «Кто тут за насилие, пусть поднимет руку», — Чернов сейчас же получил возможность беспрепятственно вернуться во дворец».

Показания двух свидетелей, которые были в то же время главными участниками приключения, исчерпывают фактическую сторону дела. Но это нисколько не мешало враждебной большевикам печати излагать случай с Черновым и «покушение» на арест Керенского, как наиболее убедительные доказательства организации большевиками вооруженного восстания. Не было недостатка и в ссылках на то, особенно в устной агитации, что арестом Чернова руководил Троцкий. Эта версия докатывалась даже до Таврического дворца. Сам Чернов, который довольно близко к действительности изложил обстоятельства своего получасового ареста в секретном следственном документе, воздерживался, однако, от каких бы то ни было публичных выступлений на эту тему, чтоб не мешать своей партии сеять негодование против большевиков. К тому же Чернов входил в состав правительства, которое посадило Троцкого в Кресты. Соглашатели могли бы, правда, сослаться на то, что кучка темных заговорщиков не отважилась бы на столь дерзкий замысел, как арест министра в толпе среди бела дня, еслиб не надеялась, что враждебность массы к «потерпевшему» явится для нее достаточным прикрытием. Так оно, до известной степени, и было. Никто в окружении автомобиля не делал, по собственной инициативе, попытки

освободить Чернова. Еслиб, в довершение к этому, арестовали где-нибудь и Керенского, ни рабочие, ни солдаты, конечно, не огорчились бы. В этом смысле моральное соучастие масс в действительных и мнимых покушениях на социалистических министров было налицо и давало опору для обвинений по адресу кронштадтцев. Но выдвинуть этот откровенный довод мешала соглашателям забота об остатках их демократического престижа: враждебно отгораживаясь от демонстрантов, они ведь продолжали все-таки возглавлять систему рабочих, солдатских и крестьянских советов в осажденном Таврическом дворце.

В 8-м часу вечера генерал Половцев по телефону обнадежил Исполнительный комитет: две казачьи сотни, при орудиях, выступили к Таврическому дворцу. Наконец-то! Но ожидания и на этот раз были обмануты. Телефонные звонки в ту и в другую сторону только сгущали панику: казаки бесследно исчезли, точно испарились. вместе с лошадьми, седлами и скорострельными пушками. Милюков пишет, что к вечеру начали обнаруживаться «первые последствия правительственных обращений к войскам»: так, на выручку Таврического дворца спешил будто бы 176-й полк. Эта, столь точная по внешности, ссылка, очень любопытна для характеристики тех qui pro quo, которые неизбежно возникают в первый период гражданской войны, когда лагери еще только начинают размежевываться. К Таврическому дворцу действительно прибыл походным порядком полк: ранцы и скатанные шинели за спиною, манерки и котелки сбоку. Солдаты в пути промокли и устали: они пришли из Красного села. Это и был 176-й полк. Но он совсем не собирался выручать правительство: связанный с межрайонцами, полк выступил под руководством двух солдат-большевиков, Левинсона и Медведева, чтоб добиваться власти советов. Руководителям Исполнительного комитета, сидевшим как на угольях, немедлено донесли, что перед окнами располагается на заслуженный отдых пришедший издалека в полном порядке, с офи-

церами, полк. Дан, носивший форму военного врача, обратился к командиру с просьбой дать караулы для охраны Дворца. Караулы были вскоре действительно поставлены. Дан, надо думать, с удовлетворением сообщил об этом президиуму, откуда факт попал в газетные отчеты. Суханов издевается в своих «Записках» над покорностью, с какою большевистский полк принял к исполнению распоряжение меньшевистского лидера: лишнее доказательство «бессмысленности» июльской демонстрации! В действительности дело обстояло и проще и сложнее. Получив предложение о караулах, командир полка обратился к дежурному помощнику коменданта, юному поручику Пригоровскому. На беду Пригоровский был большевиком, членом межрайонной организации, и сейчас же обратился за советом к Троцкому, который, с небольшой группой большевиков, занимал наблюдательный пункт в одной из боковых комнат Дворца. Пригоровский получил, разумеется, совет немедленно расставить, где следует, караулы: гораздо выгоднее иметь у входов и выходов друзей, чем врагов. Таким образом 176-й полк, явившийся для демонстрации против власти, охранял эту власть от демонстрантов. Еслиб дело действительно шло о восстании, поручик Пригоровский без труда арестовал бы весь Исполнительный комитет, имея четырех солдат за спиною. Но никто не думал об аресте, солдаты большевистского полка добросовестно несли караулы.

После того, как казачьи сотни, единственное препятствие на пути к Таврическому дворцу, оказались сметены, многим демонстрантам представлялось, что победа обеспечена. На самом деле главное препятствие сидело в самом Таврическом дворце. На объединенном заседании Исполкомов, которое началось в шестом часу вечера, присутствовало 90 представителей от 54 фабрик и заводов. Пять ораторов, которым, по соглашению, было предоставлено слово, начинали с протестов против того, что демонстранты клеймятся в воззваниях Исполкома, как контр-революционеры.

«Вы видите, что написано на плакатах, — говорит один.—Таковы решения, вынесенные рабочими . . . Мы требуем ухода 10 министров-капиталистов. Мы доверяем Совету, но не тем, кому доверяет Совет . . . Мы требуем, чтобы немедленно была взята земля, чтобы немедленно был учрежден контроль над промышленностью, мы требуем борьбы с грозящим нам голодом» . . . Другой дополнял: «Перед вами не бунт, а вполне организованное выступление. Мы требуем перехода земли к крестьянам. Мы требуем, чтобы были отменены приказы, направленные против революционной армии . . . Сейчас, когда кадеты отказались с вами работать, мы спрашиваем вас, с кем вы еще будете сторговываться? Мы требуем, чтоб власть перешла в руки Советов». Пропагандистские лозунги манифестации 18 июня стали теперь вооруженным ультиматумом масс. Но соглашатели были уже слишком тяжелыми цепями прикованы к колеснице имущих. Власть советов? Но это значит прежде всего смелая политика мира, разрыв с союзниками, разрыв с собственной буржуазией, полная изоляция, гибель в течение нескольких недель. Нет, ответственная демократия не станет на путь авантюр! «Нынешние обстоятельства, — говорил Церетели, — делают невозможным в петроградской атмосфере выполнить какие-либо новые решения». Остается поэтому: «признать правительство в том составе, в котором оно осталось . . . Назначить чрезвычайный съезд советов через две недели . . . в таком месте, где он мог бы работать беспрепятственно, лучше всего в Москве».

Но ход собрания непрерывно нарушается. В дверь Таврического дворца стучатся путиловцы: они подтянулись только к вечеру, усталые, раздраженные, в крайнем возбуждении. «Церетели, подавай сюда Церетели!» Тридцатитысячная масса посылает во дворец своих представителей, кое-кто кричит им вдогонку, что если Церетели не выйдет добровольно, придется вывести его насильно. От угрозы до действия еще не близко, но дело принимает все же слишком острый

оборот, и большевики спешат вмешаться. Зиновьев впоследствии рассказывал: «Наши товарищи предложили мне выйти к путиловцам ... Море голов, какого я еще не видал. Сгрудилось несколько десятков тысяч человек. Крики «Церетели» продолжались ... Я начал: «Вместо Церетели вышел к вам я». Смех. Это переломило настроение. Я смог произнести довольно большую речь ... В заключение я и эту аудиторию призвал немедленно мирно расходиться, соблюдая полный порядок, и ни в каком случае не давать себя провоцировать на какие-нибудь агрессивные действия. Собравшиеся бурно аплодируют, строятся в ряды и начинают расходиться». Этот эпизод как нельзя лучше передает и остроту недовольства масс, и отсутствие у них наступательного плана, и действительную роль партии в июльских событиях.

В то время, как Зиновьев объяснялся с путиловцами на улице, в зал заседаний бурно вступила многочисленная группа путиловских делегатов, некоторые с ружьями. Члены Исполнительных комитетов вскакивают с мест. «Иные не проявляют достаточно храбрости и самообладания», пишет Суханов, оставивший яркое описание этого драматического момента. Один из рабочих, «классический санкюлот, в кепке и короткой синей блузе без пояса, с винтовкой в руке», вскакивает на ораторскую трибуну, дрожа от волнения и гнева ... «Товарищи! Долго ли терпеть нам, рабочим, предательство? Вы заключаете сделки с буржуазией и помещиками ... Нас тут путиловцев 30.000 человек ... Мы добьемся своей воли!» ... Чхеидзе, перед носом которого плясала винтовка, проявил выдержку. Спокойно наклонившись со своего возвышения, он всовывал в дрожащую руку рабочего печатное воззвание: «Вот, товарищ, возьмите, пожалуйста, прошу вас — и прочтите. Тут сказано, что надо делать товарищам-путиловцам» ... В воззвании не было сказано ничего, кроме того, что демонстранты должны отправляться по домам, иначе они будут предателями революции. Да и что другое оставалось сказать меньшевикам?

В агитации под стенами Таврического дворца, как и вообще в агитационном вихре того периода, большое место занимал Зиновьев, оратор исключительной силы. Его высокий теноровый голос в первый момент удивлял, а затем подкупал своеобразной музыкальностью. Зиновьев был прирожденный агитатор. Он умел заражаться настроением массы, волноваться ее волнениями и находить для ее чувств и мыслей, может быть, несколько расплывчатое, но захватывающее выражение. Противники называли Зиновьева наибольшим демагогом среди большевиков. Этим они обычно отдавали дань наиболее сильной его черте, т. е. способности проникать в душу демоса и играть на ее струнах. Нельзя, однако, отрицать того, что будучи только агитатором, не теоретиком, не революционным стратегом, Зиновьев, когда его не сдерживала внешняя дисциплина, легко соскальзывал на путь демагогии, уже не в обывательском, а в научном смысле этого слова, т. е. проявлял склонность жертвовать длительными интересами во имя успехов момента. Агитаторская чуткость Зиновьева делала его чрезвычайно ценным советником, поскольку дело касалось конъюнктурных политических оценок, но не глубже этого. На собраниях партии он умел убеждать, завоевывать, завораживать, когда являлся с готовой политической идеей, проверенной на массовых митингах и как-бы насыщенной надеждами и ненавистью рабочих и солдат. Зиновьев способен был, с другой стороны, во враждебном собрании, даже в тогдашнем Исполнительном комитете, придавать самым крайним и взрывчатым мыслям обволакивающую, вкрадчивую форму, забираясь в головы тех, которые относились к нему с заранее готовым недоверием. Чтоб достигать таких неоценимых результатов, ему мало было одного лишь сознания своей правоты; ему необходима была успокоительная уверенность в том, что политическая ответственность снята с него надежной и крепкой рукою. Такую уверенность давал ему Ленин. Вооруженный готовой стратегической формулой, вскрывающей самую суть вопроса, Зиновьев находчи-

во и чутко наполнял ее свежими, только что перехваченными на улице, на заводе или в казарме возгласами, протестами, требованиями. В такие моменты это был идеальный передаточный механизм между Лениным и массой, отчасти между массой и Лениным. За своим учителем Зиновьев следовал всегда, за вычетом совсем немногих случаев; но час разногласий наступал как раз тогда, когда решалась судьба партии, класса, страны. Агитатору революции не хватало революционного характера. Поскольку дело шло о завоевании голов и душ, Зиновьев оставался неутомимым бойцом. Но он сразу терял боевую уверенность, когда становился лицом к лицу с необходимостью действия. Тут он отшатывался от массы, как и от Ленина, реагировал только на голоса нерешительности, подхватывал сомнения, видел одни препятствия, и его вкрадчивый, почти женственный голос, теряя убедительность, выдавал внутреннюю слабость. Под стенами Таврического дворца в июльские дни Зиновьев был чрезвычайно деятелен, находчив и силен. Он поднимал до самых высоких нот возбуждение масс, — не для того, чтобы звать к решающим действиям, а, наоборот, чтоб удерживать от них. Это отвечало моменту и политике партии. Зиновьев был полностью в своей стихии.

Сражение на Литейном создало в развитии демонстрации резкий перелом. Никто уже не глядел на шествие из окон или с балконов. Более солидная публика, осаждая вокзалы, покидала город. Уличная борьба превращалась в разрозненные стычки без определенных целей. В ночные часы шли рукопашные схватки демонстрантов с патриотами, беспорядочные разоружения, переход винтовок из рук в руки. Группы солдат из расстроенных полков действовали вразброд. «Присосавшиеся к ним темные элементы и провокаторы подбивали их на анархические действия», прибавляет Подвойский. В поисках виновников стрельбы из домов группы матросов и солдат производили повальные обыски. Под предлогом обысков кое-где вспыхивали грабежи. С другой стороны, начались погром-

ные действия. Торговцы яростно набрасывались на рабочих в тех частях города, где чувствовали себя в силе, и беспощадно избивали их. «С криками «бей жидов и большевиков, в воду их», — рассказывает Афанасьев, рабочий с завода Новый Лесснер, — толпа набросилась на нас и здорово поколотила». Один из пострадавших умер в больнице, самого Афанасьева, избитого и окровавленного, матросы вытащили из Екатерининского канала...

Столкновения, жертвы, безрезультатность борьбы и неосязательность ее практической цели — все это исчерпало движение. Центральный комитет большевиков постановил: призвать рабочих и солдат прекратить демонстрацию. Теперь этот призыв, немедленно доведенный до сведения Исполнительного комитета, почти не встречал уже сопротивления в низах. Массы схлынули на окраины и не собирались завтра возобновлять борьбу. Они почувствовали, что с вопросом о власти советов дело обстоит гораздо сложнее, чем им казалось.

Осада с Таврического дворца была окончательно снята, прилегающие улицы стояли пусты. Но бдение Исполнительных комитетов продолжалось, с перерывами, тягучими речами, без смысла и цели. Только позже обнаружилось, что соглашатели чего-то дожидались. В соседних помещениях все еще томились делегаты заводов и полков. «Уже перевалило далеко за полночь, — рассказывает Метелев, — а мы все ждем «решения» . . . Мучась от усталости и голода, мы бродили по Александровскому залу . . . В четыре часа утра на пятое июля нашим ожиданиям был положен конец... ...В раскрытые двери главного подъезда дворца с шумом врывались вооруженные офицеры и солдаты». Все здание оглашается медными звуками марсельезы. Топот ног и гром инструментов в этот предутренний час вызывают в зале заседаний чрезвычайное волнение. Депутаты вскакивают с мест. Новая опасность? Но на трибуне Дан... — «Товарищи, — провозглашает он. — успокойтесь! Никакой опасности нет! Это пришли пол-

ки, верные революции». Да, это пришли, наконец, долгожданные верные войска. Они занимают проходы, злобно набрасываются на остающихся еще во дворце немногих рабочих, отбирают оружие, у кого оно есть, арестовывают, уводят. На трибуну поднимается поручик Кучин, видный меньшевик, в походной форме. Председательствующий Дан принимает его в свои объятия при победных звуках оркестра. Задыхаясь от восторга и испепеляя левых торжествующими взглядами, соглашатели хватают друг друга за руки, широко раскрывают рты и вливают свой энтузиазм в звуки марсельезы. — «Классическая сцена начала контр-революции!» — гневно бросает Мартов, который умел многое замечать и понимать. Политический смысл сцены, запечатленной Сухановым, станет еще многозначительнее, если напомнить, что Мартов принадлежал к одной партии с Даном, для которого эта сцена была высшим торжеством революции.

Только теперь, наблюдая бьющую ключом радость большинства, левое крыло начало понимать по настоящему, насколько изолирован оказался верховный орган официальной демократии, когда подлинная демократия вышла на улицу. Эти люди в течение 36 часов по очереди исчезали за кулисы, чтобы из телефонной будки сноситься со штабом, с Керенским на фронте, требовать войск, звать, убеждать, умолять, снова и снова посылать агитаторов и снова ждать. Опасность прошла, но инерция страха осталась. И топот «верных» в пятом часу утра прозвучал в их ушах, как симфония освобождения. С трибуны раздались, наконец, откровенные речи о счастливо подавленном вооруженном мятеже и о необходимости расправиться на этот раз с большевиками до конца. Отряд, вступивший в Таврический дворец, не прибыл с фронта, как показалось многим сгоряча: он был выделен из состава петроградского гарнизона, преимущественно из трех наиболее отсталых гвардейских батальонов: Преображенского, Семеновского и Измайловского. 3-го июля они объявили себя нейтральными. Тщетно пытались взять их ав-

торитетом правительства и Исполнительного комитета: солдаты угрюмо сидели по казармам, выжидая. Только во вторую половину 4-го июля власти открыли, наконец, сильнодействующее средство: преображенцам показали документы, доказывающие, как дважды два, что Ленин — немецкий шпион. Это подействовало. Весть пошла по полкам. Офицеры, члены полковых комитетов, агитаторы Исполнительного комитета заработали во всю. Настроение нейтральных батальонов переломилось. К рассвету, когда в них не было уже никакой надобности, удалось собрать их и провести по безлюдным улицам к опустевшему Таврическому дворцу. Марсельезу исполнял оркестр Измайловского полка, того самого, на который, как наиболее реакционный, возложена была 3-го декабря 1905 года задача арестовать первый петроградский Совет рабочих депутатов, заседавший под председательством Троцкого. Слепой режиссер исторических постановок на каждом шагу достигает поразительных театральных эффектов, нимало не ища их: он просто отпускает возжи логике вещей.

*
* *

Когда улицы очистились от масс, молодое правительство революции расправило свои подагрические члены: арестовывались представители рабочих, захватывалось оружие, отрезался один район города от другого. Около 6 часов утра у помещения редакции «Правды» остановился автомобиль, нагруженный юнкерами и солдатами с пулеметом, который тут же был поставлен на окно. После ухода непрошенных гостей редакция представляла картину разрушения: ящики столов взломаны, пол завален изорванными рукописями, телефоны оборваны. Караульные и служащие редакции и конторы были избиты и арестованы. Еще большему разгрому подверглась типография, на которую рабочие в течение последних трех месяцев собирали средства: ротационные машины разрушены, испорчены монотипы, разбиты клавиатурные машины.

Напрасно большевики обвиняли правительство Керенского в недостатке энергии!

«Улицы, вообще говоря, пришли в норму, — пишет Суханов, — Сборищ и уличных митингов почти нет. Магазины почти все открыты». С утра распространяется воззвание большевиков о прекращении демонстрации, последний продукт разрушенной типографии. Казаки и юнкера арестовывают на улицах матросов, солдат, рабочих и отправляют их в тюрьмы и на гауптвахты. В лавочках и на тротуарах говорят о немецких деньгах. Арестовывают всякого, кто замолвит слово в пользу большевиков. «Уже нельзя объявить, что Ленин — честный человек: ведут в комиссариат». Суханов, как всегда, выступает внимательным наблюдателем того, что происходит на улицах буржуазии, интеллигенции, мещанства. Но по иному выглядят рабочие кварталы. Фабрики и заводы еще не работают. Настроение тревожное. Разносятся слухи, что прибыли с фронта войска. Улицы Выборгского района покрываются группами, обсуждающими, как быть в случае нападения. «Красногвардейцы и вообще заводская молодежь, — рассказывает Метелев, — готовятся проникнуть к Петропавловской крепости на поддержку отрядам, находящимся в осаде. Запрятывая ручные бомбы в карманы, в сапоги, за пазуху, они переправляются на лодках через реку, частью через мосты.» Наборщик Смирнов, из Коломенской части, вспоминает: «Видел, как по Неве прибывали буксиры с гардемаринами из Дудергофа и Ораниенбаума. Часам к двум положение стало выясняться в скверную сторону . . . Видел, как поодиночке, закоулками, возвращались в Кронштадт матросы . . . Распространяли версию, что все большевики — немецкие шпионы. Травля поднята была гнусная» . . . Историк Милюков резюмирует с удовлетворением: «Настроение и состав публики на улицах совершенно переменились. К вечеру Петроград был совершенно спокоен».

Пока войска с фронта еще не успели подойти, штаб округа, при политическом содействии соглашателей,

продолжал маскировать свои намерения. Днем пожаловали во дворец Кшесинской, на совещание с вождями большевиков, члены Исполнительного комитета, во главе с Либером: один этот визит свидетельствовал о самых мирных чувствах. Достигнутое соглашение обязывало большевиков увести матросов в Кронштадт, вывести роту пулеметчиков из Петропавловской крепости, снять с постов броневики и караулы. Правительство обещало, с своей стороны, не допускать каких бы то ни было погромов и репрессий в отношении большевиков и выпустить всех арестованных, за исключением совершивших уголовные деяния. Но соглашение продержалось недолго. По мере распространения слухов о немецких деньгах и приближающихся с фронта войсках в гарнизоне обнаруживалось все больше частей и частиц, вспоминавших о своей верности демократии и Керенскому. Они посылали делегатов в Таврический дворец или в штаб округа. Начали, наконец, действительно прибывать эшелоны с фронта. Настроение в соглашательских сферах свирепело с часу на час. Прибывшие с фронта войска готовились к тому, что столицу придется с кровью вырывать у агентов кайзера. Теперь, когда в войсках не оказалось никакой надобности, приходилось оправдывать их вызов. Чтоб не подпасть самим под подозрение, соглашатели изо всех сил старались показать командирам, что меньшевики и эсеры принадлежат к одному с ними лагерю и что большевики — общий враг. Когда Каменев попытался напомнить членам президиума Исполнительного комитета о заключенном несколько часов тому назад соглашении, Либер ответил в тоне железного государственного человека: «Теперь соотношение сил изменилось». Из популярных речей Лассаля Либер знал, что пушка — важный элемент конституции. Делегация кронштадтцев, во главе с Раскольниковым, несколько раз вызывалась в Военную комиссию Исполкома, где требования, повышавшиеся с часу на час, разрешились ультиматумом Либера: немедленно согласиться на разоружение кронштадтцев. «Уйдя с заседания Военной

комиссии, — рассказывает Раскольников, —мы возобновили наше совещание с Троцким и Каменевым. Лев Давыдович (Троцкий) посоветовал немедленно и тайком отправить кронштадтцев домой. Было принято решение разослать товарищей по казармам и предупредить кронштадтцев о готовящемся насильственном разоружении». Большинство кронштадтцев уехали своевременно; остались только небольшие отряды в доме Кшесинской и в Петропавловской крепости.

С ведома и согласия министров-социалистов князь Львов еще 4-го отдал генералу Половцеву письменное распоряжение «арестовать большевиков, занимающих дом Кшесинской, очистить его и занять войсками». Теперь, после разгрома редакции и типографии, вопрос о судьбе центральной квартиры большевиков встал очень остро. Надо было привести особняк в оборонительное состояние. Комендантом здания Военная организация назначила Раскольникова. Он понял задачу широко по кронштадтски, послал требования о доставке пушек и даже о присылке в устье Невы небольшого военного корабля. Этот свой шаг Раскольников объяснял впоследствии следующим образом: «Конечно, с моей стороны были сделаны военные приготовления, но только на случай самообороны, так как в воздухе пахло не только порохом, но и погромами . . . Я, полагаю, не без основания, считал, что достаточно ввести в устье Невы один хороший корабль, чтоб решимость Временного правительства значительно пала». Все это довольно неопределенно и не слишком серьезно. Скорее приходится предположить, что в дневные часы 5-го июля руководители Военной организации, и Раскольников с ними, еще не оценили полностью перелома обстановки, и в тот момент, когда вооруженная демонстрация должна была спешно отступать назад, чтоб не превратиться в навязанное врагом вооруженное восстание, кое-кто из военных руководителей сделал несколько случайных и необдуманных шагов вперед. Молодые кронштадтские вожди не первый раз хватали через край. Но можно ли сделать революцию без

участия людей, которые хватают через край? И разве известный процент легкомыслия не входит необходимой частью во все большие человеческие дела? На этот раз все ограничилось одними распоряжениями, вскоре к тому же отмененными самим Раскольниковым. В особняк стекались тем временем все более тревожные вести: один видел, что в окнах дома на противоположном берегу Невы наведены пулеметы на дом Кшесинской; другой наблюдал колонну бронированных автомобилей, направлявшихся сюда же; третий сообщал о приближении казачьих разъездов. К командующему округом посланы были для переговоров два члена Военной организации. Половцев заверил парламентеров, что разгром «Правды» произведен без его ведома, и что против Военной организации он не готовит никаких репрессий. На самом деле он лишь дожидался достаточных подкреплений с фронта.

В то время, как Кронштадт отступал, Балтийский флот в целом только еще готовился к наступлению. В финляндских водах стояла главная часть флота, с общим количеством до 70 тысяч моряков; в Финляндии был расположен, кроме того, армейский корпус, на заводе в порту Гельсингфорса работало до 10 тысяч русских рабочих. Это был внушительный кулак революции. Давление матросов и солдат было так непреодолимо, что даже гельсингфорсский комитет социалистов-революционеров высказался против коалиции, в результате чего все советские органы флота и армии в Финляндии единодушно потребовали, чтоб Центральный исполнительный комитет взял власть в свои руки. На поддержку своего требования балтийцы готовы были в любой момент двинуться в устье Невы; их сдерживало, однако, опасение ослабить линию морской обороны и облегчить немецкому флоту нападение на Кронштадт и Петроград. Но тут произошло нечто совсем непредвиденное. Центральный комитет Балтийского флота — так называемый Центробалт — созвал 4-го июля экстренное заседание судовых комитетов, на котором председатель Дыбенко огласил два только что

полученных командующим флотом секретных приказа, за подписью помощника морского министра Дударева: первый — обязывал адмирала Вердеревского выслать к Петрограду четыре миноносца, дабы силой не допустить высадки мятежников со стороны Кронштадта; второй — требовал от командующего флотом, чтоб он ни под каким видом не допустил выхода из Гельсингфорса судов в Кронштадт, не останавливаясь перед потоплением непокорных кораблей подводными лодками. Попав меж двух огней и озабоченный прежде всего сохранением собственой головы, адмирал забежал вперед и передал телеграммы Центробалту с заявлением, что не выполнит приказа, даже если Центробалт приложит к нему свою печать. Оглашение телеграммы потрясло моряков. Правда, они по всяким поводам немилосердно бранили Керенского и соглашателей. Но это было, в их глазах, внутренней советской борьбой. Ведь в Центральном исполнительном комитете большинство принадлежало тем самым партиям, что и в Областном комитете Финляндии, который только что высказался за власть советов. Ясно: ни меньшевики, ни эсеры не могут одобрить потопление кораблей, выступающих за власть Исполнительного комитета. Каким же образом старый морской офицер Дударев мог вмешаться в семейный советский спор, чтоб превратить его в морское сражение? Вчера еще большие корабли официально считались опорой революции в противовес отсталым миноносцам и едва затронутым пропагандой подводным лодкам. Неужели же власти собираются теперь всерьез при помощи подводных лодок топить корабли! Эти факты никак не укладывались в упрямые матросские черепа. Приказ, который не без основания казался им кошмарным, был, однако, законным июльским плодом мартовского семени. Уже с апреля меньшевики и эсеры начали апеллировать к провинции против Петрограда, к солдатам против рабочих, к коннице против пулеметчиков. Они давали ротам более привиллегированное представительство в советах, чем заводам; покровительствовали мелким и разрозненным

предприятиям в противовес металлическим гигантам. Представляя вчерашний день, они искали опоры в отсталости всех видов. Теряя почву, они натравливали арьергард на авангард. Политика имеет свою логику, особенно во время революции. Теснимые со всех сторон, соглашатели оказались вынуждены поручить адмиралу Вердеревскому потопить наиболее передовые корабли. На беду соглашателей отсталые, на которых они хотели опереться, все больше стремились равняться по передовым; команды подводок оказались не менее возмущены приказом Дударева, чем команды броненосцев.

Во главе Центробалта стояли люди отнюдь не гамлетического склада: совместно с членами судовых комитетов, они, не теряя времени, вынесли решение: эскадренный миноносец «Орфей», намечавшийся для потопления кронштадтцев, срочно послать в Петроград, во-первых, для получения сведений о том, что там происходит, во-вторых, «для ареста помощника морского министра Дударева». Как ни неожиданно может показаться это решение, но оно с особенной силой свидетельствует о том, насколько балтийцы все еще склонны были считать соглашателей внутренним противником, в противоположность какому-нибудь Дудареву, которого они считали общим врагом. «Орфей» вошел в устье Невы через 24 часа после того, как здесь причалили 10.000 вооруженных кронштадтцев. Но — «соотношение сил изменилось». Весь день команде не позволяли высадиться. Только вечером делегация, в составе 67 моряков, от Центробалта и судовых команд, была допущена на объединенное заседание Исполнительных комитетов, подводившее первые итоги июльским дням. Победители купались в своей свежей победе. Докладчик Войтинский не без удовольствия рисовал часы слабости и унижения, чтоб тем ярче представить воспоследовавшее торжество. «Первая часть, пришедшая нам на помощь, — говорил он, — это броневые машины. У нас было твердое решение, в случае насилия со стороны вооруженной банды — открыть

огонь . . . Видя всю опасность, грозящую революции, мы дали приказ некоторым частям (на фронте) грузиться и направляться сюда» . . . Большинство высокого собрания дышало ненавистью к большевикам, особенно к матросам. В эту асмосферу попали балтийские делегаты, снабженные приказом арестовать Дударева. Диким воем, грохотом кулаков по столам, топотом ног встретили победители оглашение резолюции Балтфлота. Арестовать Дударева? Но доблестный капитан первого ранга только выполнил священный долг по отношению к революции, которой они, матросы, мятежники, контр-революционеры, наносят удар в спину. Особым постановлением объединенное заседание торжественно солидаризировалось с Дударевым. Матросы глядели на ораторов и друг на друга широко раскрытыми глазами. Только теперь они начинали понимать, что происходит перед ними. Вся делегация была на другой день арестована и довершала свое политическое воспитание в тюрьме. Вслед за этим арестован был прибывший вдогонку председатель Центробалта, морской унтер-офицер Дыбенко, а потом и адмирал Вердеревский, вызванный в столицу для объяснений.

На утро 6-го рабочие возвращаются к работе. На улицах демонстрируют только войска, вызванные с фронта. Агенты контр-разведки проверяют паспорта и арестовывают направо и налево. Молодой рабочий Воинов, распространявший «Листок Правды», вышедший взамен разгромленной накануне большевистской газеты, убит на улице бандой, может быть, теми же агентами контр-разведки. Черносотенные элементы входят во вкус подавления мятежа. Грабежи, насилия, кое-где и стрельба, продолжаются в разных частях города. В течение дня прибывают, эшелон за эшелоном, кавалерийская дивизия, Донской казачий полк, уланская дивизия, Изборский полк, Малороссийский, драгунский полк и другие. «Прибывшие в большом количестве казачьи части, пишет газета Горького, настроены очень агрессивно». По только что прибывшему Изборскому полку открыта была в двух местах города

стрельба из пулемета. Найдены в обоих случаях места установки пулеметов на чердаке, виновники не обнаружены. Стреляли по прибывающим частям и в других местах. Рассчитанное безумие этой стрельбы глубоко волновало рабочих. Было ясно, что опытные провокаторы встречают солдат свинцом в целях антибольшевистской прививки. Рабочие рвались объяснить это прибывающим солдатам, но к ним не подпускали: впервые после февральских дней между рабочим и солдатом стал юнкер или офицер.

Соглашатели радостно приветствовали вступавшие полки. На собрании представителей воинских частей, в присутствии большого числа офицеров и юнкеров, тот же Войтинский патетически восклицал: «Вот теперь по Миллионной улице проходят войска и броневики по направлению к Дворцовой площади, чтобы стать в распоряжение генерала Половцева. Вот это и есть наша реальная сила, на которую мы опираемся». В качестве политического прикрытия к командующему округом приставлены были четыре социалистических ассистента: Авксентьев и Гоц от Исполнительного комитета, Скобелев и Чернов от Временного правительства. Но это не спасло командующего. Керенский впоследствии хвалился перед белогвардейцами, что, вернувшись в июльские дни с фронта, он уволил генерала Половцева «за его нерешительность».

Теперь можно было, наконец, разрешить столь долго откладывающуюся задачу: разорить осиное гнездо большевиков, в доме Кшесинской. В общественной жизни вообще, а во время революции в особенности, получают иногда крупное значение второстепенные факты, которые действуют на воображение своим символическим смыслом. Так, непропорционально большое место в борьбе против большевиков занимал вопрос о «захвате» Лениным дворца Кшесинской, придворной балерины, знаменитой не столько своим искусством, сколько своими отношениями к мужским представителям романовской династии. Ее особняк явился плодом этих отношений, начало которым положил, по-

видимому, Николай II, еще в качестве наследника. До войны обыватели сплетничали о расположенном против Зимнего дворца притоне роскоши, шпор и бриллиантов с оттенком завистливой почтительности; во время войны говорили чаще: «накрадено»; солдаты выражались еще точнее. Приблизившись к предельному возрасту, балерина перешла на патриотическое поприще. Откровенный Родзянко рассказывает на этот счет: «...верховный главнокомандующий (великий князь Николай Николаевич) упомянул, что он знает об участии и влиянии на артиллерийские дела балерины Кшесинской, через которую получали заказы различные фирмы». Не мудрено, если после переворота опустевший дворец Кшесинской не вызывал в народе приязненных чувств. В то время, как революция предъявляла ненасытный спрос на помещения, правительство не осмеливалось покуситься ни на одно частное здание. Реквизиция крестьянских лошадей для войны — это одно. Реквизиция пустующих особняков для революции — совсем другое. Но народные массы рассуждали иначе.

В поисках для себя подходящего помещения запасный броневой дивизион наткнулся в первые дни марта на особняк Кшесинской и занял его: у балерины был хороший гараж. Петроградскому комитету большевиков дивизион охотно уступил верхний этаж здания. Дружба большевиков с броневиками дополнила их дружбу с пулеметчиками. Занятие дворца, происшедшее за несколько недель до приезда Ленина, прошло сперва мало замеченным. Негодование против захватчиков возростало по мере роста влияния большевиков. Газетные россказни о том, будто Ленин поселился в будуаре балерины и будто вся обстановка особняка разгромлена и разворована, были просто враками. Ленин жил в скромной квартирке своей сестры, а обстановку балерины комендант здания убрал и запечатал. Суханов, посетивший дворец в день приезда Ленина, оставил не безынтересное описание помещения. «Покои знаменитой балерины имели довольно странный и не-

лепый вид. Изысканные плафоны и стены совсем не гармонировали с незатейливой обстановкой, с примитивными столами, стульями и скамьями, кое-как расставленными для деловых надобностей. Мебели вообще было немного. Движимость Кшесинской была куда-то убрана»... Осторожно обходя вопрос о броневом дивизионе, пресса выставляла Ленина виновником вооруженного захвата дома у беззащитной служительницы искусства. Эта тема питала передовицы и фельетоны. Замызганные рабочие и солдаты среди бархата, шелка и ковров! Все бельэтажи столицы содрогались от нравственного негодования. Как некогда жирондисты взваливали на якобинцев ответственность за сентябрьские убийства, пропажу матрацов в казарме и проповедь аграрного закона, так теперь кадеты и демократы обвиняли большевиков в том, что они подрывают устои человеческой морали и харкают на паркеты в особняке Кшесинской. Династическая балерина стала символом культуры, попираемой подковами варварства. Апофеоз окрылил собственницу, и она подала жалобу в суд, который постановил большевиков из помещения выселить. Но это было совсем не так просто. «Дежурившие во дворе броневые машины глядели достаточно внушительно», вспоминает член тогдашнего Петроградского комитета Залежский. К тому же пулеметный полк, как и другие части, готовы были, в случае нужды, поддержать броневиков. 25-го мая бюро Исполнительного комитета, по жалобе адвоката балерины, признало, что «интересы революции требуют подчинения силе судебных решений». Дальше этого платонического афоризма соглашатели, однако, не пошли, к великому огорчению балерины, не склонной к платонизму.

В особняке продолжали работать бок о бок Центральный комитет, Петроградский и Военная организация. «В доме Кшесинской, рассказывает Раскольников, непрестанно толклась масса народу. Одни приходили по делам в тот или иной секретариат, другие — в книжный склад..., третьи — в редакцию «Солдатской Правды», четвертые — на какое-нибудь заседание. Собра-

ния происходили очень часто, иногда беспрерывно — либо в просторном широком зале внизу, либо в комнате с длинным столом наверху, очевидно, бывшей столовой балерины». С балкона особняка, над которым развевалось внушительное знамя Центрального комитета, ораторы проводили беспрерывно митинги, не только днем, но и ночью. Часто в глубокой темноте к зданию подходила какая-либо воинская часть или толпа рабочих с требованием оратора. Останавливались перед балконом и случайные обывательские группы, любопытство которых периодически возбуждалось газетной шумихой. В критические дни к зданию приближались не надолго враждебные манифестации, требовавшие ареста Ленина и изгнания большевиков. Под людскими потоками, омывавшими дворец, чувствовались взбаламученные глубины революции. Апогея своего дом Кшесинской достиг в июльские дни. «Главным штабом движения — говорит Милюков — оказался не Таврический дворец, а цитадель Ленина, дом Кшесинской, с классическим балконом». Разгром демонстрации фатально вел к разгрому штаб-квартиры большевиков.

В 3 часа ночи к дому Кшесинской и Петропавловской крепости, отделенным друг от друга полосой воды, были двинуты: запасный батальон Петроградского полка, пулеметная команда, рота семеновцев, рота преображенцев, учебная команда Волынского полка, 2 орудия и броневой отряд из 8 машин. В 7 часов утра помощник командующего округом эсер Кузьмин потребовал очистить особняк. Не желая сдавать оружие, кронштадтцы, которых оставалось во дворце не более 120 человек, начали совершать перебежку в Петропавловскую крепость. Когда правительственные войска заняли особняк, там уже никого, кроме нескольких служащих, не было... Оставался вопрос о Петропавловке. Из Выборгского района, как мы помним, перебрались под крепость молодые красногвардейцы, чтобы, в случае надобности, помочь морякам. «На крепостных стенах, — рассказывает один из них, — стоят несколь-

ко орудий, видимо поднятых матросами на всякий случай... Начинает пахнуть кровавыми событиями». Но дипломатические переговоры мирно разрешили вопрос. По поручению Центрального комитета, Сталин предложил соглашательским вождям принять совместно меры к бескровной ликвидации выступления кронштадтцев. Вдвоем с меньшевиком Богдановым они без особенного труда убедили матросов принять вчерашний ультиматум Либера. Когда правительственные броневики приблизились к крепости, из ворот ее вышла депутация с заявлением, что гарнизон подчиняется Исполнительному комитету. Сданное матросами и солдатами оружие увозилось на грузовиках. Безоружные матросы отправлялись на баржи для возвращения в Кронштадт. Сдачу крепости можно считать заключительным эпизодом июльского движения. Прибывшие с фронта самокатчики заняли очищенные большевиками дом Кшесинской и Петропавловскую крепость, чтобы накануне октябрьского переворота перейти, в свою очередь, на сторону большевиков.

МОГЛИ ЛИ БОЛЬШЕВИКИ ВЗЯТЬ В ИЮЛЕ ВЛАСТЬ?

Запрещенная правительством и Исполнительным комитетом демонстрация носила грандиозный характер; во второй день в ней участвовало не менее 500 тысяч человек. Суханов, который не находит достаточно резких слов для оценки «крови и грязи» июльских дней, пишет, однако: «Независимо от политических результатов, нельзя было смотреть иначе, как с восхищением на это изумительное движение народных масс. Нельзя было, считая его гибельным, не восторгаться его гигантским стихийным размахом». По подсчетам следственной комиссии, убитых было 29 человек, раненых 114, приблизительно поровну с обеих сторон.

Что движение началось снизу, помимо большевиков, до известной степени против них, в первые часы признавалось и соглашателями. Но уже к ночи 3-го июля, особенно же на следующий день, официальная оценка меняется. Движение объявляется восстанием, большевики — его организаторами. «Под лозунгами «Вся власть Советам» — писал впоследствии близкий к Керенскому Станкевич — шло форменное восстание большевиков против тогдашнего большинства советов, составленного из оборонческих партий». Обвинение в восстании — не только прием политической борьбы: эти люди успели в течение июня слишком убедиться в силе влияния большевиков на массы и теперь просто

отказывались верить тому, что движение рабочих и солдат могло перелиться через головы большевиков. Троцкий пытался разъяснять на заседании Исполнительного комитета: «Нас обвиняют в том, что мы создаем настроение масс; это неправда, мы только пытаемся его формулировать». В книгах, выпущенных противниками после октябрьского переворота, в частности у Суханова, можно встретить утверждение, будто большевики, лишь вследствие поражения июльского восстания, скрыли свою подлинную цель, спрятавшись за стихийное движение масс. Но разве можно скрыть, точно клад, план вооруженного восстания, втягивающего в свой водоворот сотни тысяч людей? Разве перед Октябрем большевики не оказались вынуждены совершенно открыто призывать к восстанию и готовиться к нему на глазах у всех? Если этого плана никто не раскрыл в июле, то лишь потому, что его не было. Вступление пулеметчиков и кронштадтцев в Петропавловскую крепость, с согласия ее постоянного гарнизона, — на этот «захват» особенно напирали соглашатели! — отнюдь не являлось актом вооруженного восстания. Расположенное на островке здание — больше тюрьма, чем военная позиция — могло еще, пожалуй, служить убежищем для отступающих, но ничего не давало наступающим. Устремляясь к Таврическому дворцу, демонстранты безразлично проходили мимо важнейших правительственных зданий, для занятия которых достаточно было бы путиловского отряда красной гвардии. Петропавловской крепостью они завладели так же, как завладевали улицами, постами, площадями. Лишним побудительным мотивом послужило соседство дворца Кшесинской, которому можно было из крепости притти на помощь в случае какой-нибудь опасности.

Большевики сделали все для того, чтоб свести июльское движение к демонстрации. Но не вышло ли оно, все же, логикой вещей, из этих пределов? На этот политический вопрос труднее ответить, чем на уголовное обвинение. Оценивая июльские дни сейчас

же по их завершении, Ленин писал: «Противоправительственная демонстрация — таково было бы формально наиболее точное описание событий. Но в том-то и дело, что это не обычная демонстрация, это нечто значительно большее, чем демонстрация, и меньшее, чем революция». Когда массы усвоили какую-либо идею, они хотят ее осуществить. Доверяя партии большевиков, рабочие, тем более солдаты, еще не успели, однако, выработать убеждения, что выступать надо не иначе, как по призыву партии и под ее руководством. Опыт февраля и апреля учил скорее другому. Когда Ленин говорил в мае, что рабочие и крестьяне во сто раз революционнее нашей партии, он несомненно обобщал февральский и апрельский опыт. Но и массы обобщали этот опыт по своему. Они говорили про себя: даже и большевики тянут и сдерживают. Демонстранты вполне готовы были в июльские дни — еслиб по ходу дела это оказалось нужным — ликвидировать официальную власть. В случае сопротивления со стороны буржуазии, они готовы были применить оружие. Постольку здесь был элемент вооруженного восстания. Если оно, тем не менее, не было доведено даже до середины, не только до конца, то потому, что картину путали соглашатели.

В первом томе этой работы мы подробно характеризовали парадокс февральского режима. Власть из рук революционного народа получили мелко-буржуазные демократы, меньшевики и социалисты-революционеры. Они не ставили себе этой задачи. Они не завоевали власти. Против своей воли они оказались у власти. Против воли масс они стремились передать власть империалистской буржуазии. Народ либералам не верил, но верил соглашателям, которые, однако, не верили сами себе. И они были, по своему, правы. Даже уступив власть полностью буржуазии, демократы оставались бы кое-чем. Взяв власть в свои руки, они должны были превратиться в ничто. От демократов власть почти автоматически соскользнула бы в руки

большевиков. Беда была непоправима, ибо заключалась в органическом ничтожестве русской демократии.

Июльские демонстранты хотели передать власть советам. Для этого необходимо было, чтоб советы согласились ее взять. Между тем, даже в столице, где большинство рабочих и активные элементы гарнизона уже шли за большевиками, большинство в Совете, в силу закона инерции, свойственного всякому представительству, принадлежало еще мелкобуржуазным партиям, которые покушение на власть буржуазии рассматривали, как покушение на себя. Рабочие и солдаты ярко ощущали противоречие между своими настроениями и политикой Совета, т. е. между своим сегодняшним и своим вчерашним днем. Восставая за власть советов, они вовсе не несли своего доверия соглашательскому большинству. Но они не знали, как справиться с ним. Опрокинуть его силой значило бы разогнать советы вместо того, чтоб передать им власть. Прежде, чем найти путь к обновлению советов, рабочие и солдаты попытались подчинить их своей воле методом прямого действия.

В прокламации от обоих Исполнительных комитетов по поводу июльских дней соглашатели негодующе апеллировали к рабочим и солдатам против демонстрантов, которые-де «силой оружия пытались навязать свою волю избранным вами представителям». Как будто демонстранты и избиратели не были двумя названиями одних и тех же рабочих и солдат! Как будто избиратели не имеют права навязывать свою волю избираемым! И как будто эта воля состояла в чем-либо другом, кроме требования выполнить долг: овладеть властью в интересах народа. Сосредоточиваясь вокруг Таврического дворца, массы кричали в уши Исполнительному комитету ту самую фразу, которую безыменный рабочий преподнес Чернову вместе с мозолистым кулаком: «бери власть, коли дают». В ответ соглашатели призвали казаков. Господа демократы предпочитали гражданскую войну с народом бескровному переходу власти в их собственные руки.

Стреляли первыми белогвардейцы. Но политическую атмосферу гражданской войны создали меньшевики и эсеры.

Наткнувшись на вооруженный отпор со стороны того самого органа, которому они хотели передать власть, рабочие и солдаты потеряли сознание цели. Из могущественного массового движения оказался выдернут его политический стержень. Июльский поход свелся к демонстрации, частично произведенной средствами вооруженного восстания. С таким же правом можно сказать, что это было полувосстание во имя цели, не допускавшей иных методов, кроме демонстрации.

Отказываясь от власти, соглашатели в то же время не сдавали ее до конца и либералам: и потому что боялись их, — мелкий буржуа боится крупного; и потому что боялись за них, — чистое кадетское министерство было бы немедленно опрокинуто массами. Мало того: как правильно указывает Милюков, «в борьбе с самочинными вооруженными выступлениями Исполнительный комитет Совета закрепляет за собой право, заявленное в дни волнений 20—21 апреля, распоряжаться по своему усмотрению вооруженными силами петроградского гарнизона». Соглашатели по прежнему продолжают сами у себя воровать власть из-под подушки. Чтоб дать вооруженный отпор тем, которые пишут на своих плакатах власть советов, Совет оказывается вынужден на деле сосредоточить в своих руках власть.

Исполнительный комитет идет еще далее: он формально провозглашает в эти дни свой суверенитет. «Если бы революционная демократия признала необходимым переход всей власти в руки Советов, — гласила резолюция 4-го июля, — то только полному собранию Исполнительных комитетов может принадлежать решение этого вопроса». Объявив демонстрацию за власть советов контр-революционным восстанием, Исполнительный комитет в то же время конституировался в качестве верховной власти и решал судьбу правительства.

Когда на рассвете 5 июля «верные» войска вошли в здание Таврического дворца, командир их доложил, что его отряд подчиняется Центральному исполнительному комитету полностью и целиком. Ни слова о правительстве! Но и мятежники соглашались подчиняться Исполнительному комитету, в качестве власти. При сдаче Петропавловской крепости, гарнизону ее оказалось достаточным заявить о своем подчинении Исполнительному комитету. Никто не требовал подчинения официальным властям. Но и войска, вызванные с фронта, ставили себя полностью в распоряжение Исполнительного комитета. Из-за чего же, в таком случае, проливалась кровь?

Еслиб борьба происходила на исходе средних веков, обе стороны, убивая друг друга, цитировали бы одни и те же изречения Библии. Историки-формалисты пришли бы впоследствии к выводу, что борьба шла из-за толкования текстов: средневековые ремесленники и неграмотные крестьяне имели, как известно, странное пристрастие давать убивать себя из-за филологических тонкостей в откровениях Иоанна, как русские раскольники подводили себя под истребление из-за вопроса, креститься ли двумя пальцами или тремя. На самом деле в средние века не менее, чем теперь, под символическими формулами скрывалась борьба жизненных интересов, которую нужно уметь раскрыть. Один и тот же евангельский стих означал для одних крепостничество, а для других — свободу.

Но есть гораздо более свежие и близкие аналогии. Во время июньских дней 1848 г. во Франции по обеим сторонам баррикад раздавался один и тот же крик: «Да здравствует республика!» Мелкобуржуазным идеалистам июньские бои представлялись поэтому недоразумением, вызванным оплошностью одних, горячностью других. На самом деле буржуа хотели республики для себя, рабочие — республики для всех. Политические лозунги чаще служат для того, чтоб замаскировать интересы, чем для того, чтобы назвать их по имени.

Несмотря на всю парадоксальность февральского

режима, который соглашатели покрывали к тому же марксистскими и народническими иероглифами, действительные отношения классов достаточно прозрачны. Нужно только не терять из виду двойственной природы соглашательских партий. Просвещенные мелкие буржуа опирались на рабочих и крестьян, но братались с титулованными помещиками и сахарозаводчиками. Входя в советскую систему, через которую требования низов поднимались до официального государства, Исполнительный комитет служил в то же время политическим прикрытием для буржуазии. Имущие классы «подчинялись» Исполнительному комитету, поскольку он передвигал власть в их сторону. Массы подчинялись Исполнительному комитету, поскольку надеялись, что он станет органом господства рабочих и крестьян. В Таврическом дворце пересекались противоположные классовые тенденции, причем и та и другая прикрывались именем Исполнительного комитета: одна — по несознательности и доверчивости, другая — по холодному расчету. Борьба же шла не больше и не меньше, как о том, кому править этой страной: буржуазии или пролетариату?

Но если соглашатели не хотели брать власть, а у буржуазии не хватало для этого сил, может быть в июле овладеть рулем могли большевики? В течение двух критических дней власть в Петрограде совершенно выпала из рук правительственных учреждений. Исполнительный комитет впервые почувствовал свое полное бессилие. Взять при этих условиях власть в свои руки не составило бы для большевиков никакого труда. Можно было захватить власть и в отдельных провинциальных пунктах. Права ли была, в таком случае, большевистская партия, отказываясь от восстания? Не могла ли она, закрепившись в столице и некоторых промышленных районах, распространить затем свое господство на всю страну? Это важный вопрос. Ничто так не помогло в конце войны торжеству империализма и реакции в Европе, как недолгие месяцы керенщины, измотавшие революционную Россию

и нанесшие неизмеримый ущерб ее моральному авторитету в глазах воюющих армий и трудящихся масс Европы, с надеждой ждавших от революции нового слова. Сократив родовые муки пролетарского переворота на четыре месяца — огромный срок! — большевики получили бы страну менее истощенной, авторитет революции в Европе менее подорванным. Это не только дало бы советам огромные преимущества при ведении переговоров с Германией, но и оказало бы крупнейшее влияние на ход войны и мира в Европе. Перспектива была слишком заманчивой! И тем не менее руководство партии было совершенно право, не становясь на путь вооруженного восстания. Мало взять власть. Надо удержать ее. Когда в октябре большевики сочли, что их час пробил, самое трудное время наступило для них после захвата власти. Понадобилось высшее напряжение сил рабочего класса, чтоб выдержать неисчислимые атаки врагов. В июле этой готовности к беззаветной борьбе еще не было даже у петроградских рабочих. Имея возможность взять власть, они предлагали ее, однако, Исполнительному комитету. Пролетариат столицы, в подавляющем большинстве своем уже тяготевший к большевикам, еще не оборвал февральской пуповины, связывавшей его с соглашателями. Еще немало было иллюзий в том смысле, будто словом и демонстрацией можно достигнуть всего; будто, попугав меньшевиков и эсеров, можно побудить их вести общую политику с большевиками. Даже передовая часть класса не отдавала себе ясного отчета в том, какими путями можно притти к власти. Ленин писал вскоре: «Действительной ошибкой нашей партии в дни 3—4 июля, обнаруженной теперь событиями, было только то..., что партия считала еще возможным мирное развитие политических преобразований путем перемены политики советами, тогда как на самом деле меньшевики и эсеры настолько уже запутали и связали себя соглашательством с буржуазией, а буржуазия настолько стала контр-революционна, что ни о каком мирном развитии не могло уже быть и речи».

Если политически неоднороден и недостаточно решителен был пролетариат, то тем более крестьянская армия. Своим поведением в дни 3—4 июля гарнизон создал полную возможность для большевиков взять власть. Но в составе гарнизона были, однако, и нейтральные части, которые уже к вечеру 4-го июля решительно колебнулись в сторону патриотических партий. 5 июля нейтральные полки становятся на сторону Исполнительного комитета, а полки, тяготеющие к большевизму, стремятся принять окраску нейтральности. Это гораздо более развязало властям руки, чем запоздалое прибытие фронтовых частей. Если бы большевики сгоряча взяли 4-го июля власть, то петроградский гарнизон не только не удержал бы ее сам, но помешал бы рабочим отстоять ее в случае неизбежного удара извне.

Еще менее благоприятно выглядело положение в действующей армии. Борьба за мир и землю, особенно со времени июньского наступления, делала ее крайне восприимчивой к лозунгам большевиков. Но так называемый «стихийный» большевизм солдат вовсе не отождествлялся в их сознании с определенной партией, с ее центральным комитетом и вождями. Солдатские письма того времени очень ярко выражают это состояние армии. «Помните, господа министры и все главные руководители, — пишет корявая солдатская рука с фронта, — мы партии плохо понимаем, только недалеко то будущее и прошлое, царь вас ссылал в Сибирь и садил в тюрьмы, а мы вас посадим на штыки». Крайняя степень ожесточения против верхов, которые обманывают, соединяется в этих строках с признанием своего бессилия: «мы партии плохо понимаем». Против войны и офицерства армия бунтовала непрерывно, пользуясь для этого лозунгами из большевистского словаря. Но поднять восстание за то, чтоб передать власть большевистской партии, армия далеко еще не была готова. Надежные части для подавления Петрограда правительство выделило из состава войск, наи-

более близких к столице, без активного сопротивления других частей, и перевезло эшелонами — без противодействия железных дорог. Недовольная, мятежная, легко воспламеняющаяся армия оставалась политически бесформенной; в составе ее было слишком мало сплоченных большевистских ядер, способных дать единообразное направление мыслям и действиям рыхлой солдатской массы.

С другой стороны, соглашатели, для противопоставления фронта Петрограду и крестьянскому тылу, не без успеха пользовались тем отравленным оружием, которое реакция в марте тщетно пыталась пустить в ход против советов. Эсеры и меньшевики говорили солдатам на фронте: петроградский гарнизон, под влиянием большевиков, не дает вам смены; рабочие не хотят работать для нужд фронта; если крестьяне послушают большевиков и захватят сейчас землю, то фронтовикам ничего не останется. Солдаты нуждались еще в дополнительном опыте, чтоб понять, для кого правительство охраняет землю: для фронтовиков или для помещиков.

Между Петроградом и действующей армией стояла провинция. Ее отклик на июльские события сам по себе может послужить очень важным критерием a posteriori для решения вопроса о том, правильно ли поступили большевики в июле, уклонившись от непосредственной борьбы за власть. Уже в Москве революция пульсировала несравненно слабее, чем в Петрограде. На заседании Московского комитета большевиков шли бурные прения: отдельные лица, принадлежавшие к крайнему левому крылу партии, как, например, Бубнов, предлагали занять почту, телеграф, телефонную станцию, редакцию «Русского Слова», т. е. стать на путь восстания. Комитет, очень умеренный по своему общему духу, решительно отбивался от этих предложений, считая, что московские массы к таким действиям совсем не готовы. Несмотря на запрещение Совета, решено было все же устроить демонстрацию. К Скобелевской площади потянулись значительные

толпы рабочих с теми же лозунгами, что в Петрограде, но далеко не с тем же подъемом. Гарнизон откликнулся совсем не единодушно, примкнули отдельные части, только одна из них в полном вооружении. Солдат-артиллерист Давыдовский, которому предстояло принять серьезное участие в октябрьских боях, свидетельствует в своих воспоминаниях, что Москва оказалась к июльским дням неподготовлена и что у руководителей демонстрации остался от неудачи «какой-то нехороший осадок».

В Иваново-Вознесенск, текстильную столицу, где Совет уже стоял под руководством большевиков, весть о событиях в Петрограде проникла вместе со слухом о том, что Временное правительство пало. На ночном заседании Исполнительного комитета постановлено было, в качестве подготовительной меры, установить контроль над телефоном и телеграфом. 6 июля на фабриках приостановились работы; в демонстрации участвовало до 40 000 человек, много вооруженных. Когда выяснилось, что петроградская демонстрация не привела к победе, иваново-вознесенский Совет поспешно отступил.

В Риге, под влиянием сведений о петроградских событиях, произошло в ночь на 6 июля столкновение большевистски настроенных латышских стрелков с «батальоном смерти», причем патриотический батальон оказался вынужден отступить. Рижский совет принял в ту же ночь резолюцию в пользу власти советов. Двумя днями позже такая же резолюция была вынесена в столице Урала, Екатеринбурге. Тот факт, что лозунг советской власти, выдвигавшийся в первые месяцы только от имени партии, становился отныне программой отдельных местных советов, означал, бесспорно, крупнейший шаг вперед. Но от резолюции за власть советов до восстания под знаменем большевиков оставался еще значительный путь.

В отдельных пунктах страны петроградские события послужили толчком, разрядившим острые конфликты частного характера. В Нижнем-Новгороде, где эва-

куированные солдаты долго сопротивлялись отправке на фронт, присланные из Москвы юнкера вызвали своими насилиями возмущение двух местных полков. В результате перестрелки, с убитыми и ранеными, юнкера сдались и были разоружены. Власти исчезли. Из Москвы двинулась карательная экспедиция, из трех родов войск. Во главе ее стояли: командующий войсками московского округа, импульсивный полковник Верховский, будущий военный министр Керенского, и председатель московского Совета, старый меньшевик Хинчук, человек мало воинственного нрава, будущий глава кооперации, а затем советский посол в Берлине. Усмирять им, однако, было уже некого, так как избранный восставшими солдатами комитет успел тем временем полностью восстановить порядок.

В те же приблизительно ночные часы и на той же почве отказа отправиться на фронт взбунтовались в Киеве солдаты полка имени гетмана Полуботько, в количестве 5 000 человек, захватили склад оружия, заняли крепость, штаб округа, арестовали коменданта и начальника милиции. Паника в городе длилась несколько часов, пока комбинированными усилиями военных властей, комитета общественных организаций и органов украинской Центральной рады арестованные были освобождены, а большая часть восставших разоружена.

В далеком Красноярске большевики, благодаря настроению гарнизона, чувствовали себя настолько прочно, что, несмотря на начавшуюся уже в стране волну реакции, устроили 9 июля демонстрацию, в которой участвовало 8—10 тысяч человек, в большинстве солдат. Против Красноярска был двинут из Иркутска отряд в 400 человек с артиллерией, под руководством окружного военного комиссара эсера Краковецкого. В течение двух дней неизбежных для режима двоевластия совещаний и переговоров карательный отряд оказался настолько разложен солдатской агитацией, что комиссар поспешил вернуть его в Иркутск. Но Красноярск составлял скорее исключение.

В большинстве губернских и уездных городов по-

ложение было несравненно менее благоприятно. В Самаре, например, местная большевистская организация, при вести о боях в столице, «ждала сигнала, хотя рассчитывать почти было не на кого». Один из местных членов партии рассказывает: «рабочие начали симпатизировать большевикам», но надеяться, что они бросятся в бой, было невозможно; на солдат приходилось еще меньше рассчитывать; что касается организации большевиков, то «силы были совсем слабы — нас была горсточка; в Совете рабочих депутатов большевиков было несколько человек, а в солдатском Совете, кажется, совсем не было, да он и состоял почти исключительно из офицеров». Главная причина слабого и недружного отклика страны состояла в том, что провинция, без боев принявшая февральскую революцию из рук Петрограда, гораздо медленнее, чем столица, переваривала новые факты и идеи. Нужен был дополнительный срок, чтоб авангард успел политически подтянуть к себе тяжелые резервы.

Состояние сознания народных масс, как решающая инстанция революционной политики, исключало таким образом возможность захвата большевиками власти в июле. В то же время наступление на фронте побуждало партию противодействовать демонстрациям. Крах наступления был совершенно неизбежен. Фактически он уже начался. Но страна об этом еще не знала. Опасность состояла в том, что, при неосторожности партии, правительство сможет взвалить на большевиков ответственность за последствия собственного безумия. Надо было дать наступлению время исчерпать себя. Большевики не сомневались, что перелом в массах будет очень крутой. Тогда видно будет, что предпринять. Расчет был совершенно правильный. Однако, события имеют свою логику, не считающуюся с политическими расчетами, и на этот раз она жестоко обрушилась на головы большевиков.

Неудача наступления на фронте приняла характер катастрофы 6 июля, когда немецкие войска прорвали русский фронт на протяжении 12-ти верст в ширину и

10-ти в глубину. В столице прорыв стал известен 7 июля, в самый разгар усмирительных и карательных действий. Много месяцев спустя, когда страсти должны были поутихнуть или, по крайней мере, принять более осмысленный характер, Станкевич, не самый злостный из противников большевизма, все еще писал о «загадочной последовательности событий», в виде прорыва у Тарнополя вслед за июльскими днями в Петрограде. Эти люди не видели или не хотели видеть действительной последовательности событий, которая состояла в том, что начатое из-под палки Антанты безнадежное наступление не могло не привести к военной катастрофе и не могло одновременно не вызвать взрыв возмущения обманутых революцией масс. Но не все ли равно, как обстояло в действительности? Связать петроградское выступление с неудачей на фронте было слишком заманчиво. Патриотическая печать не только не скрывала поражения, наоборот, изо всех сил преувеличивала его, не останавливаясь перед раскрытием военных тайн: назывались дивизии и полки, указывалось их расположение. «Начиная с 8 июля, — признает Милюков, — газеты начали печатать намеренно откровенные телеграммы с фронта, поразившие как громом русскую общественность». В этом и состояла цель: потрясти, испугать, оглушить, чтоб тем легче связать большевиков с немцами.

Провокация несомненно сыграла известную роль в событиях на фронте, как и на улицах Петрограда. После февральского переворота правительство выбросило в действующую армию большое число бывших жандармов и городовых. Никто из них, конечно, воевать не хотел. Русских солдат они боялись больше, чем немцев. Чтоб заставить забыть свое прошлое, они подделывались под самые крайние настроения армии, науськивали солдат на офицеров, громче всех выступали против дисциплины и наступления, а нередко и прямо выдавали себя за большевиков. Поддерживая друг с другом естественную связь сообщников, они создавали своеобразный орден трусости и подлости. Через них

проникали в войска и быстро распространялись самые фантастические слухи, в которых ультра-революционность сочеталась с черносотенством. В критические часы эти субъекты первые подавали сигнал к панике. На разлагающую работу полицейских и жандармов не раз указывала печать. Не менее часты ссылки такого рода в секретных документах самой армии. Но высшее командование отмалчивалось, предпочитая отождествлять черносотенных провокаторов с большевиками. Теперь, после краха наступления, этот прием был легализован, и газета меньшевиков старалась не отставать от самых грязных шовинистических листков. Криками об «анархо-большевиках», немецких агентах и бывших жандармах патриоты не без успеха заглушили на время вопрос об общем состоянии армии и о политике мира. «Наш глубокий прорыв на фронте Ленина, — хвалился открыто князь Львов, — имеет, по моему глубокому убеждению, несравненно большее значение для России, чем прорыв немцев на юго-западном фронте»... Почтенный глава правительства походил на камергера Родзянко в том смысле, что не различал, где нужно помолчать.

Еслиб 3—4 июля удалось удержать массы от демонстрации, выступление неизбежно разразилось бы в результате тарнопольского прорыва. Отсрочка всего в несколько дней внесла бы, однако, важные изменения в политическую обстановку. Движение сразу приняло бы более широкий размах, захватив не только провинцию, но в значительной мере и фронт. Правительство было бы политически обнажено, и ему неизмеримо труднее было бы взваливать вину на «изменников» в тылу. Положение большевистской партии оказалось бы во всех отношениях выгоднее. Однако, и в этом случае дело не могло бы еще итти о непосредственном завоевании власти. С уверенностью можно утверждать лишь одно: разразись движение на неделю позже, реакции не удалось бы развернуться в июле так победоносно. Именно «загадочная последовательность» сроков демонстрации и прорыва направилась

целиком против большевиков. Волна негодования и отчаяния, катившаяся с фронта, столкнулась с волной разбитых надежд, шедшей из Петрограда. Урок, полученный массами в столице, был слишком суров, чтоб можно было думать о немедленном возобновлении борьбы. Между тем острое чувство, вызванное бессмысленным поражением, искало выхода. И патриотам до известной степени удалось направить его против большевиков.

В апреле, в июне и в июле основные действующие фигуры были те же: либералы, соглашатели, большевики. Массы стремились на всех этих этапах оттолкнуть буржуазию от власти. Но разница в политических последствиях вмешательства масс в события была огромной. В результате «апрельских дней» пострадала буржуазия: аннексионистская политика была осуждена, по крайней мере, на словах, кадетская партия унижена, у нее отнят был портфель иностранных дел. В июне движение разрешилось в ничью: на большевиков только замахнулись, но удара не нанесли. В июле партия большевиков была обвинена в измене, разгромлена, лишена огня и воды. Если в апреле Милюков вылетел из правительства, то в июле Ленин перешел в подполье.

Что же определило столь резкую перемену на протяжении десяти недель? Совершенно очевидно, что в правящих кругах произошел серьезный сдвиг в сторону либеральной буржуазии. Между тем именно за этот период, апрель—июль, настроение масс резко изменилось в сторону большевиков. Эти два противоположных процесса развивались в тесной зависимости один от другого. Чем больше рабочие и солдаты смыкались вокруг большевиков, тем решительнее соглашателям приходилось поддерживать буржуазию. В апреле вожди Исполнительного комитета, в заботе о своем влиянии, могли еще сделать шаг навстречу массам и выбросить за борт Милюкова, правда, снабженного солидным спасательным поясом. В июле соглашатели вместе с буржуазией и офицерством громили большевиков. Из-

менение соотношения сил вызвано было, следовательно, и на этот раз поворотом наименее устойчивой из политических сил, мелкобуржуазной демократии, ее резким сдвигом в сторону буржуазной контр-революции.

Но если так, то правильно ли поступили большевики, примкнув к демонстрации и взяв на себя за нее ответственность? 3-го июля Томский комментировал мысль Ленина: «говорить сейчас о выступлении без желания новой революции нельзя». Как же, в таком случае, партия уже через несколько часов стала во главе вооруженной демонстрации, отнюдь не призывая к новой революции? Доктринер увидит в этом непоследовательность или, еще хуже, политическое легкомыслие. Так смотрел на дело, например, Суханов, в «Записках» которого отведено немало иронических строк колебаниям большевистского руководства. Но массы вмешиваются в события не по доктринерской указке, а тогда, когда это вытекает из их собственного политического развития. Большевистское руководство понимало, что изменить политическую обстановку может только новая революция. Однако, рабочие и солдаты еще не понимали этого. Большевистское руководство ясно видело, что тяжелым резервам нужно дать время сделать свои выводы из авантюры наступления. Но передовые слои рвались на улицу именно под действием этой авантюры. Глубочайший радикализм задач сочетался у них при этом с иллюзиями относительно методов. Предупреждения большевиков не действовали. Петроградские рабочие и солдаты могли проверить обстановку только на собственном опыте. Вооруженная демонстрация и стала такой проверкой. Но, помимо воли масс, проверка могла превратиться в генеральное сражение и тем самым в решающее поражение. При такой обстановке партия не смела остаться в стороне. Умыть руки в водице стратегических нравоучений значило бы просто выдать рабочих и солдат их врагам. Партия масс должна была стать на ту почву, на которую стали массы, чтоб, нимало не разделяя их иллю-

зий, помочь им с наименьшими потерями усвоить необходимые выводы. Троцкий отвечал в печати бесчисленным критикам тех дней: «Мы не считаем нужным оправдываться перед кем бы то ни было в том, что не отошли выжидательно к сторонке, предоставив генералу Половцеву «разговаривать» с демонстрантами. Во всяком случае, наше вмешательство ни с какой стороны не могло ни увеличить количество жертв, ни превратить хаотическую вооруженную манифестацию в политическое восстание».

Прообраз «июльских дней» мы встречаем во всех старых революциях, с разным, по общему правилу, неблагоприятным, нередко катастрофическим исходом. Такого рода этап заложен во внутреннюю механику буржуазной революции, поскольку тот класс, который больше всего жертвует собою для ее успеха и больше всего возлагает на нее надежд, меньше всего получает от нее. Закономерность процесса совершенно ясна. Имущий класс, приобщенный к власти переворотом, склонен считать, что этим самым революция исчерпала свою миссию, и больше всего бывает озабочен тем, чтоб доказать свою благонадежность силам реакции. «Революционная» буржуазия вызывает негодование народных масс теми самыми мерами, которыми она стремится завоевать расположение свергнутых ею классов. Разочарование масс наступает очень скоро, прежде еще, чем авангард их успеет остыть от революционных боев. Народу кажется, что он может новым ударом доделать или поправить то, что выполнил раньше недостаточно решительно. Отсюда порыв к новой революции, без подготовки, без программы, без оглядки на резервы, без размышления о последствиях. С другой стороны, пришедший к власти слой буржуазии как бы только поджидает бурного порыва снизу, чтоб попытаться окончательно расправиться с народом. Такова социальная и психологическая основа той дополнительной полуреволюции, которая не раз в истории становилась точкой отправления победоносной контр-революции.

17-го июля 1791 г. Лафайет расстрелял на Марсо-

вом поле мирную демонстрацию республиканцев, которые пытались обратиться с петицией к Национальному собранию, прикрывавшему вероломство королевской власти, как русские соглашатели через 126 лет прикрывали вероломство либералов. Роялистская буржуазия надеялась при помощи своевременной кровавой бани справиться с партией революции навсегда. Республиканцы, еще не чувствовавшие себя достаточно сильными для победы, уклонились от боя, что было вполне благоразумно. Они даже поспешили отмежеваться от петиционеров, что было во всяком случае недостойно и ошибочно. Режим буржуазного террора заставил якобинцев на несколько месяцев притихнуть. Робеспьер нашел убежище у столяра Дюпле, Демулен скрывался, Дантон провел несколько недель в Англии. Но роялистская провокация все же не удалась: расправа на Марсовом поле не помешала республиканскому движению притти к победе. Великая французская революция имела таким образом свои «июльские дни», и в политическом и в календарном смысле слова.

Через 57 лет «июльские дни» выпали во Франции на июнь и приняли неизмеримо более грандиозный и трагический характер. Так называемые «июньские дни» 1848 года с непреодолимой силой выросли из февральского переворота. Французская буржуазия провозгласила в часы своей победы «право на труд», как она возвещала, начиная с 1789 г., много великолепных вещей, как она поклялась в 1914 г., что ведет свою последнюю войну. Из пышного права на труд возникли жалкие национальные мастерские, где 100 000 рабочих, завоевавших для своих хозяев власть, получали по 23 су в день. Уже через несколько недель щедрая на фразу, но скаредная на монету, республиканская буржуазия не находила достаточно оскорбительных слов для «тунеядцев», сидевших на голодном национальном пайке. В избыточности февральских обещаний и сознательности предъиюньских провокаций сказываются национальные черты французской буржуазии. Но и без этого парижские рабочие, с февральским ружьем в ру-

ках, не могли бы не реагировать на противоречие между пышной программой и жалкой действительностью, на этот невыносимый контраст, который каждый день бил их по желудку и по совести. С каким спокойным и почти нескрываемым расчетом, на глазах всего правящего общества, Кавеньяк давал восстанию разрастись, чтоб тем решительнее справиться с ним. Не менее двенадцати тысяч рабочих убила республиканская буржуазия, не менее 20 000 подвергла аресту, чтоб отучить остальных от веры в возвещенное ею «право на труд». Без плана, без программы, без руководства июньские дни 1848 года похожи на могущественный и неотвратимый рефлекс пролетариата, ущемленного в самых своих элементарных потребностях и оскорбленного в самых своих высоких надеждах. Восставших рабочих не только раздавили, но и оклеветали. Левый демократ Флокон, единомышленник Ледрю-Роллена, предтечи Церетели, заверял Национальное собрание, что восставшие подкуплены монархистами и иностранными правительствами. Соглашателям 1848 года не нужно было даже атмосферы войны, чтоб открыть в карманах мятежников английское и русское золото. Так демократы прокладывали дорогу бонапартизму.

Гигантская вспышка Коммуны так же относилась к сентябрьскому перевороту 1870 года, как июньские дни — к февральской революции 1848 года. Мартовское восстание парижского пролетариата меньше всего было делом стратегического расчета. Оно возникло из трагического сочетания обстоятельств, дополненного одной из тех провокаций, на которые так изобретательна французская буржуазия, когда страх подстегивает ее злую волю. Против планов правящей клики, которая прежде всего стремилась разоружить народ, рабочие хотели оборонять Париж, который они впервые пытались превратить в свой Париж. Национальная гвардия давала им вооруженную организацию, очень близкую к советскому типу, и политическое руководство, в лице своего Центрального комитета. Вследствие неблагоприятных объективных

условий и политических ошибок Париж оказался противопоставлен Франции, не понят, не поддержан, отчасти прямо предан провинцией и попал в руки разъяренных версальцев, имевших за спиною Бисмарка и Мольтке. Развращенные и битые офицеры Наполеона III оказались незаменимыми палачами на службе нежной Марианны, которую пруссаки в тяжелых ботфортах только что освободили из объятий мнимого Бонапарта. В Парижской коммуне рефлективный протест пролетариата против обмана буржуазной революции впервые поднялся до уровня пролетарского переворота, но поднялся, чтобы тут же упасть.

Спартаковская неделя в январе 1919 года в Берлине принадлежит к тому же типу промежуточных полу-революций, что и июльские дни в Петрограде. Вследствие преобладающего положения пролетариата в составе немецкой нации, особенно в ее хозяйстве, Ноябрьский переворот автоматически передал Совету рабочих и солдат государственный суверенитет. Но пролетариат политически был тождествен с социал-демократией, которая снова отождествляла себя с буржуазным режимом. Независимая партия занимала в немецкой революции то место, которое в России принадлежало эсерем и меньшевикам. Чего не хватало, это — большевистской партии.

Каждый день после 9-го ноября создавал у немецких рабочих живое ощущение того, что у них что-то уходит из рук, отнимается, уплывает меж пальцев. Стремление удержать завоевания, закрепиться, дать отпор нарастало со дня на день. Эта оборонительная тенденция и лежала в основе январьских боев 1919 года. Спартаковская неделя началась не в порядке стратегического расчета партии, а в порядке давления возмущенных низов. Она развернулась вокруг третьестепенного вопроса о сохранении поста полицейпрезидента, хотя по своим тенденциям представляла начало нового переворота. Обе организации, участвовавшие в руководстве, спартаковцы и левые независимые, были застигнуты врасплох, шли дальше, чем хотели, и

в то же время не шли до конца. Спартаковцы были еще слишком слабы для самостоятельного руководства. Левые независимые останавливались перед такими методами, которые только и могли привести к цели, колебались и играли с восстанием, комбинируя его с дипломатическими переговорами.

Январьское поражение по числу жертв далеко не поднимается до гигантских цифр «июльских дней» во Франции. Однако, политическое значение поражения не измеряется одной лишь статистикой убитых и расстрелянных. Достаточно того, что молодая коммунистическая партия оказалась физически обезглавленной, а независимая партия обнаружила, что, по самому существу своих методов, не может привести пролетариат к победе. С более широкой точки зрения «июльские дни» разыгрались в Германии в несколько приемов: январьская неделя 1919 года, мартовские дни 1921 г., октябрьское отступление 1923 года. Вся последующая история Германии исходит из этих событий. Незавершенная революция переключилась на фашизм.

Сейчас, когда пишутся эти строки — начало мая 1931 года — бескровная, мирная, славная (список этих прилагательных всегда один и тот же) революция в Испании подготовляет на наших глазах свои «июньские дни», если брать календарь Франции, или «июльские», по календарю России. Мадридское Временное правительство, купаясь во фразах, которые нередко кажутся переводом с русского языка, обещает широкие меры против безработицы и земельной тесноты, но не смеет прикоснуться ни к одной из старых социальных язв. Коалиционные социалисты помогают республиканцам саботировать задачи революции. Трудно ли предвидеть лихорадочный рост возмущенья рабочих и крестьян? Несоответствие хода массовой революции и политики новых правящих классов — вот источник того непримиримого конфликта, который в развитии своем либо погребет первую, апрельскую революцию, либо приведет ко второй.

Хотя основная масса русских большевиков чувство-

вала в июле 1917 года, что дальше какой-то черты итти еще нельзя, однако, полной однородности настроения не было. Многие рабочие и солдаты склонны были оценивать развертывавшиеся действия, как решающую развязку. Метелев в своих воспоминаниях, написанных пять лет спустя, выражается о смысле событий в таких словах: «В этом восстании нашей главной ошибкой было то, что мы предлагали соглашательскому Исполнительному комитету взять власть... Следовало не предлагать, а захватывать власть самим. Второй нашей ошибкой можно считать то, что мы в течение почти двух суток дефилировали по улицам, вместо того, чтобы сразу же занять все учреждения, дворцы, банки, вокзалы, телеграф, арестовать все Временное правительство» и пр. По отношению к восстанию это бесспорно. Но превратить июльское движение в восстание значило бы почти наверняка похоронить революцию.

Звавшие на бой анархисты ссылались на то, что «и февральское восстание произошло без руководства партий». Но у февральского восстания были готовые задачи, выработанные борьбой поколений, и над февральским восстанием возвышалось оппозиционное либеральное общество и патриотическая демократия, готовые восприемники власти. Июльское движение, наоборот, должно было проложить себе совсем новое историческое русло. Все буржуазное общество, включая и советскую демократию, было ему непримиримо враждебно. Этого коренного различия между условиями буржуазной и рабочей революции анархисты не видели или не понимали.

Если бы большевистская партия, заупрямившись на доктринерской оценке июльского движения, как «несвоевременного», повернула массам спину, полувосстание неизбежно подпало бы под раздробленное и несогласованное руководство анархистов, авантюристов, случайных выразителей возмущения масс и изошло бы кровью в бесплодных конвульсиях. Но и, наоборот, еслибы партия, став во главе пулеметчиков и пути-

ловцев, отказалась от своей оценки обстановки в целом и соскользнула на путь решающих боев, восстание приняло бы несомненно смелый размах, рабочие и солдаты, под руководством большевиков, завладели бы властью, однако, только затем, чтоб подготовить крушение революции. Вопрос власти в национальном масштабе не был бы, в отличие от февраля, решен победой в Петрограде. Провинция не поспела бы за столицей. Фронт не понял бы и не принял бы переворота. Железные дороги и телеграф служили бы соглашателям против большевиков. Керенский и ставка создали бы власть для фронта и провинции. Петроград был бы блокирован. В его стенах началось бы разложение. Правительство имело бы возможность бросить на Петроград значительные массы солдат. Восстание разрешилось бы при этих условиях трагедией Петроградской коммуны.

На июльском разветвлении исторических путей только вмешательство партии большевиков устранило оба варианта роковой опасности: и в духе июньских дней 1848 года и в духе Парижской коммуны 1871 г. Благодаря тому, что партия смело стала во главе движения, она получила возможность остановить массы в тот момент, когда демонстрация начала превращаться в вооруженное соизмерение сил. Удар, нанесенный в июле массам и партии, был очень значителен. Но это не был решающий удар. Жертвы исчислялись десятками, а не десятками тысяч. Рабочий класс вышел из испытания не обезглавленным и не обескровленным. Он полностью сохранил свои боевые кадры, и эти кадры многому научились.

В дни февральского переворота обнаружилась вся предшествующая многолетняя работа большевиков и нашли свое место в борьбе воспитанные партией передовые рабочие; но непосредственного руководства со стороны партии еще не было. В апрельских событиях раскрыли свою динамическую силу лозунги партии, но само движение развернулось самопроизвольно. В июне вышло наружу огромное влияние партии, но массы вы-

ступали еще в рамках демонстрации, официально назначенной противниками. Только в июле, испытав на себе силу напора масс, большевистская партия выступает на улицу против всех остальных партий и не только своими лозунгами, но и своим организационным руководством определяет основной характер движения. Значение сплоченного авангарда впервые сказывается во всей силе в июльские дни, когда партия — дорогой ценой — ограждает пролетариат от разгрома и обеспечивает будущее революции и свое собственное.

«В качестве технической пробы, — писал Милюков о значении июльских дней для большевиков, — опыт был для них, несомненно, чрезвычайно полезен. Он показал им, с какими элементами надо иметь дело; как надо организовать эти элементы; наконец, какое сопротивление могут оказать правительство, совет и воинские части... Было очевидно, что, когда наступит время для повторения опыта, они произведут его более систематически и сознательно». Эти слова правильно оценивают значение июльского опыта для дальнейшего развития политики большевиков. Но прежде, чем использовать июльские уроки, партии пришлось пройти через несколько тягчайших недель, в течение которых близоруким врагам казалось, что сила большевизма окончательно сломлена.

МЕСЯЦ ВЕЛИКОЙ КЛЕВЕТЫ

4-го июля, уже в ночные часы, когда две сотни членов обоих Исполкомов, рабоче-солдатского и крестьянского, томились меж двух одинаково бесплодных заседаний, в их среду проник таинственный слух: раскрыты данные о связи Ленина с германским генеральным штабом; завтра газеты опубликуют разоблачительные документы. Мрачные авгуры президиума, пересекая зал по пути за кулисы, где идут непрерывные совещания, неохотно и уклончиво отвечают на вопросы даже близких к ним людей. В Таврическом дворце, уже почти покинутом посторонней публикой, воцаряется оторопь. Ленин на службе немецкого штаба? Недоумение, испуг, злорадство сводят депутатов в возбужденные кучки. «Разумеется, — вспоминает Суханов, очень враждебный к большевикам в июльские дни, — никто из людей, действительно связанных с революцией, ни на миг не усомнился во вздорности этих слухов». Но люди с революционным прошлым составляли среди членов Исполнительного комитета незначительное меньшинство. Мартовские революционеры, случайные элементы, подхваченные первой волной, преобладали даже в руководящих советских органах. Среди провинциалов, волостных писарей, лавочников, старшин попадались депутаты с явно черносотенным душком. Эти сразу распоясались: они это предвидели, так и следовало ожидать!

Испуганные неожиданным и слишком крутым оборотом дела вожди попытались было выгадать время. Чхеидзе и Церетели предложили по телефону редакциям газет воздержаться от печатания сенсационных разоблачений, как «непроверенных». Редакции не посмели нарушить «просьбу», шедшую из Таврического дворца, — все, кроме одной: маленькая желтая газета одного из сыновей Суворина, могущественного издателя «Нового Времени», преподнесла на другое утро своим читателям официозно звучащий документ о получении Лениным директив и денег от немецкого правительства. Запрет был прорван, и через день вся пресса была полна этой сенсации. Так открылся самый невероятный эпизод богатого событиями года: вожди революционной партии, жизнь которых в течение десятилетий протекала в борьбе с коронованными и некоронованными владыками, оказались изображенными пред лицом страны и всего мира, как наемные агенты Гогенцоллерна. Клевета небывалого масштаба была брошена в гущу народных масс, которые в подавляющем большинстве своем впервые после февральского переворота услышали имена большевистских вождей. Кляуза стала первостепенным политическим фактором. Это делает необходимым более внимательное изучение ее механики.

Сенсационный документ имел своим первоисточником показания некоего Ермоленко. Облик этого героя исчерпывается официальными данными: в период от Японской войны до 1913 г. — агент контр-разведки; в 1913 году — уволен, по неустановленной причине, со службы в чине зауряд-прапорщика; в 1914 г. призван в действующую армию; доблестно попал в плен и вел полицейскую слежку за военнопленными. Режим концентрационного лагеря не отвечал, однако, вкусам сыщика, и он, «по настоянию товарищей», — таковы его показания, — поступил на службу к немцам, с патриотическими, разумеется, целями. В его жизни открылась новая глава. 25 апреля прапорщик был «переброшен» немецкими военными властями че-

рез русский фронт с целью взрывания мостов, шпионских донесений, борьбы за независимость Украины и агитации в пользу сепаратного мира. Немецкие офицеры, капитаны Шидицкий и Либерс, законтрактовавшие Ермоленко для этих целей, сообщили ему, сверх того, мимоходом, без всякой практической надобности, очевидно, только для поддержания его духа, что, кроме самого зауряд-прапорщика, в том же направлении будет работать в России еще... Ленин. Такова основа всего дела.

Что или кто внушил Ермоленко его показание о Ленине? Не немецкие офицеры, во всяком случае. Простое сопоставление дат и фактов вводит нас в умственную лабораторию прапорщика. 4-го апреля Ленин огласил свои знаменитые тезисы, означавшие объявление войны февральскому режиму. 20-21-го состоялась вооруженная демонстрация против затягивания войны. Травля Ленина приняла ураганный характер. 25-го Ермоленко был «переброшен» через фронт и в первой половине мая снюхался с разведкой при ставке. Двусмысленные газетные статьи, доказывавшие, что политика Ленина выгодна кайзеру, наводили на мысль, что Ленин — немецкий агент. На фронте офицеры и комиссары, в борьбе с непреодолимым «большевизмом» солдат, еще меньше церемонились в выборе выражений, когда речь заходила о Ленине. Ермоленко сразу окунулся в эту струю Сам ли он придумал притянутую за волосы фразу о Ленине, подсказал ли ему ее какой-либо вдохновитель со стороны или же ее состряпали, совместно с Ермоленко, чины контр-разведки, не имеет большого значения. Спрос на оклеветание большевиков достиг такой напряженности, что предложение не могло не обнаружиться. Начальник штаба ставки генерал Деникин, будущий генералиссимус белых в гражданской войне, сам не очень возвышавшийся по кругозору над агентами царской контрразведки, придал или притворился, что придает показаниям Ермоленко большое значение и при надлежащем письме препроводил их 16 мая военному мини-

стру. Керенский, надо полагать, обменялся мнениями с Церетели или Чхеидзе, которые не могли не сдержать его благородную пылкость: этим и объясняется, очевидно, почему дело не получило дальнейшего движения. Керенский писал позже, что, хотя Ермоленко и указал на связь Ленина с немецким штабом, но «не с достаточной достоверностью» Доклад Ермоленко-Деникина в течение полутора месяцев оставался под спудом. Контр-разведка отпустила Ермоленко за ненадобностью, и прапорщик укатил на Дальний Восток пропивать полученные из двух источников деньги.

События июльских дней, во весь рост показавшие грозную опасность большевизма, заставили, однако, вспомнить о разоблачениях Ермоленко. Он спешно был вызван из Благовещенска, но вследствие недостатка воображения, не мог, несмотря на все понукания, ни слова прибавить к первоначальным показаниям. К этому времени юстиция и контр-разведка работали, однако, уже полным ходом. О возможных преступных связях большевиков допрашивались политики, генералы, жандармы, купцы, множество лиц разных профессий. Солидные царские охранники держали себя в этом расследовании значительно осторожнее, чем свежие с иголочки представители демократической юстиции. «Такими сведениями, — писал бывший начальник петроградской охраны, маститый генерал Глобачев, чтобы Ленин работал в России во вред ей и на германские деньги, охранное отделение, по крайней мере, за время моего служения, не располагало». Другой охранник, Якубов, начальник контр-разведывательного отделения Петроградского военного округа, показывал: «Мне ничего не известно о связи Ленина и его единомышленников с германским генеральным штабом, а равно я ничего не знаю о тех средствах, на которые работал Ленин». Из органов царского сыска, наблюдавших за большевизмом с самого его возникновения, ничего полезного выжать не удалось.

Однако, когда люди, особенно вооруженные властью, долго ищут, они в конце концов что-нибудь на-

ходят. Некий З. Бурштейн, по официальному званию купец, раскрыл Временному правительству глаза на «немецкую шпионскую организацию в Стокгольме, возглавляемую Парвусом», известным немецким социал-демократом русского происхождения. По показаниям Бурштейна, Ленин находился с этой организацией в связи через польских революционеров, Ганецкого и Козловского. Керенский впоследствии писал: «Чрезвычайно серьезные, но, к сожалению, не судебного, а агентурного характера, данные должны были получить совершенно бесспорное подтверждение с приездом в Россию Ганецкого, подлежащего аресту на границе, и превратиться в достоверный судебный материал против большевистского штаба». Керенский знал заранее, что во что должно было превратиться.

Показания купца Бурштейна касались торговых операций Ганецкого и Козловского между Петроградом и Стокгольмом. Эта коммерция военного времени, прибегавшая, повидимому, к условной переписке, не имела никакого отношения к политике. Большевистская партия не имела никакого отношения к этой коммерции. Ленин и Троцкий печатно обличали Парвуса, сочетавшего хорошую коммерцию с плохой политикой, и призывали русских революционеров рвать с ним всякие отношения. У кого, однако, была возможность разбираться во всем этом в водовороте событий? Шпионская организация в Стокгольме — это прозвучало ясно. И свет, неудачно возженный рукою прапорщика Ермоленко, возгорелся с другого конца. Правда, и тут пришлось натолкнуться на затруднения. Начальник контр-разведывательного отделения генерального штаба князь Туркестанов на запрос следователя по особо важным делам Александрова ответил, что «З. Бурштейн является лицом, не заслуживающим никакого доверия. Бурштейн представляет собою тип темного дельца, не брезгающего никакими занятиями». Но могла ли плохая репутация Бурштейна помешать попытке испортить репутацию Ленина? Нет, Керенский не поколебался признать показания Бурштейна «чрез-

вычайно серьезными». Расследование направилось отныне по стокгольмскому следу. Разоблачения прапорщика, служившего двум штабам, и темного дельца, «не заслуживающего никакого доверия», легли в основу самого фантастического из обвинений против революционнной партии, которую 160-милионный народ готовился поднять к власти.

Каким, однако, образом, материалы предварительного расследования попали в печать, притом как раз в такой момент, когда сорвавшееся наступление Керенского на фронте начинало превращаться в катастрофу, а июльская демонстрация в Петрограде обнаружила неудержимый рост большевиков? Один из инициаторов предприятия, прокурор Бессарабов, откровенно рассказал позже в печати, что, когда выяснилось полное отсутствие у Временного правительства в Петрограде надежной вооруженной силы, в штабе округа решено было попытаться создать в полках психологический перелом при помощи сильнодействующего средства. «Представителям Преображенского полка, ближайшего к штабу, была сообщена сущность документов; присутствующие убедились, какое потрясающее впечатление произвело это сообщение. С этого момента стало ясно, каким могучим орудием располагает правительство». После столь удачной экспериментальной проверки заговорщики из юстиции, штаба и контр-разведки поспешили поставить о своем открытии в известность министра юстиции. Переверзев ответил, что официального сообщения сделано быть не может, но что со стороны наличных членов Временного правительства «не будет чиниться препятствий частной инициативе». Имена штабных или судебных чиновников были не без основания признаны не отвечающими интересам дела: чтобы пустить в оборот сенсационную клевету, нужен был «политический деятель». В порядке частной инициативы заговорщики разыскали без труда то именно лицо, в котором нуждались. Бывший революционер, депутат 2-ой Думы, крикливый оратор и страстный кляузник, Алексинский, стоял одно время

на крайнем левом фланге большевиков. Ленин был в его глазах неисправимым оппортунистом. В годы реакции Алексинский создал особую ультра-левую группировку, во главе которой продержался в эмиграции до войны, чтоб с началом ее занять ультра-патриотическую позицию и немедленно же сделать своей специальностью уличение всех и каждого в службе кайзеру. На этой почве он развернул в Париже широкую сыскную деятельность, в союзе с русскими и французскими патриотами того же типа. Парижское общество иностранных журналистов, т. е. корреспондентов союзных и нейтральных стран, очень патриотическое и отнюдь не ригористическое, оказалось вынуждено особым постановлением объявить Алексинского «бесчестным клеветником» и удалить его из своей среды. Прибыв с этой аттестацией в Петроград после февральского переворота, Алексинский попытался было, в качестве бывшего левого, проникнуть в Исполнительный комитет. Несмотря на всю свою снисходительность, меньшевики и эсеры постановлением 11 апреля закрыли перед ним дверь, предложив ему попытаться восстановить свою честь. Это было легко сказать! Решив, что порочить других ему гораздо доступнее, чем реабилитировать себя, Алексинский вошел в связь с контр-разведкой и обеспечил своим инстинктам кляузника государственный размах. Уже во второй половине июля он стал захватывать в кольца своей клеветы также и меньшевиков. Вождь последних Дан, выйдя из выжидательного состояния, напечатал в официальных советских «Известиях» (22 июля) протестующее письмо: «...Пора положить конец подвигам человека, официально объявленного бесчестным клеветником». Не ясно ли, что Фемида, вдохновленная Ермоленко и Бурштейном, не могла найти лучшего посредника между собою и общественным мнением, чем Алексинский? Его подпись и украсила разоблачительный документ.

За кулисами министры-социалисты протестовали против передачи документов печати, как, впрочем, и

два буржуазных министра: Некрасов и Терещенко. В самый день опубликования, 5-го июля, Переверзев, от которого правительство и раньше уже не прочь было отделаться, оказался вынужден подать в отставку. Меньшевики намекали, что это их победа. Керенский впоследствии утверждал, что министр был удален за чрезмерную поспешность разоблачений, помешавшую ходу следствия. Своим уходом, если не своим пребыванием у власти, Переверзев, во всяком случае, удовлетворил всех.

В тот же день в заседание Бюро Исполнительного комитета явился Зиновьев и от имени Центрального комитета большевиков потребовал немедленно принять меры к реабилитации Ленина и к предотвращению возможных последствий клеветы. Бюро не могло отказать в создании следственной комиссии. Суханов пишет: «Сама комиссия понимала, что расследовать тут надо не вопрос о продаже России Лениным, а разве только источник клеветы». Но комиссия натолкнулась на ревнивое соперничество органов юстиции и контрразведки, которые имели все основания не желать стороннего вмешательства в свое ремесло. Правда, советские органы до этого времени без труда справлялись с правительственными, когда видели в этом нужду. Но июльские дни произвели серьезную передвижку власти вправо; к тому же советская комиссия нисколько не торопилась разрешить задачу, явно противоречившую политическим интересам ее доверителей. Более серьезные из соглашательских вождей, собственно, одни меньшевики, заботились о том, чтобы обеспечить свою формальную непричастность к клевете, но не более того. Во всех случаях, где нельзя было уклониться от прямого ответа, они в нескольких словах отгораживались от обвинения; но они не ударили пальцем о палец, чтобы отвратить отравленный кинжал, занесенный над головой большевиков. Популярный образец такой политики дал некогда римский проконсул Пилат. Да и могли ли они действовать иначе, не изменяя себе? Только навет на Ленина отшатнул в

июльские дни часть гарнизона от большевиков. Еслиб соглашатели повели борьбу против клеветы, батальон Измайловского полка прекратил бы, надо думать, исполнение марсельезы в честь Исполнительного комитета и повернул бы назад в казармы, если не ко дворцу Кшесинской.

В соответствии с общей линией меньшевиков, министр внутренних дел Церетели, взявший на себя ответственность за последовавшие вскоре аресты большевиков, счел необходимым, правда, под напором большевистской фракции, заявить в заседании Исполнительного комитета, что он лично не подозревает большевистских вождей в шпионстве, но обвиняет их в заговоре и вооруженном восстании. 13-го июля Либер, внося резолюцию, ставившую, по существу, большевистскую партию вне закона, счел нужным оговориться: «Я сам считаю, что обвинение, направленное против Ленина и Зиновьева, ни на чем не основано». Такие заявления встречались всеми молча и угрюмо: большевикам они казались недостойно уклончивыми, патриотам — излишними, ибо невыгодными.

Выступая 17-го на объединенном заседании обоих Исполнительных комитетов, Троцкий говорил: «Создается невыносимая атмосфера, в которой вы так же задохнетесь, как и мы. Бросают грязные обвинения Ленину и Зиновьеву (Голос: «это правда». Шум. Троцкий продолжает). В зале есть, оказывается, люди, которые сочувствуют этим обвинениям. Здесь есть люди, которые только примазались к революции. (Шум, председательский звонок долго восстанавливает спокойствие) . . . Ленин боролся за революцию 30 лет. Я борюсь против угнетения народных масс 20 лет. И мы не можем не питать ненависти к германскому милитаризму... Подозрение против нас в этой области может высказать только тот, кто не знает, что такое революционер. Я был осужден германским судом к 8 мес. тюрьмы за борьбу с германским милитаризмом . . . и это все знают. Не позволяйте никому в этом зале говорить, что мы — наемники Германии,

потому, что это не голос убежденных революционеров, а голос подлости (Аплодисменты)». Так представлен этот эпизод в антибольшевистских изданиях того времени, — большевистские были уже закрыты. Необходимо, однако, пояснить, что аплодисменты исходили лишь из небольшого левого сектора; часть депутатов ненавистнически рычала, большинство отмалчивалось. Никто, однако, даже из числа прямых агентов Керенского, не поднялся на трибуну, чтобы поддержать официальную версию обвинения или хотя бы косвенно прикрыть ее.

В Москве, где борьба между большевиками и соглашателями вообще имела смягченный характер, чтоб принять тем более жестокие формы в октябре, соединенное заседание обоих Советов, рабочего и солдатского, постановило 10 июля «выпустить и расклеить воззвание, в котором указать, что обвинение фракции большевиков в шпионстве является клеветой и происками контр-революции». Петроградский совет, более непосредственно зависимый от правительственных комбинаций, не предпринимал никаких шагов, выжидая заключения следственной комиссии, которая, однако, так и не приступала к работе.

5-го июля Ленин в беседе с Троцким ставил вопрос: «не перестреляют ли они нас?» Только таким намерением и можно было вообще объяснить официозный штемпель на чудовищной клевете. Ленин считал врагов способными довести затеянное ими дело до конца и подходил к выводу: не даваться им в руки. 6-го вечером прибыл с фронта Керенский, весь начиненный генеральскими внушениями, и потребовал решительных мер против большевиков. Около 2-х часов ночи правительство постановило привлечь к ответственности всех руководителей «вооруженного восстания» и расформировать полки, участвовавшие в мятеже. Воинский отряд, посланный на квартиру Ленина для обыска и ареста, должен был ограничиться обыском, так как хозяина уже не оказалось дома. Ленин оставался еще в Петрограде, но скрывался на ра-

бочей квартире и требовал, чтоб советская следственная комиссия выслушала его и Зиновьева в условиях, исключающих западню со стороны контр-революции. В заявлении, посланном в комиссию, Ленин и Зиновьев писали: «Утром (в пятницу 7 июля) Каменеву было сообщено из Думы, что комиссия приедет на условленную квартиру сегодня в 12 ч. дня. Мы пишем эти строки в 6½ ч. вечера 7 июля и констатируем, что до сих пор комиссия не явилась и ничего не дала о себе знать . . . Ответственность за замедление допроса падает не на нас». Уклонение советской комиссии от обещанного расследования окончательно убедило Ленина в том, что соглашатели умывают руки, предоставляя расправу белогвардейцам. Офицеры и юнкера, успевшие тем временем разгромить партийную типографию, избивали и арестовывали на улице всякого, кто протестовал против обвинения большевиков в шпионстве. Тогда Ленин окончательно решил скрыться, не от следствия, а от возможной расправы.

15-го Ленин и Зиновьев объясняли в кронштадтской большевистской газете, которую власти не посмели закрыть, почему они не считают возможным отдать себя в руки властей: «Из письма бывшего министра юстиции Переверзева, напечатанного в воскресенье в газете «Новое Время», стало совершенно ясно, что «дело» о шпионстве Ленина и других подстроено совершенно обдуманно партией контр-революции. Переверзев вполне открыто признает, что он пустил в ход непроверенные обвинения, дабы поднять ярость (дословное выражение) солдат против нашей партии. Это признает вчерашний министр юстиции! . . Никаких гарантий правосудия в России в данный момент нет. Отдать себя в руки властей — значило бы отдать себя в руки Милюковых, Алексинских, Переверзевых, в руки разъяренных контр-революционеров, для которых все обвинения против нас являются простым эпизодом в гражданской войне». Чтобы раскрыть ныне смысл слов об «эпизоде» в гражданской войне, до-

8*

таточно вспомнить судьбу Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Ленин умел заглядывать вперед.

В то время, как агитаторы враждебного лагеря рассказывали на все лады, что Ленин не то на миноносце, не то на подводной лодке бежал в Германию, большинство Исполнительного комитета поторопилось осудить Ленина за уклонение от следствия. Обходя вопрос о политической сущности обвинения и о той погромной обстановке, в которой и ради которой оно было предъявлено, соглашатели выступали защитниками чистого правосудия. Это была наименее невыгодная позиция из всех, какие оставались в их распоряжении. Резолюция Исполкома от 13 июля не только признавала поведение Ленина и Зиновьева «совершенно недопустимым», но и требовала от большевистской фракции «немедленного, категорического и ясного осуждения» своих вождей. Фракция единодушно отклонила требование Исполнительного комитета. Однако, в среде большевиков, по крайней мере, на верхах, были колебания по поводу уклонения Ленина от следствия. В среде же соглашателей, даже самых левых, исчезновение Ленина вызвало сплошное негодование, не всегда лицемерное, как видно на примере Суханова. Клеветнический характер материалов контрразведки не вызывал у него, как мы знаем, ни малейшего сомнения с самого начала. «Вздорное обвинение — писал он — рассеялось, как дым. Никто ничем не подтвердил его, и ему перестали верить». Но для Суханова оставалось загадкой, как мог Ленин решиться уклониться от следствия? «Это было нечто совсем особенное, беспримерное, непонятное. Любой смертный потребовал бы суда и следствия над собой в самых неблагоприятных условиях». Да, любой смертный. Но любой смертный не мог бы стать предметом бешеной ненависти правящих классов. Ленин не был любым смертным и ни на минуту не забывал о лежащей на нем ответственности. Он умел сделать из обстановки все выводы и умел игнорировать колебания «общественного мнения» во имя задач, которым была под-

чинена его жизнь. Донкихотство, как и позированье были ему одинаково чужды.

Вместе с Зиновьевым Ленин провел несколько недель в окрестностях Петрограда, близ Сестрорецка, в лесу; ночевать и укрываться от дождя им приходилось в стоге сена. Под видом кочегара, Ленин переехал на паровозе через финляндскую границу и скрывался на квартире гельсингфорсского полицмейстера, бывшего петроградского рабочего; затем переселился ближе к русской границе, в Выборг. С конца сентября он тайно жил в Петрограде, чтобы в день восстания, после почти четырехмесячного отсутствия, появиться на открытой арене.

Июль стал месяцем разнузданной, бесстыдной и победоносной клеветы; в августе она уж начала выдыхаться. Ровно через месяц после того, как навет был пущен в оборот, верный себе Церетели счел нужным повторить в заседании Исполнительного комитета: «Я на другой же день после арестов давал гласный отчет на запрос большевиков, и я сказал: лидеров большевиков, обвиняемых в подстрекательстве к восстанию 3-5 июля, я не подозреваю в связи с германским штабом». Меньше этого сказать нельзя было. Сказать больше — было невыгодно. Печать соглашательских партий не шла дальше слов Церетели. Но так как она в то же время ожесточенно обличала большевиков, как пособников германского милитаризма, то голос соглашательских газет политически сливался с воем всей остальной печати, которая говорила о большевиках, не как о «пособниках» Людендорфа, а как об его наемниках. Самые высокие ноты в этом хоре принадлежали кадетам. «Русские Ведомости», газета либеральных московских профессоров, сообщала, будто при обыске в редакции «Правды» было найдено немецкое письмо, в котором барон из Гапаранды «приветствует действия большевиков» и предвидит, «какую радость это произведет в Берлине». Немецкий барон с финляндской границы хорошо знал, какие письма нужны русским патриотам. Такими сообщениями полна была

пресса образованного общества, защищавшегося от большевистского варварства.

Верили ли профессора и адвокаты своим собственным словам? Допустить это, по крайней мере, в отношении столичных вождей, значило бы чрезмерно низко оценивать их политический рассудок. Если не принципиальные и не психологические, то уж одни деловые соображения должны были обнаружить пред ними вздорность обвинения, — и прежде всего соображения финансовые. Германское правительство могло, очевидно, помогать большевикам не идеями, а деньгами. Но именно денег у большевиков и не было. Заграничный центр партии во время войны боролся с жестокой нуждой, сотня франков представлялась большой суммой, центральный орган выходил раз в месяц, в два, и Ленин тщательно подсчитывал строки, чтоб не выйти из бюджета. Расходы петроградской организации за годы войны измерялись немногими тысячами рублей, которые шли, главным образом, на печатание нелегальных листков: за два с половиной года их вышло в Петрограде всего лишь 300.000 экземпляров. После переворота приток членов и средств, разумеется, чрезвычайно возрос. Рабочие с большой готовностью делали отчисления в пользу Совета и советских партий. «Пожертвования, всякие взносы, сборы и отчисления в пользу Совета, —докладывал на первом Съезде советов адвокат Брамсон, трудовик, — стали поступать на следующий же день после того, как вспыхнула наша революция... Можно было наблюдать чрезвычайно трогательную картину беспрерывного паломничества к нам в Таврический дворец с раннего утра до позднего вечера с этими взносами». Чем дальше, тем с большей готовностью рабочие делали отчисления в пользу большевиков. Несмотря, однако, на быстрый рост партии и денежных поступлений, «Правда» была, по размерам, самой маленькой из всех партийных газет. Вскоре по прибытии в Россию Ленин писал Радеку в Стокгольм: «Пишите статьи для «Правды» о внешней политике — архикороткие

и в духе «Правды» (мало, мало места, бьемся над увеличением)». Несмотря на проводившийся Лениным спартанский режим экономии, партия не выходила из нужды. Ассигнование двух-трех тысяч военных рублей в пользу местной организации являлось каждый раз серьезной проблемой для Центрального комитета. Для посылки газет на фронт приходилось делать новые и новые сборы среди рабочих. И все же большевистские газеты доходили в окопы в неизмеримо меньшем количестве, чем газеты соглашателей и либералов. Жалобы на это шли непрерывно. «Живем только слухом вашей газеты», писали солдаты. В апреле городская конференция партии призвала рабочих Петрограда собрать в три дня недостававшие 75 тысяч рублей на покупку типографии. Эта сумма была покрыта с избытком, и партия приобрела, наконец, собственную типографию, ту самую, которую юнкера разгромили в июле до тла. Влияние большевистских лозунгов росло, как степной пожар. Но материальные средства пропаганды оставались очень скудны. Личная жизнь большевиков давала еще меньше зацепок для клеветы. Что же оставалось? Ничего, в конце концов, кроме проезда Ленина через Германию. Но как раз этот факт, чаще всего выставлявшийся перед неискушенными аудиториями, как доказательство дружбы Ленина с немецким правительством, на деле доказывал обратное: агент проехал бы через неприятельскую страну скрыто и в полной безопасности; решиться открыто попрать законы патриотизма во время войны мог только уверенный в себе до конца революционер.

Министерство юстиции не остановилось, однако, пред выполнением неблагодарного задания: не напрасно оно получило в наследство от прошлого кадры, воспитанные в последний период самодержавия, когда убийства либеральных депутатов черносотенцами, известными по именам всей стране, систематически оставались нераскрытыми; зато киевский приказчик-еврей обвинялся в употреблении крови христианского мальчика. За подписью следователя по особо важным де-

лам Александрова и прокурора судебной палаты Каринского опубликовано было 21-го июля постановление о привлечении к суду, по обвинению в государственной измене, Ленина, Зиновьева, Коллонтай и ряда других лиц, в том числе немецкого социал-демократа Гельфанда-Парвуса. Те же статьи уголовного уложения, 51, 100 и 108, были распространены затем на Троцкого и Луначарского, арестованных воинскими отрядами 23-го июля. Согласно тексту постановления, лидеры большевиков, «являясь русскими гражданами, по предварительному между собою и другими лицами уговору, в целях способствования находящимся с Россией государствам во враждебных против нее действиях, вошли с агентами названных государств в соглашение содействовать дезорганизации русской армии и тыла для ослабления боевой способности армии. Для чего на полученные от этих государств денежные средства организовали пропаганду среди населения и войск с призывом к немедленному отказу от военных против неприятеля действий, а также в тех же целях в период 3-5 июля 1917 г. организовали в Петрограде вооруженное восстание». Хотя каждый грамотный человек, по крайней мере, в столице знал в те дни, в каких условиях Троцкий проехал из Нью-Иорка через Христианию и Стокгольм в Петроград, судебный следователь вменил и ему в вину проезд через Германию. Юстиция хотела, повидимому, не оставить никакого сомнения насчет солидности тех материалов, какие предоставила в ее распоряжение контр-разведка.

Это учреждение нигде не является рассадником морали. В России же контр-разведка представляла клоаку распутинского режима. Отбросы офицерства, полиции, жандармерии, выгнанные агенты охраны образовали кадры этого бездарного, подлого и всемогущего учреждения. Полковники, капитаны и прапорщики, непригодные для боевых подвигов, включили в свое ведение все отрасли общественной и государственной жизни, учредив во всей стране систему контр-разведоч-

ного феодализма. «Положение сделалось прямо катастрофическим, — жалуется бывший директор полиции Курлов, — когда в деле гражданского управления стала принимать участие прославившаяся контр-разведка». За самим Курловым числилось немало темных дел, в том числе косвенное соучастие в убийстве премьера Столыпина; тем не менее деятельность контр-разведки заставляла содрогаться даже и его испытанное воображение. В то время, как «борьба с вражеским шпионажем . . . выполнялась очень слабо», пишет он, сплошь и рядом возникали заведомо дутые дела, обрушивавшиеся на совершенно невиновных лиц, в голых целях шантажа. На одно из таких дел наткнулся Курлов: «к моему ужасу, — говорит он, — (я) услышал псевдоним известного мне, по прежней службе в департаменте полиции, выгнанного за шантаж секретного агента». Один из провинциальных начальников контр-разведки, некий Устинов, до войны нотариус, рисует в своих воспоминаниях нравы контр-разведки теми же, примерно, чертами, что и Курлов: «агентура в поисках дела сама создавала материал». Тем поучительнее проверить уровень учреждения на самом обличителе. «Россия погибла, — пишет Устинов о Февральской революции, — став жертвою революции, созданной германскими агентами на германское золото». Отношение патриотического нотариуса к большевикам не требует пояснений. «Донесения контр-разведки о прежней деятельности Ленина, о связи его с германским штабом, о получении им германского золота были так убедительны, чтоб сейчас же его повесить». Керенский этого не сделал, как оказывается, только потому, что сам был предатель. «В особенности изумляло и даже просто возмущало главенство плохонького адвоката из жидков Сашки Керенского». Устинов свидетельствует, что Керенский, «хорошо известен, как провокатор, который предавал своих товарищей». Французский генерал Ансельм, как выясняется в дальнейшем, покинул в марте 1919 г. Одессу не под напором большевиков, а потому, что получил крупную взятку.

От большевиков? Нет, «большевики не причем. Тут работают массоны». Таков этот мир.

Вскоре после февральского переворота учреждение, состоявшее из пройдох, фальсификаторов и шантажистов, было поручено наблюдению прибывшего из эмиграции патриотического эсера Миронова, которого товарищ министра Демьянов, «народный социалист», характеризует такими словами: «Внешнее впечатление Миронов производил хорошее . . . Но я не буду удивлен, если узнаю, что это был не вполне нормальный человек». Этому можно поверить: нормальный человек вряд-ли согласился бы возглавить учреждение, которое нужно было по-просту разогнать, облив стены сулемой. В силу административной неразберихи, вызванной переворотом, контр-разведка оказалась подчинена министру юстиции Переверзеву, человеку непостижимого легкомыслия и полной неразборчивости в средствах. Тот же Демьянов говорит в своих воспоминаниях, что его министр «престижем в Совете не пользовался почти никаким». Под прикрытием Миронова и Переверзева перепуганные революцией разведчики скоро пришли в себя и приспособили свою старую деятельность к новой политической обстановке. В июне даже левое крыло правительственной печати начало публиковать сведения о вымогательстве денег и других преступлениях, совершаемых высшими чинами контрразведки, включая и двух руководителей учреждения, Щукина и Броя, ближайших помощников злосчастного Миронова. За неделю до июльского кризиса Исполнительный комитет, под давлением большевиков, обратился к правительству с требованием произвести немедленную ревизию контр-разведки, с участием советских представителей. У разведчиков были таким образом свои ведомственные, вернее, шкурные основания, как можно скорее и крепче ударить по большевикам. Князь Львов подписал, кстати, закон, дающий контр-разведке право держать арестованного под замком в течение трех месяцев.

Характер обвинения и самих обвинителей неизбеж-

но порождает вопрос: как могли вообще нормального склада люди верить или хотя бы прикидываться верящими заведомой и насквозь нелепой лжи? Успех контр-разведки был бы, действительно, немыслим вне общей атмосферы, созданной войной, поражениями, разрухой, революцией и ожесточенностью социальной борьбы. Ничто не удавалось с осени 1914 года господствующим классам России, почва осыпалась под ногами, все валилось из рук, бедствия обрушивались отовсюду, — можно ли было не искать виноватого? Бывший прокурор судебной палаты Завадский вспоминает, что «вполне здоровые люди в тревожные годы войны склонны были подозревать измену там, где ее, повидимому, а то и несомненно, не было. Большинство дел этого рода, производившихся в бытность мою прокурором, оказывались дутыми». Инициатором таких дел, наряду со злостным агентом, выступал потерявший голову обыватель. Но уже очень скоро психоз войны сочетался с предреволюционной политической лихорадкой и стал давать тем более причудливые плоды. Либералы заодно с неудачливыми генералами везде и во всем искали немецкую руку. Камарилья считалась германофильской. Клику Распутина в целом либералы считали или, по крайней мере, объявляли действующей по инструкциям Потсдама. Царицу широко и открыто обвиняли в шпионстве: ей приписывали, даже в придворных кругах, ответственность за потопление немцами судна, на котором генерал Китченер ехал в Россию. Правые, разумеется, не оставались в долгу. Завадский рассказывает, как товарищ министра внутренних дел Белецкий пытался в начале 1916 г. создать дело против национал-либерального промышленника Гучкова, обвиняя его в «действиях, граничащих по военному времени с государственной изменой»... Разоблачая подвиги Белецкого, Курлов, тоже бывший товарищ министра внутренних дел, в свою очередь, спрашивает Милюкова: «за какую честную по отношению к родине работу были получены им двести тысяч рублей «финляндских» денег, переведенных по почте

ему на имя швейцара его дома»? Кавычки над «финляндскими» деньгами должны показать, что дело шло о немецких деньгах. А между тем Милюков имел вполне заслуженную репутацию германофоба! В правительственных кругах считали вообще доказанным, что все оппозиционные партии действуют на немецкие деньги. В августе 1915 года, когда ждали волнений в связи с намеченным роспуском Думы, морской министр Григорович, считавшийся почти-либералом, говорил на заседании правительства: «Немцы ведут усиленную пропаганду и заваливают деньгами противоправительственные организации». Октябристы и кадеты, негодуя на такого рода инсинуации, не задумывались, однако, отводить их влево от себя. По поводу полупатриотической речи меньшевика Чхеидзе в начале войны председатель Думы Родзянко писал: «последствия доказали в дальнейшем близость Чхеидзе к германским кругам». Тщетно было бы ждать хоть тени доказательства!

В своей «Истории второй русской революции» Милюков говорит: «Роль «темных источников» в перевороте 27 февраля совершенно неясна, но, судя по всему последующему, отрицать ее трудно». Решительнее выражается бывший марксист, ныне реакционный славянофил из немцев, Петр фон-Струве: «Когда русская революция, подстроенная и задуманная Германией, удалась, Россия по существу вышла из войны». У Струве, как и у Милюкова, речь идет не об Октябрьской, а о Февральской революции. По поводу знаменитого «Приказа № 1», великой хартии солдатских вольностей, выработанной делегатами петроградского гарнизона, Родзянко писал: «я ни одной минуты не сомневаюсь в немецком происхождении приказа № 1-й». Начальник одной из дивизий, генерал Барковский, рассказывал Родзянко, что приказ № 1 «в огромном количестве был доставлен в расположение его войск из германских окопов». Став военным министром, Гучков, которого при царе пытались обвинить в государственной измене, поспешил передвинуть

это обвинение влево. Апрельский приказ Гучкова по армии гласил: «Люди, ненавидящие Россию и, несомненно, состоящие на службе наших врагов, проникли в действующую армию с настойчивостью, характеризующей наших противников, и, повидимому, выполняя их требования, проповедуют необходимость окончания войны как можно скорее». По поводу апрельской манифестации, направленной против империалистической политики, Милюков пишет: «Задача устранения обоих министров (Милюкова и Гучкова) прямо была поставлена в Германии»; рабочие за участие в демонстрации получали от большевиков по 15 рублей в день. Золотым немецким ключом либеральный историк открывал все загадки, о которые он расшибался, как политик.

Патриотические социалисты, травившие большевиков, как невольных союзников, если не агентов правящей Германии, сами оказывались под подобными же обвинениями справа. Мы слышали отзыв Родзянко о Чхеидзе. Не нашел у него пощады и сам Керенский: «Это он, несомненно, из тайного сочувствия к большевикам, но может быть и в силу иных соображений, побудил Временное правительство» на допущение большевиков в Россию. «Иные соображения» не могут означать ничего другого, кроме пристрастия к немецкому золоту. В курьезных мемуарах, переведенных на иностранные языки, жандармский генерал Спиридович, отмечая обилие евреев в правящих эсеровских кругах, присовокупляет: «Среди них сверкали и русские имена, вроде будущего селянского министра и немецкого шпиона Виктора Чернова». Вождь партии эсеров находился на подозрении далеко не только у жандарма. После июльского погрома большевиков кадеты, не теряя времени, подняли травлю против министра земледелия Чернова, как подозрительного по связи с Берлином,и злополучному патриоту пришлось выйти временно в отставку, чтобы очистить себя от обвинений. Выступая осенью 1917 года по поводу наказа, преподанного патриотическим Исполкомом меньшевику Ско-

белеву для участия в международной социалистической конференции, Милюков с трибуны предпарламента доказывал, путем скрупулезного синтаксического анализа текста, явно «немецкое происхождение» документа. Стиль наказа, как, впрочем, и всей соглашательской литературы, был действительно плох. Запоздалая демократия, без мыслей, без воли, со страхом озиравшаяся по сторонам, громоздила в своих писаниях оговорку на оговорку и превращала их в плохой перевод с чужого языка, как и сама она была лишь тенью чужого прошлого. Людендорф в этом, однако, совсем не виноват.

Проезд Ленина через Германию открыл перед шовинистической демагогией неисчерпаемые возможности. Но как бы для того, чтоб ярче показать служебную роль патриотизма в своей политике, буржуазная печать, с фальшивой благожелательностью встретившая Ленина на первых порах, подняла необузданную травлю против его «германофильства» лишь после того, как уяснила себе его социальную программу. «Земли, хлеба и мира»? Эти лозунги он мог вывезти только из Германии. В это время еще не было и речи о разоблачениях Ермоленко.

После того, как Троцкий и несколько других эмигрантов, возвращавшихся из Америки, были арестованы военным контролем короля Георга на параллели Галифакса, британское посольство в Петрограде дало печати официальное сообщение на неподражаемом англо-русском языке: «Те русские граждане на пароходе «Христианиафиорд» были задержаны в Галифаксе потому, что сообщено английскому правительству, что они имели связь с планом, субсидированным германским правительством, — низвергнуть русское Временное правительство» . . . Сообщение сэра Бьюкенена было датировано 14 апреля: в это время не только Бурштейн, но и Ермоленко не появлялся еще на горизонте. Милюков, в качестве министра иностранных дел, оказался, однако, вынужден просить английское правительство, через русского посла Набокова, об осво-

бождении Троцкого от ареста и пропуске его в Россию. «Зная Троцкого по его деятельности в Америке, — пишет Набоков —, английское правительство недоумевало: «Что это: злая воля, или слепота? Англичане пожимали плечами, понимали опасность, предупреждали нас». Ллойд-Джорджу пришлось, однако, уступить. В ответ на запрос, предъявленный Троцким британскому послу в петроградской печати, Бьюкенен сконфуженно взял свое первоначальное объяснение обратно, заявив на сей раз: «Мое правительство задержало группу эмигрантов в Галифаксе только для и до выяснения их личностей русским правительством... К этому сводится все дело задержания русских эмигрантов». Бьюкенен был не только джентльменом, но и дипломатом.

На совещании членов Государственной Думы в начале июня Милюков, вышибленный из правительства апрельской демонстрацией, требовал ареста Ленина и Троцкого, недвусмысленно намекая на их связь с Германией. Троцкий заявил на следующий день на Съезде советов: «до тех пор, пока Милюков не подтвердит или не снимет этого обвинения, на его лбу останется клеймо бесчестного клеветника». Милюков ответил в газете «Речь», что он «действительно недоволен тем, что г. г. Ленин и Троцкий гуляют на свободе», но что необходимость их ареста он мотивировал «не тем, что они состоят агентами Германии, а тем, что они достаточно нагрешили против уголовного кодекса». Милюков был дипломатом, не будучи джентльменом. Необходимость ареста Ленина и Троцкого была ему совершенно ясна до откровений Ермоленко; юридическая сервировка ареста представлялась вопросом техники. Вождь либералов политически играл острым обвинением задолго до того, как оно было пущено в ход в «юридической» форме.

Роль мифа о немецком золоте нагляднее всего выступает в красочном эпизоде, рассказанном управляющим делами Временного правительства кадетом Набоковым (его не надо смешивать с цитированным выше русским послом в Лондоне). В одном из заседаний

Правительства Милюков, по какому-то постороннему поводу, заметил: «Ни для кого не тайна, что германские деньги сыграли свою роль в числе факторов, содействовавших перевороту»... Это очень похоже на Милюкова, хотя формула его явно смягчена. «Керенский, по передаче Набокова, словно осатанел. Он схватил свой портфель и, хлопнув им по столу, завопил: «После того, как г. Милюков осмелился в моем присутствии оклеветать святое дело великой русской революции, я ни одной минуты здесь больше не желаю оставаться». Это очень похоже на Керенского, хотя жесты его, может быть, и сгущены. Русская пословица советует не плевать в колодец, из которого придется, может быть, напиться. Обидевшись на Октябрьскую революцию, Керенский не нашел ничего лучшего, как направить против нее миф о немецком золоте. То, что у Милюкова было «клеветой на святое дело», у Бурштейна-Керенского превратилось в святое дело клеветы на большевиков.

Непрерывная цепь подозрений в германофильстве и шпионаже, тянущаяся от царицы, Распутина, придворных кругов, через министерства, штабы, Думу, либеральные редакции, до Керенского и части советских верхов, больше всего поражает своим однообразием. Политические противники как бы твердо решили не утруждать своего воображения: они просто перекатывают одно и то же обвинение с места на место, преимущественно, справа налево. Июльская клевета на большевиков меньше всего свалилась с ясного неба; она явилась естественным плодом паники и ненависти, последним звеном постыдной цепи, переводом готовой клеветнической формулы на новый и окончательный адрес, примиривший вчерашних обвинителей и обвиняемых. Все обиды правящих, все страхи, все ожесточение их направились против той партии, которая была крайней слева и полнее всего воплощала в себе сокрушающую силу революции. Могли ли в самом деле имущие классы очистить место большевикам, не сделав последней отчаянной попытки втоптать их в кровь

и в грязь? Уплотненный от долгого употребления клубок клеветы должен был фатально обрушиться на головы большевиков. Разоблачения зауряд-прапорщика из контр-разведки были только материализацией бреда имущих классов, увидевших себя в тупике. Поэтому клевета и получила такую страшную силу.

Германская агентура сама по себе не была, разумеется, бредом. Немецкий шпионаж в России был организован неизмеримо лучше, чем русский — в Германии. Достаточно напомнить, что военный министр Сухомлинов был еще при старом режиме арестован, как доверенное лицо Берлина. Несомненно также, что немецкие агенты примазывались не только к придворным и черносотенным, но и к левым кругам. Австрийские и германские власти с первых дней войны усиленно заигрывали с сепаратистскими тенденциями, начиная с украинской и кавказской эмиграции. Любопытно, что и Ермоленко, завербованный в апреле 1917 года, направлялся для борьбы за отделение Украины. Уже осенью 1914 года и Ленин и Троцкий в Швейцарии печатно призывали рвать с теми революционерами, которые поддаются на удочку австро-германского милитаризма. В начале 1917 г. Троцкий печатно повторил это предостережение в Нью-Йорке по адресу левых немецких социал-демократов, либкнехтианцев, с которыми пытались завязать связи агенты британского посольства. Но заигрывая с сепаратистами с целью ослабить Россию и напугать царя, германское правительство было далеко от мысли о низвержении царизма. Об этом лучше всего свидетельствует прокламация, распространенная немцами после февральского переворота в русских окопах и оглашенная 11 марта в заседании петроградского Совета: «Сначала англичане шли с вашим царем, теперь же они восстали против него, ибо он не соглашался с их корыстными требованиями. Они свергнули с престола вашего от бога данного вам царя. Почему же это случилось? Потому, что он понял и разгласил фальшивую и коварную английскую затею». И форма, и содержание этого доку-

мента дают внутреннюю гарантию его подлинности. Как нельзя подделать прусского поручика, так невозможно подделать и его историческую философию. Гофман, прусский поручик в генеральском чине, считал, что русская революция задумана и подстроена в Англии. В этом, все же, меньше бессмыслицы, чем в теории Милюкова-Струве, ибо Потсдам продолжал до конца надеяться на сепаратный мир с Царским Селом, тогда как в Лондоне больше всего боялись сепаратного мира между ними. Лишь когда невозможность восстановления царя обнаружилась полностью, немецкий штаб перенес свои надежды на разлагающую силу революционного процесса. Но даже и в вопросе о проезде Ленина через Германию инициатива исходила не из немецких кругов, а от самого Ленина, в своей первоначальной форме — от меньшевика Мартова. Немецкий штаб только пошел навстречу, вероятно, не без колебаний. Людендорф сказал себе: может быть, облегчение придет с этой стороны?

Во время июльских событий большевики сами искали за отдельными неожиданными и с явной преднамеренностью вызванными эксцессами работу чужой и преступной руки. Троцкий писал в те дни: «Какую роль сыграла в этом контр-революционная провокация или германская агентура? Сейчас трудно сказать об этом что-либо определенное . . . Остается ждать результатов подлинного расследования . . . Но и сейчас уже можно сказать с уверенностью: результаты такого расследования могут бросить яркий свет на работу черносотенных банд и на подпольную роль золота, немецкого, английского или истинно-русского, либо, наконец, того и другого и третьего вместе; но политического смысла событий никакое судебное расследование изменить не может. Рабочие и солдатские массы Петрограда не были и не могли быть подкуплены. Они не состоят на службе ни у Вильгельма, ни у Бьюкенена, ни у Милюкова . . . Движение было подготовлено войной, надвигающимся голодом, поднимающей голову реакцией, безголовьем правительства, авантюрист-

ским наступлением, политическим недоверием и революционной тревогой рабочих и солдат»...Все архивные материалы, документы, воспоминания, ставшие известными после войны и двух переворотов, свидетельствуют с несомненностью, что причастность немецкой агентуры к революционным процессам в России ни на один час не поднималась из военно-полицейской сферы в область большой политики. Есть ли, впрочем, надобность настаивать на этом после революции в самой Германии? Какой жалкой и бессильной оказалась эта якобы всемогущая гогенцоллернская агентура осенью 1918 года пред лицом немецких рабочих и солдат! «Расчет наших врагов, пославших Ленина в Россию, был совершенно правилен», говорит Милюков. Совсем иначе оценивает результаты предприятия сам Людендорф: «Я не мог предположить, — оправдывается он, говоря о русской революции, — что она станет могилой для нашего могущества». Это значит лишь, что из двух стратегов: Людендорфа, разрешившего Ленину проезд, и Ленина, принявшего это разрешение, Ленин видел лучше и дальше.

«Неприятельская пропаганда и большевизм, — жалуется Людендорф в своих воспоминаниях, — стремились в пределах немецкого государства к одной и той же цели. Англия дала Китаю опиум, наши враги дали нам революцию»... Людендорф приписывает Антанте то самое, в чем Милюков и Керенский обвиняли Германию. Так жестоко мстит за себя поруганный исторический смысл! Но Людендорф не остановился на этом. В феврале 1931 года он поведал миру, что за спиною большевиков стоял мировой, особенно еврейский финансовый капитал, объединенный борьбою против царской России и империалистской Германии. «Троцкий прибыл из Америки через Швецию в Петербург, снабженный большими денежными средствами мировых капиталистов. Другие деньги притекли к большевикам от еврея Солмсена из Германии». («Людендорфс Фольксвартэ», 15 февраля 1931 г.). Как ни расходятся показания Людендорфа с показа-

ниями Ермоленко, в одном пункте они все же совпадают: часть денег, оказывается, действительно шла из Германии, не от Людендорфа, правда, а от его смертельного врага Солмсена. Только этого свидетельства и не хватало, чтобы придать всему вопросу эстетическую законченность.

Но ни Людендорф, ни Милюков, ни Керенский не выдумали пороха, хотя первый и сделал из него широкое употребление. «Солмсен» имел в истории многих предшественников, и как еврей, и как немецкий агент. Граф Ферзен, шведский посол во Франции во время великой революции, страстный поклонник королевской власти, короля и особенно королевы, не раз слал своему правительству в Стокгольм донесения такого рода: «Еврей Эфраим, эмиссар г. Герцберга из Берлина (прусского министра иностранных дел), доставляет им (якобинцам) деньги; недавно он получил еще 600.000 ливров». Умеренная газета «Парижские революции» высказывала предположение, что во время республиканского переворота «эмиссары европейской дипломатии, в роде, напр., еврея Эфраима, агента прусского короля, проникали в подвижную и изменчивую толпу» . . . Тот же Ферзен доносил: «Якобинцы . . . погибли бы без помощи подкупаемой ими черни». Если большевики поденно платили участникам демонстраций, то они только следовали примеру якобинцев, причем деньги на подкуп «черни» шли в обоих случаях из берлинского источника. Сходство образа действий революционеров XX и XVIII века было бы поразительным, еслибы оно не перекрывалось еще более поразительным тождеством клеветы со стороны их врагов. Но нет надобности ограничиваться якобинцами. История всех революций и гражданских войн неизменно свидетельствует, что угрожаемый или низвергнутый класс склонен искать причину своих бедствий не в себе, а в иностранных агентах и эмиссарах. Не только Милюков, в качестве ученого историка, но и Керенский, в качестве поверхностного читателя, не могут этого не знать. Однако, в качестве политиков, они ста-

новятся жертвами собственной контр-революционной функции.

Под теориями о революционной роли иностранных агентов имеется, однако, как и под всеми массовыми и типическими заблуждениями, косвенное историческое основание. Сознательно или бессознательно каждый народ делает в критические периоды своего существования особенно широкие и смелые заимствования из сокровищницы других народов. Нередко к тому же руководящую роль в прогрессивном движении играют жившие за границей лица, или вернувшиеся на родину эмигранты. Новые идеи и учреждения представляются поэтому консервативным слоям прежде всего, как чужеродные, как иностранные продукты. Деревня против города, захолустье против столицы, мелкий буржуа против рабочего защищают себя, в качестве национальных сил, против иностранных влияний. Движение большевиков изображалось Милюковым, как «немецкое», в конце концов по тем же причинам, по которым русский мужик в течение столетий всякого по городскому одетого человека считал немцем. Разница та, что мужик при этом оставался добросовестным.

В 1918 году, следовательно уже после октябрьского переворота, бюро печати американского правительства торжественно опубликовало собрание документов о связи большевиков с немцами. Этой грубой подделке, не выдерживающей даже дыхания критики, многие образованные и проницательные люди верили до тех пор, пока не обнаружилось, что оригиналы документов, исходящих, якобы, из разных стран, написаны на одной и той же машинке. Фальсификаторы не церемонились с потребителями: они были, очевидно, уверены, что политическая потребность в разоблачениях большевиков преодолеет голос критики. И они не ошиблсь, ибо за документы им было хорошо заплочено. А между тем американское правительство, отделенное от арены борьбы океаном, было заинтересовано лишь во второй или в третьей очереди.

Но почему же, все-таки, так скудна и однообразна

самая политическая клевета? Потому, что общественная психика экономна и консервативна. Она не затрачивает больше усилий, чем необходимо для ее целей. Она предпочитает заимствовать старое, когда не вынуждена строить новое; но и в этом последнем случае она комбинирует элементы старого. Каждая очередная религия не создавала заново свою мифологию, а лишь перелицовывала суеверия прошлого. По этому же типу создавались философские системы, доктрины права и морали. Отдельные люди, даже гениальные, развиваются столь же не гармонически, как и общество, которое их воспитывает. Смелая фантазия уживается в одном и том же черепе с рабской приверженностью к готовым образцам. Дерзкие взлеты мирятся с грубыми предрассудками. Шекспир питал свое творчество сюжетами, дошедшими до него из глубины веков. Паскаль доказывал бытие бога при помощи теории вероятностей. Ньютон открыл законы тяготения и верил в апокалипсис. После того, как Маркони установил станцию беспроволочного телеграфа в резиденции папы, наместник Христа распространяет мистическую благодать по радио. В обычное время эти противоречия не выходят из состояния дремоты. Но во время катастроф они приобретают взрывчатую силу. Где дело идет об угрозе материальным интересам, образованные классы приводят в движение все предрассудки и заблуждения, которые человечество тащит в своем обозе. Можно ли слишком придираться к низвергнутым хозяевам старой России, если мифологию своего паденья они строили путем неразборчивых заимствований у тех классов, которые были опрокинуты до них? Правда, тот факт, что Керенский через много лет после событий возрождает в своих мемуарах версию Ермоленко, представляется во всяком случае излишеством.

Клевета годов войны и революции, сказали мы, поражает своей монотонностью. Однако же, есть разница. Из нагромождения количества получается новое качество. Борьба других партий между собою бы-

ла почти похожа на семейную ссору по сравнению с их общей травлей против большевиков. В столкновениях друг с другом они как бы только тренировались для другой, решающей борьбы. Даже выдвигая друг против друга острое обвинение в связи с немцами, они никогда не доводили дела до конца. Июль дает иную картину. В натиске на большевиков все господствующие силы: правительство, юстиция, контр-разведка, штабы, чиновники, муниципалитеты, партии советского большинства, их печать, их ораторы создают одно грандиозное целое. Самые разногласия между ними, как различия инструментов в оркестре, только усиливают общий эффект. Нелепое измышление двух презренных субъектов поднято на высоты исторического фактора. Клевета обрушивается, как Ниагара. Если принять во внимание обстановку — война и революция — и характер обвиняемых — революционные вожди миллионов, ведшие свою партию к власти, — то можно без преувеличения сказать, что июль 1917 года был месяцем величайшей клеветы в мировой истории.

КОНТР-РЕВОЛЮЦИЯ ПОДНИМАЕТ ГОЛОВУ

В первые два месяца, когда формально власть числилась за правительством Гучкова-Милюкова, она фактически сосредоточивалась полностью в руках Совета. В следующие два месяца Совет ослабел: часть влияния на массы перешла к большевикам, частицу власти министры-социалисты перенесли в своих портфелях в коалиционное правительство. С началом подготовки наступления автоматически укреплялось значение командного состава, органов финансового капитала и кадетской партии. Прежде чем пролить кровь солдат, Исполнительный комитет произвел солидное переливание собственной крови в артерии буржуазии. За кулисами нити сосредоточивались в руках посольств и правительств Антанты.

На открывшуюся в Лондоне междусоюзническую конференцию западные друзья «позабыли» пригласить русского посла; лишь после того, как он сам о себе напомнил, его позвали, за десять минут до открытия заседания, причем для него за столом не оказалось места, и ему пришлось втиснуться между французами. Издевательство над послом Временного правительства и демонстративный выход кадетов из министерства — оба события произошли 2-го июля — имели одну и ту же цель: пригнуть соглашателей к земле. Разразившаяся сейчас же вслед за этим вооруженная демонстрация тем более должна была вывести советских вождей из себя, что, под двойным ударом, они все свое

внимание направляли по прямо противоположному пути. Раз приходится тянуть кровавую лямку в союзе с Антантой, то лучших посредников, чем кадеты, все равно не найти. Чайковский, один из старейших русских революционеров, превратившийся за долгие годы эмиграции в умеренного британского либерала, нравоучительно говорил: «Для войны нужны деньги, а социалистам союзники денег не дадут». Соглашатели стеснялись этого аргумента, но понимали весь его вес.

Соотношение сил явно изменилось к невыгоде для народа, но никто не мог сказать, насколько. Аппетиты буржуазии возросли во всяком случае гораздо значительнее, чем ее возможности. В этой неопределенности заключался источник столкновений, ибо силы классов проверяются в действии, и события революции сводятся к таким повторным проверкам. Каково бы ни было, однако, по объему, перемещение власти слева направо, оно мало затрагивало Временное правительство, остававшееся пустым местом. Людей, которые в критические июльские дни интересовались министерством князя Львова, можно пересчитать по пальцам. Генерал Крымов, тот самый, который вел некогда разговоры с Гучковым о низложении Николая II, — мы скоро встретим этого генерала в последний раз, — прислал на имя князя телеграмму, заканчивающуюся наставлением: «пора переходить от слов к делу». Совет звучал насмешкой и лишь резче подчеркивал бессилие Правительства.

«В начале июля — писал впоследствии либерал Набоков — был один короткий момент, когда словно поднялся опять авторитет власти; это было после подавления первого большевистского выступления. Но этим моментом Временное правительство не сумело воспользоваться, и тогдашние благоприятные условия были пропущены. Они более не повторились». В том же духе высказывались и другие представители правого лагеря. На самом деле в июльские дни, как и во все вообще критические моменты, составные части коалиции преследовали разные цели. Соглашатели были

бы вполне готовы позволить окончательно раздавить большевиков, еслибы не было очевидно, что, справившись с большевиками, офицеры, казаки, георгиевские кавалеры и ударники разгромят самих соглашателей. Кадеты хотели итти до конца, чтоб смести не только большевиков, но и советы. Однако же, не случайно кадеты оказывались во все острые моменты вне правительства. В последнем счете их выпирало оттуда давление масс, непреодолимое, несмотря на все соглашательские буфера. Даже еслиб им удалось овладеть властью, либералы не могли бы удержать ее. События впоследствии показали это с исчерпывающей полнотой. Мысль об упущенной будто бы в июле возможности представляет собою ретроспективную иллюзию. Во всяком случае июльская победа не только не упрочила власти, но, наоборот, открыла период затяжного правительственного кризиса, который формально разрешился только 24 июля, по существу же явился вступлением к четырехмесячной агонии февральского режима.

Соглашатели разрывались между необходимостью восстановить полудружбу с буржуазией и потребностью смягчить враждебность масс. Лавированье становится для них формой существования, зигзаги превращаются в лихорадочные метания, но основная линия круто направляется вправо. 7-го июля правительством постановлен целый ряд репрессивных мер. Но в том же заседании, как бы украдкой, воспользовавшись отсутствием «старших», т. е. кадетов, министры-социалисты предложили правительству приступить к осуществлению программы июньского Съезда советов. Это немедленно же повело к дальнейшему распаду правительства. Крупный землевладелец, бывший председатель Земского союза, князь Львов обвинил правительство в том, что его аграрная политика «подрывает народное правосознание». Помещиков беспокоило не то, что они могут лишиться наследственных владений, а то, что соглашатели «стремятся поставить Учредительное собрание перед фактом уже раз-

решенного вопроса». Все столпы монархической реакции стали ныне пламенными сторонниками чистой демократии! Правительство постановило пост министра-председателя возложить на Керенского с сохранением за ним военного и морского портфелей. Церетели, новому министру внутренних дел, пришлось давать в Исполнительном комитете ответ по поводу арестов большевиков. Протестующий запрос исходил от Мартова, и Церетели бесцеремонно ответил своему старшему товарищу по партии, что предпочитает иметь дело с Лениным, а не с Мартовым: с первым он знает, как надо обращаться, а второй связывает ему руки . . . — Я беру на себя ответственность за эти аресты, — с вызовом бросил министр в насторожившемся зале.

Нанося удары налево, соглашатели прикрываются опасностью справа. «Россия стоит перед военной диктатурой — докладывает Дан на заседании 9-го июля. — Мы обязаны вырвать штык из рук военной диктатуры. А это мы можем сделать только признанием Временного правительства Комитетом общественного спасения. Мы должны дать ему неограниченные полномочия, чтобы оно могло в корне подорвать анархию слева и контр-революцию справа» . . . Как будто у самого правительства, боровшегося с рабочими, солдатами и крестьянами, мог быть в руках другой штык, кроме штыка контр-революции! 252 голосами при 47 воздержавшихся объединенное собрание постановило: «1. Страна и революция в опасности. 2. Временное правительство объявляется правительством спасения революции. 3. За ним признаются неограниченные полномочия». Постановление звучало громко, как пустая бочка. Наличные в заседании большевики воздержались от голосования, что свидетельствует о несомненной растерянности на верхах партии в те дни.

Массовые движения, даже разбитые, никогда не проходят бесследно. Место титулованного барина занял во главе правительства радикальный адвокат; министерство внутренних дел возглавил бывший каторжанин. Плебейское обновление власти налицо. Ке-

ренский, Церетели, Чернов, Скобелев, вожди Исполнительного комитета, определяли теперь физиономию правительства. Не есть ли это осуществление лозунга июньских дней: «долой десять министров-капиталистов»? Нет, это лишь обнаружение его несостоятельности. Министры-демократы взяли власть только для того, чтобы вернуть министров-капиталистов. La coalition est morte, vive la coalition!

Разыгрывается торжественно-постыдная комедия разоружения пулеметчиков на Дворцовой площади. Расформировывается ряд полков. Солдаты отправляются небольшими частями на пополнение фронта. Сорокалетние приводятся к повиновению и загоняются в окопы. Все это — агитаторы против режима керенщины. Их десятки тысяч, и они выполнят до осени большую работу. Параллельно разоружаются рабочие, хотя и с меньшим успехом. Под давлением генералов, — мы сейчас увидим, какие формы оно приняло, — вводится на фронте смертная казнь. Но в тот же день, 12-го июля, издается декрет, ограничивающий заключение земельных сделок. Запоздалая полумера, принятая под мужицким топором, вызвала слева издевательства, справа — скрежет зубовный. Запретив всякие уличные шествия, — угроза налево, — Церетели замахнулся и на самовольные аресты, — попытка одернуть направо. Сместив главнокомандующего войсками округа, Керенский объяснял налево, что — за разгромы рабочих организаций, направо, что — за недостаточную решительность.

Казаки стали подлинными героями буржуазного Петрограда. «Были случаи, — рассказывает казачий офицер Греков, — когда при входе кого-либо в казачьей форме в присутственное место, в ресторан, где было много публики, все вставали и приветствовали вошедшего рукоплесканиями». Театры, кинематографы и сады устроили ряд благотворительных вечеров в пользу раненых казаков и семей убитых. Бюро Исполнительного комитета оказалось вынуждено избрать комиссию, во главе с Чхеидзе, для участия в руковод-

стве похоронами «воинов, павших при исполнении революционного долга в дни 3-5 июля». Чашу унижения соглашателям пришлось пить до дна. Церемониал начинался с литургии в Исаакиевском соборе. Гробы выносились на руках Родзянко, Милюковым, князем Львовым и Керенским и с крестным ходом направлялись для погребения в Александро-невскую лавру. По пути следования милиция отсутствовала, охрану порядка взяли на себя казаки: день похорон был днем их полного владычества над Петроградом. Убитые казаками рабочие и солдаты, родные братья февральских жертв, похоронены были втихомолку, как хоронились при царизме жертвы 9 января.

Кронштадтскому Исполнительному комитету правительство предъявило требование немедленно выдать в распоряжение следственных властей Раскольникова, Рошаля и прапорщика Ремнева под угрозой блокады острова. В Гельсингфорсе наряду с большевиками арестованы были впервые и левые эсеры. Вышедший в отставку князь Львов жаловался в газетах на то, что «советы — ниже уровня общегосударственной морали и не очистились от ленинцев—этих агентов немцев»... Делом чести для соглашателей стало доказать свою государственную мораль. 13 июля Исполнительные комитеты принимают на объединенном заседании внесенную Даном резолюцию: «все лица, которым предъявляются обвинения судебной властью, отстраняются от участия в Исполнительных комитетах впредь до судебного приговора». Большевики ставились этим фактически вне закона. Керенский закрыл всю большевистскую прессу. В провинции шли аресты земельных комитетов. «Известия» бессильно плакались: «Всего несколько дней назад мы были свидетелями разгула анархии на улицах Петрограда. Сегодня на тех же улицах безудержно льются контр-революционные, черносотенные речи».

После расформирования наиболее революционных полков и разоружения рабочих равнодействующая еще более передвинулась вправо. В руках верхушки воен-

ных, промышленно-банковских и кадетских групп явно сосредоточилась значительная часть реальной власти. Другая часть ее оставалась по-прежнему в руках советов. Двоевластие было налицо, но уже не легализованное, контактное или коалиционное двоевластие предшествовавших месяцев, а взрывчатое двоевластие клик: военно-буржуазной и соглашательской, которые боялись друг друга, но в то же время нуждались друг в друге. Что оставалось? Возродить коалицию. «После восстания 3—5 июля, — справедливо говорит Милюков, — идея коалиции не только не исчезла, но, наоборот, приобрела временно больше силы и значения, чем имела прежде».

Временный комитет Государственной думы неожиданно воскрес и вынес резкую резолюцию против Правительства спасения. Это было последним толчком. Все министры вручили свои портфели Керенскому, превратив его тем самым в средоточие национального суверенитета. В дальнейшей судьбе февральского режима, как и в личной судьбе Керенского, этот момент получил важное значение: в хаосе группировок, отставок и назначений обозначилось нечто вроде неподвижной точки, около которой вращались все остальные. Отставка министров послужила лишь вступлением к переговорам с кадетами и промышленниками. Кадеты поставили свои условия: ответственность членов правительства «исключительно перед своей совестью»; полное единение с союзниками; восстановление дисциплины в армии; никаких социальных реформ до Учредительного собрания. Неписаным пунктом было требование отсрочки выборов в Учредительное собрание. Это называлось «внепартийной и национальной программой». В таком же духе ответили представители торговли и промышленности, которых соглашатели тщетно пытались противопоставить кадетам. Исполнительный комитет снова подтвердил свою резолюцию о наделении Правительства спасения «всеми полномочиями»: это означало согласие на независимость правительства от советов. В тот же день Церетели, в ка-

честве министра внутренних дел, разослал циркуляр о принятии «скорых и решительных мер к прекращению всех самоуправных действий в области земельных отношений». Министр продовольствия Пешехонов требовал, со своей стороны, прекращения «насильственных и преступных выступлений против землевладельцев». Правительство спасения революции рекомендовало себя прежде всего, как правительство спасения помещичьей собственности. Но не только ее одной. Промышленный воротило, инженер Пальчинский, в тройном звании управляющего министерством торговли и промышленности, главноуполномоченного по топливу и металлу и руководителя комиссии по обороне, энергично проводил политику синдицированного капитала. Меньшевистский экономист Череванин жаловался в экономическом отделе Совета на то, что благие начинания демократии разбиваются о саботаж Пальчинского. Министр земледелия Чернов, на которого кадеты перенесли обвинение в связи с немцами, увидел себя вынужденным «в целях реабилитации» подать в отставку. 18-го июля правительство, в котором преобладали социалисты, издает манифест о роспуске непокорного финляндского сейма с социалдемократическим большинством. В торжественной ноте к союзникам по случаю трехлетия мировой войны правительство не только повторяет ритуальную клятву верности, но и докладывает о счастливом подавлении мятежа, вызванного неприятельскими агентами. Неслыханный документ пресмыкательства! Одновременно издается свирепый закон против нарушений дисциплины на железных дорогах. После того, как правительство продемонстрировало свою государственную зрелость, Керенский решился, наконец, ответить на ультиматум кадетской партии в том смысле, что предъявленные ею требования «не могут служить препятствием для вхождения во Временное правительство». Замаскированной капитуляции либералам было, однако, уже недостаточно. Им нужно было поставить соглашателей на колени. Центральный комитет кадетской

партии заявил, что изданная после расторжения коалиции правительственная декларация 8 июля, — набор демократических общих мест, — для него неприемлема и — прервал переговоры.

Атака имела концентрический характер. Кадеты действовали в тесной связи не только с промышленниками и союзными дипломатами, но и с генералитетом. Главный комитет Союза офицеров при ставке состоял под фактическим руководством кадетской партии. Через высший командный состав кадеты давили на соглашателей с наиболее чувствительной стороны. 8 июля главнокомандующий юго-западным фронтом генерал Корнилов отдал приказ открывать по отступающим солдатам огонь из пулеметов и артиллерии. Поддержанный комиссаром фронта Савинковым, бывшим главою террористической организации социалистов-революционеров, Корнилов потребовал перед тем введения смертной казни на фронте, угрожая в противном случае самовольно сложить с себя командование. Секретная телеграмма немедленно появилась в печати: Корнилов заботился, чтоб об нем знали. Верховный главнокомандующий Брусилов, более осторожный и уклончивый, нравоучительно писал Керенскому: «Уроки великой французской революции, частью позабытые нами, все-таки властно напоминают о себе»... Уроки состояли в том, что французские революционеры, тщетно попытавшись перестроить армию «на началах гуманности», стали затем на путь смертной казни, «и их победные знамена обошли полмира». Кроме этого генералы ничего не вычитали в книге революций. 12-го июля правительство восстановило смертную казнь «на время войны для военнослужащих за некоторые тягчайшие преступления». Однако, главнокомандующий северным фронтом генерал Клембовский писал через три дня: «Опыт показал, что те боевые части делались совершенно небоеспособными, в которые поступало много пополнений. Армия не может быть здоровой, если источник ее пополнения гни-

лой». Гнилым источником пополнений являлся русский народ.

16-го июля Керенский созвал в ставке совещание старших военачальников с участием Терещенко и Савинкова. Корнилов отсутствовал: откат на его фронте шел полным ходом и приостановился лишь через несколько дней, когда немцы сами задержались у старой государственной границы. Имена участников совещания: Брусилов, Алексеев, Рузский, Клембовский, Деникин, Романовский, звучали, как отголоски канувшей в бездну эпохи. Четыре месяца высокие генералы чувствовали себя полупокойниками. Теперь они ожили и, считая министра-председателя воплощением досадившей им революции, безнаказанно награждали его злобными щелчками.

По данным ставки, армии юго-западного фронта за время с 18-го июня по 6 июля потеряли около 56.000 человек. Ничтожные жертвы по масштабам войны! Но два переворота, февральский и октябрьский, обошлись гораздо дешевле. Что дало наступление либералов и соглашателей, кроме смертей, разрушений и бедствий? Социальные потрясения 1917 года изменили лицо шестой части земли и приоткрыли перед человечеством новые возможности. Жестокости и ужасы революции, которых мы не хотим ни отрицать, ни смягчать, не падают с неба: они неотделимы от всего исторического развития.

Брусилов доложил о результатах начатого месяц перед тем наступления: «полная неудача». Причина ее в том, что «начальники, от ротного командира до главнокомандующего, не имеют власти». Как и почему они потеряли ее, он не сказал. Что касается будущих операций, то «подготовиться к ним мы можем не раньше весны». Настаивая вместе с другими на репрессиях, Клембовский тут же выразил сомнение в их действительности. «Смертная казнь? — Но разве можно казнить целые дивизии? Предавать суду? — Но тогда половина армии окажется в Сибири»... Начальник генерального штаба докладывал: «5 полков петроград-

ского гарнизона расформированы. Зачинщики предаются суду... Всего будет вывезено из Петрограда около 90.000 человек». Это было принято с удовлетворением. Никто не задумывался над тем, какие последствия повлечет за собою эвакуация петроградского гарнизона.

Комитеты? говорил Алексеев. «Их необходимо уничтожить... Военная история, насчитывающая тысячелетия, дала свои законы. Мы хотели их нарушить, мы и потерпели фиаско». Этот человек под законами истории понимал строевой устав. «За старыми знаменами — хвастал Рузский — люди шли, как за святыней, умирали. А к чему привели красные знамена? К тому, что войска теперь сдавались целыми корпусами». Ветхий генерал забыл, как сам он в августе 1915 года докладывал совету министров: «Современные требования военной техники для нас непосильны; во всяком случае за немцами нам не угнаться». Клембовский злорадно подчеркивал, что армию разрушили собственно не большевики, а «другие», проводившие негодное военное законодательство, «люди, не понимающие быта и условий существования армии». Это был прямой кивок в сторону Керенского. Деникин наступал на министров еще решительнее: «Вы — втоптали их в грязь, наши славные боевые знамена, вы и подымите их, если в вас есть совесть»... А Керенский? Заподозренный в отсутствии совести, он униженно благодарит солдафона за «откровенно и правдиво выраженное мнение». Декларация прав солдата? «Если бы я был министром во время того, как она вырабатывалась, декларация выпущена не была бы. Кто первый усмирил сибирских стрелков? Кто первый пролил для усмирения непокорных кровь? Мой ставленник, мой комиссар». Министр иностранных дел Терещенко заискивающе утешает: «Наше наступление, даже неудачное, подняло доверие к нам союзников». Доверие союзников! Разве не для этого земля вращается вокруг своей оси?

«В настоящее время офицеры — единственный

оплот свободы и революции», поучает Клембовский. «Офицер — не буржуй, поясняет Брусилов, он — самый настоящий пролетарий». Генерал Рузский дополняет: «и генералы — пролетарии». Уничтожить комитеты, восстановить власть старых начальников, изгнать из армии политику, то-есть революцию — такова программа пролетариев в генеральских чинах. Керенский не возражает против самой программы, его смущает лишь вопрос сроков. «Что касается предложенных мер, — говорит он, — я думаю, что и генерал Деникин не будет настаивать на немедленном их проведении в жизнь» . . . Генералы были сплошь серые посредственности. Но они не могли не сказать себе: «Вот каким языком нужно разговаривать с этими господами!»

В результате совещания произошла смена верховного командования. Податливый и гибкий Брусилов, назначенный вместо осторожного канцеляриста Алексеева, возражавшего против наступления, был теперь смещен, и на его место назначен генерал Корнилов. Смену мотивировали неодинаково: кадетам обещали, что Корнилов установит железную дисциплину; соглашателей заверяли, что Корнилов — друг комитетов и комиссаров; сам Савинков ручается за его республиканские чувства. В ответ на высокое назначение генерал отправил Правительству новый ультиматум: он, Корнилов, принимает свое назначение не иначе, как при условиях: «ответственности перед собственной совестью и народом; невмешательства в назначения высшего командного состава; восстановления смертной казни в тылу». Первый пункт порождал затруднения: «отвечать перед собственной совестью и народом» уже начал Керенский, а это дело не терпит соперничества. Телеграмма Корнилова была опубликована в самой распространенной либеральной газете. Осторожные политики реакции морщились. Ультиматум Корнилова был ультиматумом кадетской партии, только в переводе на несдержанный язык казачьего генерала. Но расчет Корнилова был правилен: непомерностью притязаний и дерзостью тона ультиматум вызвал восторг

всех врагов революции и прежде всего кадрового офицерства. Керенский всполошился и хотел немедленно уволить Корнилова, но не встретил поддержки в своем правительстве. В конце концов по совету своих вдохновителей Корнилов согласился в устном объяснении признать, что ответственность перед народом он понимает, как ответственность перед Временным правительством. В остальном ультиматум с небольшими оговорками был принят. Корнилов стал главнокомандующим. Одновременно военный инженер Филоненко назначен был при нем комиссаром, а бывший комиссар юго-западного фронта Савинков — управляющим военным министерством. Один — случайная фигура, выскочка, другой — с большим революционным прошлым, оба — законченные авантюристы, готовые на все, как Филоненко, или, по крайней мере на многое, как Савинков. Их тесная связь с Корниловым, способствовавшая быстрой карьере генерала, сыграла, как увидим, свою роль в дальнейшем развитии событий.

Соглашатели сдавались по всей линии. Церетели твердил: «Коалиция — это союз спасения». За кулисами переговоры, несмотря на формальный разрыв, шли полным ходом. Для ускорения развязки Керенский, по явному соглашению с кадетами, прибег к мере чисто театральной, т. е. вполне в духе его политики, но вместе с тем весьма действительной для его целей: он подал в отставку и уехал за город, предоставив соглашателей их собственному отчаянью. Милюков говорит по этому поводу: «Своим демонстративным уходом он . . . показал и своим противникам, и своим конкурентам, и своим сторонникам, что, как бы они ни смотрели на его личные качества, он необходим в данную минуту просто по занятому им политическому положению — посреди двух борющихся лагерей». Партия была выиграна по системе поддавков. Соглашатели бросились к «товарищу Керенскому», с подавленными проклятиями и открытыми мольбами. Обе стороны, кадеты и социалисты, без труда навязали обезглавленному министерству решение самоупраздниться,

поручив Керенскому создать правительство заново по единоличному своему усмотрению.

Чтоб запугать окончательно и без того испуганных членов Исполнительных комитетов им доставляют последние сведения об ухудшающемся положении на фронте. Немцы теснят русские войска, либералы теснят Керенского, Керенский теснит соглашателей. Фракции меньшевиков и эсеров заседают всю ночь на 24 июля, томясь беспомощностью. В конце концов Исполнительные комитеты большинством 147 голосов против 46 при 42 воздержавшихся — небывалая оппозиция! — одобряют передачу власти Керенскому, без условий и без ограничений. На происходившем одновременно кадетском съезде раздались голоса за свержение Керенского, но Милюков осадил нетерпеливых, предлагая пока ограничиться давлением. Это не значит, что Милюков делал себе иллюзии насчет Керенского. Но он видел в нем точку приложения для сил имущих классов. Освободив правительство от советов, освободить его от Керенского не представляло бы уже никакого труда.

Тем временем боги коалиции продолжали жаждать. Постановление об аресте Ленина предшествовало образованию переходного правительства 7-го июля. Теперь необходимо было актом твердости ознаменовать возрождение коалиции. Еще 13-го июля появилось в газете Горького — большевистской печати уже не существовало — открытое письмо Троцкого Временному правительству. Оно гласило: «У вас не может быть никаких логических оснований в пользу изъятия меня из-под действия декрета, силою которого подлежат аресту т. т. Ленин, Зиновьев и Каменев. Что же касается политической стороны дела, то у вас не может быть оснований сомневаться в том, что я являюсь столь же непримиримым противником общей политики Временного правительства, как и названные товарищи». В ночь, когда созидалось новое министерство, в Петрограде были арестованы Троцкий и Луначарский,

а на фронте — прапорщик Крыленко, будущий верховный главнокомандующий большевиков.

Появившееся в свет после трехнедельного кризиса правительство выглядело заморышем. Оно состояло из фигур второго и третьего плана, подобранных по принципу наименьшего зла. Заместителем председателя оказался инженер Некрасов, левый кадет, который 27 февраля предлагал для подавления революции вручить власть одному из царских генералов. Беспартийный и безличный писатель Прокопович, обитавший на меже между кадетами и меньшевиками, стал министром промышленности и торговли. Бывший прокурор, затем радикальный адвокат, Зарудный, сын «либерального» министра Александра II-го, призван был к руководству юстицией. Председатель крестьянского Исполнительного комитета Авксентьев получил портфель министра внутренних дел. Министром труда остался меньшевик Скобелев, министром продовольствия — народный социалист Пешехонов. Из либералов в кабинет вошли столь же второстепенные фигуры, ни до, ни после того не игравшие руководящих ролей. На пост министра земледелия неожиданно вернулся Чернов: в четыре дня, протекшие между отставкой и новым назначением, он успел реабилитировать себя. В своей «Истории» Милюков бесстрастно отмечает, что характер отношений Чернова к германским властям «оставался невыясненным; возможно, — присовокупляет он, — что и показания русской разведки и подозрения Керенского, Терещенко и других в этом отношении шли слишком далеко». Восстановление Чернова в звании министра земледелия являлось не более, как данью престижу правящей партии эсеров, в которой Чернов, впрочем, все больше терял влияние. Зато Церетели предусмотрительно остался вне министерства: в мае считалось, что он будет полезен революции в составе правительства, теперь он собирался быть полезен правительству в составе Совета. С этого времени Церетели действительно выполняет обязанности комиссара буржуазии при системе советов. «Если бы интересы

страны были нарушены коалицией, — говорил он на заседании петроградского Совета, — наш долг отозвать наших товарищей из Правительства». Речь шла уже не о том, чтоб, исчерпав либералов, устранить их, как обещал недавно Дан, а о том, чтоб, почувствовав себя исчерпанными, своевременно отойти от кормила самим. Церетели подготовлял полную сдачу власти буржуазии.

В первой коалиции, оформившейся 6 мая, социалисты были в меньшинстве; но они были фактическими хозяевами положения; в министерстве 24 июля социалисты были в большинстве, но они были только тенью либералов. «При небольшом номинальном перевесе социалистов — признает Милюков — действительный перевес в кабинете безусловно принадлежал убежденным сторонникам буржуазной демократии». Точнее было бы сказать: буржуазной собственности. С демократией дело обстояло менее определенно. В том же духе, хотя и с неожиданной мотивировкой, сравнивал июльскую коалицию с майской министр Пешехонов: тогда буржуазии нужна была опора слева; теперь, когда грозит контр-революция, нам необходима поддержка справа: «чем больше сил мы привлечем справа, тем меньше останется тех, которые будут нападать на власть». Несравненное правило политической стратегии: чтоб сломить осаду крепости, самое лучшее — открыть ворота изнутри. Это и была формула новой коалиции.

Реакция наступала, демократия отступала. Классы и группы, устрашенные на первых порах революцией, поднимали голову. Интересы, которые вчера прятались, сегодня выступали наружу. Торговцы и спекулянты требовали истребления большевиков и — свободы торговли; они возвышали голос против всех ограничений оборота, даже и тех, которые введены были еще при царизме. Продовольственные управы, пытавшиеся бороться со спекуляцией, объявлялись виновными в недостатке жизненных продуктов. С управ ненависть переносилась на советы. Меньшевистский эко-

номист Громан докладывал, что поход торговцев «особенно усилился после событий 3-4 июля». Советы делались ответственными за поражения, дороговизну и ночные грабежи.

Встревоженное монархическими происками и боясь какого-либо ответного взрыва слева, Правительство отправило 1-го августа Николая Романова с семьей в Тобольск. На следующий день закрыта была новая газета большевиков «Рабочий и солдат». Отовсюду поступали сведения о массовых арестах войсковых комитетов. Большевики могли собрать в конце июля свой съезд лишь полулегально. Армейские съезды запрещались. Съезжаться стали те, которые раньше сидели по домам: землевладельцы, торговцы и промышленники, казачьи верхи, духовенство, георгиевские кавалеры. Их голоса звучали однородно, различаясь лишь степенью дерзости. Бесспорное, хотя и не всегда открытое дирижерство принадлежало кадетской партии.

На торгово-промышленном съезде, собравшем в начале августа около 300 представителей важнейших биржевых и предпринимательских организаций, программную речь произнес текстильный король Рябушинский, который не поставил свой светильник под спудом. «У Временного правительства была лишь видимость власти ... фактически воцарилась шайка политических шарлатанов ... Правительство налегает на налоги, в первую очередь облагая жестоко торгово-промышленный класс ... Целесообразно ли давать расточителю? Не лучше ли во имя спасения родины наложить опеку на расточителей?»... И, наконец, заключительная угроза: «Костлявая рука голода и народной нищеты схватит за горло друзей народа!» Фраза о костлявой руке голода, обобщавшая политику локаутов, прочно вошла с этого времени в политический словарь революции. Она дорого обошлась капиталистам.

В Петрограде открылся съезд губернских комиссаров. Агенты Временного правительства, которые, по

замыслу, должны были стать вокруг него стеной, сомкнулись на самом деле против него и, под руководством своего кадетского ядра, взяли злополучного министра внутренних дел Авксентьева в штыки. «Нельзя сидеть между двух стульев: власть должна властвовать, а не быть марионеткой». Соглашатели оправдывались и протестовали вполголоса, опасаясь, что их спор с союзниками подслушают большевики. Министр-социалист ушел со съезда, как обваренный.

Эсеровская и меньшевистская печать заговорила постепенно языком жалобы и обиды. На ее страницах стали появляться неожиданные разоблачения. 6-го августа эсеровское «Дело Народа» опубликовало письмо группы левых юнкеров, присланное ими с дороги к фронту: авторов «поразила роль, в которой выступали юнкера ... систематическое битье по физиономии, участие юнкеров в карательных экспедициях, сопровождавшихся расстрелами без суда и следствия, по одному лишь приказанию батальонного командира ... Озлобленные солдаты стали стрелять в отдельных юнкеров из-за угла» ... Так выглядела работа по оздоровлению армии.

Реакция наступала, Правительство отступало. 7-го августа освобождены были из тюрьмы наиболее популярные черносотенные деятели, причастные к распутинским кругам и к еврейским погромам. Большевики оставались в Крестах, где надвигалась голодовка арестованных рабочих, солдат и матросов. Рабочая секция петроградского Совета послала в этот день приветствие Троцкому, Луначарскому, Коллонтай и другим заключенным.

Промышленники, губернские комиссары, казачий съезд в Новочеркасске, патриотическая печать, генералы, либералы — все считали, что производить выборы в Учредительное собрание в сентябре совершенно невозможно; лучше всего было бы отложить их до конца войны. На это правительство, однако, пойти не могло. Но компромисс был найден: созыв Учредительного собрания был отсрочен до 28 ноября. Не без брюзжа-

ния кадеты приняли отсрочку: они твердо рассчитывали, что за остающиеся три месяца должны будут произойти решающие события, которые самый вопрос об Учредительном собрании перенесут в иную плоскость. Надежды эти все более открыто связывались с именем Корнилова.

Реклама вокруг фигуры нового «Верховного» стала отныне в центре буржуазной политики. Биография «первого народного главнокомандующего» распространялась в огромном количестве экземпляров, при активном содействии ставки. Когда Савинков, в качестве управляющего военным министерством, говорил журналистам: «мы полагаем», то «мы» означало не Савинков и Керенский, а Савинков и Корнилов. Шум вокруг Корнилова заставлял Керенского настораживаться. Шли все более упорные слухи о заговоре, в центре которого стоит комитет союза офицеров при ставке. Личное свидание главы правительства и главы армии в начале августа только разожгло их взаимную антипатию. «Этот легковесный краснобай хочет мною командовать?» должен был сказать себе Корнилов. «Этот ограниченный и невежественный казак собирается спасать Россию?» не мог не подумать Керенский. Оба были по своему правы. Программа Корнилова, включавшая в свой состав милитаризацию заводов и железных дорог, распространение смертной казни на тыл и подчинение ставке петроградского военного округа, вместе со столичным гарнизоном, стала тем временем известна в соглашательских кругах. За официальной программой без труда угадывалась другая, не высказанная, но тем более действительная. Левая печать забила тревогу. Исполнительный комитет выдвигал новую кандидатуру в главнокомандующие, в лице генерала Черемисова. О предстоящей отставке Корнилова заговорили открыто. Реакция всполошилась.

6-го августа Совет союза двенадцати казачьих войск: донского, кубанского, терского и пр., постановил, не без участия Савинкова, «громко и твердо» довести до сведения правительства и народа, что снима-

ет с себя ответственность за поведение казачьих войск на фронте и в тылу в случае смены «вождя-героя» ген. Корнилова. Конференция союза георгиевских кавалеров еще более твердо пригрозила Правительству: если Корнилов будет смещен, то союз немедленно отдаст «боевой клич всем георгиевским кавалерам о выступлении совместно с казачеством». Ни один из генералов не протестовал против этого нарушения субординации, и печать порядка с восторгом печатала постановления, означавшие угрозу гражданской войны. Главный комитет союза офицеров армии и флота разослал телеграмму, в которой все свои надежды возлагал «на любимого вождя генерала Корнилова», призывая «всех честных людей» выразить ему доверие. Заседавшее в те дни в Москве совещание «общественных деятелей» правого лагеря послало Корнилову телеграмму, в которой присоединяло свой голос к голосу офицеров, георгиевских кавалеров и казачества: «вся мыслящая Россия смотрит на вас с надеждой и верой». Яснее нельзя было сказать. В совещании принимали участие промышленники и банкиры, как Рябушинский и Третьяков, генералы Алексеев и Брусилов, представители духовенства и профессуры, вожди кадетской партии, во главе с Милюковым. В качестве прикрытия фигурировали представители полуфиктивного «крестьянского союза», который должен был дать кадетам опору в крестьянских верхах. На председательском кресле возвышалась монументальная фигура Родзянко, благодарившего делегацию казачьего полка за усмирение большевиков. Кандидатура Корнилова на роль спасителя страны была таким образом открыто выдвинута наиболее авторитетными представителями имущих и образованных классов России.

После такой подготовки верховный главнокомандующий вторично появляется у военного министра для переговоров о представленной им программе спасения страны. «По приезде в Петроград — рассказывает об этом визите Корнилова начальник его штаба, генерал Лукомский, — он поехал в Зимний дворец в сопро-

вождении текинцев с двумя пулеметами. Эти пулеметы, после входа генерала Корнилова в Зимний дворец, были сняты с автомобиля, и текинцы дежурили у подъезда дворца, чтобы, в случае надобности, притти на помощь главнокомандующему». Предполагалось, что помощь главнокомандующему может понадобиться против министра-председателя. Пулеметы текинцев были пулеметами буржуазии, направленными в сторону соглашателей, путающихся в ногах. Так выглядело Правительство спасения, независимое от советов!

Немедленно после корниловского визита член Временного правительства Кокошкин заявил Керенскому, что кадеты выйдут в отставку, «если не будет сегодня же принята программа Корнилова». Хоть и без пулеметов, но кадеты разговаривали с Правительством ультимативным языком Корнилова. И это помогало. Временное правительство поспешило рассмотреть доклад верховного главнокомандующего и признало в принципе возможным применение предложенных им мер, «до смертной казни в тылу включительно».

В мобилизацию сил реакции естественно включился Всероссийский Церковный собор, который, по официальной своей цели, должен был завершить освобождение православной церкви от бюрократического пленения, по существу же должен был оградить ее от революции. С устранением монархии церковь лишилась своего официального главы. Ее отношения с государством, исконным защитником и покровителем, повисли в воздухе. Правда, Святейший синод в послании от 9 марта поспешил благословить совершившийся переворот и призвал народ «довериться Временному правительству». Однако, будущее нависало угрозой. Правительство отмалчивалось в церковном вопросе, как и в других. Духовенство совершенно растерялось. Изредка откуда-нибудь с окраины, из города Верного на границе Китая, приходила от местного причта телеграмма, заверявшая князя Львова, что его политика вполне отвечает заветам евангелия. Подлаживаясь к перевороту, церковь не осмеливалась вмешаться в события.

Резче всего это сказывалось на фронте, где влияние духовенства свалилось вместе с дисциплиной страха. Деникин признает: «Если офицерский корпус все же долгое время боролся за свою командную власть и военный авторитет, то голос пастырей с первых же дней революции замолк, и всякое участие их в жизни войск прекратилось». Съезды духовенства в ставке и в штабах армий проходили совершенно бесследно.

Собор, являвшийся прежде всего кастовым делом самого духовенства, особенно его верхнего яруса, не остался, все же, замкнут в рамки церковной бюрократии: за него изо всех сил ухватилось либеральное общество. Кадетская партия, не находившая в народе никаких политических корней, мечтала о том, чтобы реформированная церковь послужила для нее трансмиссией к массам. В подготовке собора деятельную роль играли, наряду с князьями церкви и впереди их, светские политики разных оттенков, как князь Трубецкой, граф Олсуфьев, Родзянко, Самарин, либеральные профессора и писатели. Кадетская партия тщетно пыталась создать вокруг собора атмосферу церковной реформации, боясь в то же время неосторожным движением раскачать подгнившую постройку. Об отделении церкви от государства не было и речи, ни у духовенства, ни у светских реформаторов. Князья церкви естественно склонны были ослабить контроль государства над своими внутренними делами, но с тем, чтоб государство и впредь не только ограждало их привиллегированное положение, их земли и доходы, но и продолжало бы покрывать львиную долю их расходов. В свою очередь либеральная буржуазия готова была обеспечить православию сохранение положения господствующей церкви, но под условием, чтоб она научилась по новому обслуживать в массах интересы господствующих классов.

Но здесь главные трудности и начинались. Тот же Деникин сокрушенно отмечает, что русская революция «не создала ни одного сколько-нибудь заметного народно-религиозного движения». Правильнее было бы

сказать, что по мере вовлечения в революцию новых слоев народа, они почти автоматически поворачивались спиною к церкви, если даже раньше были связаны с ней. В деревне отдельные священники могли еще иметь личное влияние, в зависимости от их поведения в земельном вопросе. В городе никому не только в рабочей, но и в мелко-буржуазной среде. не приходило в голову обращаться к духовенству за разрешением поднятых революцией вопросов. Подготовка Церковного собора натолкнулась на полное безучастие народа. Интересы и страсти масс находили свое выражение на языке социалистических лозунгов, а не богословских текстов. Запоздалая Россия проходила свою историю по сокращенному курсу: она оказалась вынуждена перешагнуть не только через эпоху реформации, но и через эпоху буржуазного парламентаризма.

Задуманный в месяцы прилива революции церковный собор совпал с неделями ее отлива. Это еще более сгустило его реакционную окраску. Состав собора, круг затронутых им вопросов, даже церемониал его открытия — все свидетельствовало о коренных изменениях в отношении разных классов к церкви. На богослужении в Успенском соборе, наряду с Родзянко и кадетами, присутствовали Керенский и Авксентьев. Московский городской голова эсер Руднев в приветствии сказал: «Пока будет жить русский народ, в душе его будет гореть вера христианская». Вчера еще эти люди считали себя прямыми потомками русского просветителя Чернышевского.

Собор рассылал печатные воззвания во все концы, взывал о сильной власти, обличал большевиков и заклинал, в тон с министром труда Скобелевым: «Рабочие, трудитесь, не жалея сил, и подчиняйте ваши требования благу родины». Но особенное внимание уделил собор земельному вопросу. Митрополиты и епископы были не менее помещиков напуганы и ожесточены размахом крестьянского движения, и страх за церковные и монастырские земли захватывал их души гораздо сильнее, чем вопрос о демократизации церков-

ного прихода. Грозя божьим гневом и отлучением от церкви, послание собора требует «немедленно возвратить церквам, обителям, причтам и частным владельцам награбленные у них земли, леса и урожаи». Вот где уместно вспомнить о гласе вопиющего в пустыне! Собор тянулся из недели в неделю и до высшей точки своих работ, восстановления патриаршества, упраздненного Петром двести лет тому назад, добрался только после октябрьского переворота.

В конце июля Правительство постановило созвать на 13 августа в Москве Государственное совещание от всех классов и общественных учреждений страны. Состав Совещания определялся самим правительством. В полном противоречии с результатами всех без исключения демократических выборов, происходивших в стране, правительство приняло меры к тому, чтобы заранее обеспечить на совещании одинаковую численность представителей имущих классов и народа. Только на основе такого искусственного равновесия Правительство спасения революции еще надеялось спастись само. Никакими определенными правами этот земский собор не наделялся. «Совещание . . . получало, — по словам Милюкова, — самое большее, лишь совещательный голос»: имущие классы хотели показать демократии пример самоотреченья, чтоб тем вернее завладеть затем властью целиком. Официально целью Совещания объявлялось «единение государственной власти со всеми организованными силами страны». Печать говорила о необходимости сплотить, примирить, ободрить, поднять дух. Другими словами, одни не хотели, а другие не способны были ясно сказать, для чего собственно Совещание собирается. Назвать вещи по имени и здесь стало задачей большевиков.

КЕРЕНСКИЙ И КОРНИЛОВ

(ЭЛЕМЕНТЫ БОНАПАРТИЗМА В РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ)

Немало написано на ту тему, что дальнейшие несчастья, включая и пришествие большевиков, могли бы быть избегнуты, еслиб вместо Керенского во главе власти стоял человек с ясной мыслью и твердым характером. Неоспоримо, что Керенскому не хватало ни того, ни другого. Но почему же определенные обществнные классы оказались вынуждены поднять именно Керенского на своих плечах?

Как бы для того, чтоб освежить нашу историческую память, испанские события снова показывают нам, как революция, смывая привычные политические разграничения, обволакивает на первых порах розовой туманностью всех и все. Даже враги ее стремятся в этой стадии окраситься ее краской: в этой мимичности выражается полуинстинктивное стремление консервативных классов приспособиться к угрожающим переменам, чтоб как можно меньше пострадать от них. Солидарность нации, основанная на рыхлых фразах, превращает соглашательство в необходимую политическую функцию. Мелкобуржуазные идеалисты, глядящие поверх классов, думающие готовыми фразами, не знающие, чего хотят, и желающие всем всего лучшего, являются на этой стадии единственно мыслимыми вождями большинства. Еслибы у Керенского была ясная мысль и твердая воля, он оказался бы совершенно непригоден для своей исторической роли. Это не ретроспективная

оценка. Так смотрели большевики и в разгаре событий. «Защитник по политическим делам, социал-революционер, который стоял во главе трудовиков, радикал без какой бы то ни было социалистической школы — Керенский полнее всего отражал первую эпоху революции, ее «национальную» бесформенность, зажигательный идеализм ее надежд и ожиданий, — так писал автор этих строк в тюрьме Керенского после июльских дней. — Керенский говорил о земле и воле, о порядке, о мире народов, о защите отечества, героизме Либкнехта, о том, что русская революция должна поразить мир своим великодушием, и размахивал при этом красным шелковым платочком. Полупроснувшийся обыватель с восторгом слушал эти речи: ему казалось, что это он сам говорит с трибуны. Армия встретила Керенского, как избавителя от Гучкова. Крестьяне слышали о нем, как о трудовике, о мужицком депутате. Либералов подкупала крайняя умеренность идей под бесформенным радикализмом фраз»...

Но период всеобщих объятий длится не долго. Борьба классов замирает в начале революции только для того, чтоб ожить затем в виде гражданской войны. В феерическом подъеме соглашательства заранее заключено его неизбежное крушение. Быструю утрату Керенским популярности официозный французский журналист Клод Анэ объяснял тем, что недостаток такта толкал социалистического политика на действия, «мало гармонирующие» с его ролью. «Он посещает императорские ложи. Он живет в Зимнем или Царскосельском дворце. Он спит в постели русских императоров. Немножко слишком много тщеславия и притом слишком заметного; это шокирует в стране, наиболее простой в мире». Такт, в малом, как и в большом, предполагает понимание обстановки и своего места в ней. Этого у Керенского не было и следа. Доверчиво поднятый массами, он был совершенно чужд им, не понимал их и нисколько не интересовался тем, как они воспринимают революцию и какие делают из нее выводы. Массы ждали от него смелых действий, а он требовал

от масс не мешать его великодушию и красноречию. В то время, как Керенский наносил арестованной семье царя театральный визит, солдаты, окарауливавшие дворец, говорили коменданту: «мы вот на нарах спим, у нас довольствие плохое, а Николашка, хоть и арестован, у него мясо в помойку кидают». Это были «невеликодушные» слова, но они выражали то, что чувствовали солдаты.

Вырвавшийся из вековой скованности народ на каждом шагу переступал черту, какую ему указывали просвещенные вожди. Керенский причитал на эту тему в конце апреля: «Неужели русское свободное государство есть государство взбунтовавшихся рабов? . . . Я жалею, что не умер два месяца назад: я бы умер с великой мечтой». и т. д. Этой плохой риторикой он надеялся повлиять на рабочих, солдат, матросов, крестьян. Адмирал Колчак рассказывал впоследствии пред советским трибуналом, как радикальный военный министр объезжал в мае суда черноморского флота, чтоб примирить матросов с офицерами. Оратору казалось после каждой речи, что цель достигнута: «вот видите, адмирал, все улажено» . . . Но ничто не было улажено: развал флота только начинался.

Чем дальше, тем острее Керенский возмущал массы жеманничаньем, чванством, заносчивостью. Во время объезда фронта он раздраженно выкрикивал в вагоне своему адъютанту, может быть с таким расчетом, чтоб его услышали генералы: «Гоните вы эти проклятые комитеты в шею!» Прибыв в балтийский флот, Керенский приказал Центральному комитету моряков явиться к нему на адмиральский корабль. «Центробалт», как советский орган, не был подчинен министру и счел приказание оскорбительным. Председатель комитета, матрос Дыбенко, ответил: «если Керенский желает говорить с Центробалтом, пусть придет к нам». Разве это не невыносимая дерзость! На судах, где Керенский вступал с матросами в политические разговоры, дело шло не лучше, особено на большевистски настроенном корабле «Республика», где министра допрашивали по

пунктам: почему он в Государственной думе голосовал за войну? почему подписался под империалистской нотой Милюкова от 21-го апреля? почему назначил царским сенатором 6 000 рублей в год пенсии? Керенский отказался отвечать на эти коварные вопросы, поставленные его «недругами». Команда сухо признала объяснения министра «неудовлетворительными»... При гробовом молчании матросов Керенский покинул корабль. «Восставшие рабы!» говорил радикальный адвокат с зубовным скрежетом. А матросы испытывали чувство гордости: «Да, мы были рабы, и мы восстали!».

Бесцеремонностью своего обращения с демократическим общественным мнением Керенский на каждом шагу вызывал полуконфликты с советскими вождями, которые шли по тому же пути, что и он, но с большей оглядкой на массы. Уже 8-го марта Исполнительный комитет, испуганный протестами снизу, объявил Керенскому о недопустимости освобождения из-под ареста полицейских. Через несколько дней соглашатели видели себя вынужденными протестовать против намерения министра юстиции вывезти царскую семью в Англию. Еще через две-три недели Исполком ставил общий вопрос об «урегулировании отношений» с Керенским. Но эти отношения не были и не могли быть урегулированы. Столь же неблагополучно обстояло дело и по партийной линии. На эсеровском съезде в начале июня Керенский был забаллотирован при выборах в ЦК, получив 135 голосов из 270. Как извивались лидеры, разъясняя направо и налево, что «за товарища Керенского многие не голосовали ввиду его перегруженности». На самом деле, если штабные и департаментские эсеры обожали Керенского, как источник благ, то старые эсеры, связанные с массами, относились к нему без доверия и без уважения. Но без Керенского ни Исполнительный комитет, ни партия эсеров обойтись не могли: он был необходим, как соединительное звено коалиции.

В советском блоке ведущая роль принадлежала

меньшевикам: они изобретали решения, т. е. способы уклонения от действий. Но в государственном аппарате народники имели над меньшевиками явный перевес, который нагляднее всего выражался в доминирующем положении Керенского. Полукадет - полуэсер Керенский был в правительстве не представителем советов, как Церетели или Чернов, а живой связью между буржуазией и демократией. Церетели-Чернов представляли одну из сторон коалиции. Керенский был персональным воплощением самой коалиции. Церетели жаловался на преобладание у Керенского «личных моментов», не понимая, что они неотделимы от его политической функции. Сам Церетели, в качестве министра внутренних дел, издал циркуляр на тему о губернском комиссаре, который должен опираться на все местные «живые силы», т. е. на буржуазию и на советы, и проводить политику Временного правительства, не поддаваясь «партийным влияниям». Этот идеальный комиссар, возвышающийся над враждебными классами и партиями, чтобы в себе самом и в циркуляре почерпнуть свое призвание, — ведь это и есть Керенский губернского или уездного масштаба. Для увенчания системы необходим был независимый Всероссийский комиссар в Зимнем дворце. Без Керенского соглашательство было бы то же, что церковный купол без креста.

История возвышения Керенского полна поучительности. Министром юстиции он стал, благодаря февральскому восстанию, которого он боялся. Апрельская демонстрация «восставших рабов» сделала его военным и морским министром. Июльские бои, вызванные «немецкими агентами», поставили его во главе правительства. В начале сентября движение масс делает главу правительства еще и верховным главнокомандующим. Диалектика соглашательского режима и вместе с тем его злая ирония состояли в том, что давлением своим массы должны были поднять Керенского на самую высшую точку, прежде чем опрокинуть его.

Презрительно отмахиваясь от народа, давшего ему власть, Керенский тем более жадно ловил знаки одоб-

рения образованного общества. Еще в первые дни революции вождь московских кадетов, доктор Кишкин, рассказывал, вернувшись из Петрограда: Еслибы не Керенский, то не было бы того, что мы имеем. Золотыми буквами будет записано его имя на скрижалях истории». Либеральные хвалы стали одним из важнейших политических критериев Керенского. Но он не мог, да и не хотел, сложить просто свою популярность у ног буржуазии. Наоборот, он все больше входил во вкус потребности видеть все классы у собственных ног. «Мысль противопоставить и уравновесить между собой представительство буржуазии и демократии — свидетельствует Милюков — не чужда была Керенскому с самого начала революции». Этот курс естественно вытекал из всего его жизненного пути, пролегавшего между либеральной адвокатурой и подпольными кружками. Почтительно заверяя Бьюкенена, что «Совет умрет естественной смертью», Керенский на каждом шагу пугал своих буржуазных коллег гневом Совета. А в тех нередких случаях, когда лидеры Исполнительного комитета расходились с Керенским, он стращал их самой страшной из катастроф: отставкой либералов.

Когда Керенский повторял, что не хочет быть Маратом русской революции, это означало, что он отказывается применять суровые меры против реакции, но отнюдь не против «анархии». Такова, впрочем, и вообще мораль противников насилия в политике: они отвергают его, поскольку дело идет об изменении того, что существует; но для защиты порядка не останавливаются перед самой беспощадной расправой.

В период подготовки наступления на фронте Керенский стал особенно излюбленной фигурой имущих классов. Терещенко рассказывал направо и налево о том, как высоко наши союзники ценят «труды Керенского»; строгая к соглашателям кадетская «Речь» неизменно подчеркивала свое расположение к военному министру; сам Родзянко признавал, что «этот молодой человек... с удвоенной силой каждый день воскресает

для блага родины и созидательной работы». Такими отзывами либералы хотели заласкать Керенского. Но и по существу они не могли не видеть, что он работает на них. «...Подумайте, — спрашивал Ленин, — что было бы, еслиб Гучков стал отдавать приказы к наступлению, расформировывать полки, арестовывать солдат, запрещать съезды, кричать солдатам «ты», называть их «трусами» и т. д. А Керенский эту «роскошь» может себе еще позволить, — пока он не прожил того, правда, головокружительно быстро тающего доверия, которое народ отпустил ему в кредит»...

Наступление, поднявшее репутацию Керенского в рядах буржуазии, окончательно подорвало его популярность в народе. Крах наступления был по существу крахом Керенского в обоих лагерях. Но поразительное дело: «незаменимым» его делала отныне именно его двухсторонняя скомпрометированность. О роли Керенского в создании второй коалиции Милюков выражается так: «единственный человек, который был возможен», но, увы, «не тот, кто был нужен»... Руководящие либеральные политики никогда, впрочем, не брали Керенского слишком всерьез. А широкие круги буржуазии все больше возлагали на него ответственность за все удары судьбы. «Нетерпение патриотически настроенных групп» побуждало, по свидетельству Милюкова, искать сильного человека. Одно время на эту роль выдвигался адмирал Колчак. Водворение сильного человека у кормила «мыслилось в ином порядке, чем порядок переговоров и соглашений». Этому не трудно поверить. «На демократизм, на волю народную, на Учредительное Собрание, — пишет Станкевич о кадетской партии, — надежды были уже брошены: ведь муниципальные выборы по всей России дали подавляющее большинство социалистам... И начинаются судорожные поиски власти, которая могла бы не убеждать, а только приказывать». Точнее сказать: власти, которая могла бы взять революцию за горло.

В биографии Корнилова и в свойствах его личности нелегко выделить черты, которые оправдывали бы его

кандидатуру на пост спасителя. Генерал Мартынов, бывший в мирное время начальником Корнилова по службе, а во время войны разделявший с ним плен в одном из австрийских замков, характеризует Корнилова такими словами: «отличаясь упорным трудолюбием и большой самоуверенностью, он, по своим умственным способностям, был заурядным средним человеком, лишенным широкого кругозора». Мартынов записывает в актив Корнилову две черты: личную храбрость и бескорыстие. В той среде, где прежде всего заботились о личной безопасности и нещадно воровали, эти качества бросались в глаза. Стратегических способностей, прежде всего, способности оценить обстановку в целом, в ее материальных и моральных элементах, у Корнилова не было и в помине. «К тому же ему не доставало организаторского таланта, — говорит Мартынов, — а по запальчивости и неуравновешенности своего характера он был вообще мало способен к планомерным действиям». Брусилов, наблюдавший всю боевую деятельность своего подчиненного за время мировой войны, отзывался о нем с полным пренебрежением: «начальник лихого партизанского отряда — и больше ничего». Официальная легенда, которая создана была вокруг корниловской дивизии, диктовалась потребностью патриотического общественного мнения находить светлые пятна на мрачном фоне. «48-ая дивизия — пишет Мартынов — погибла лишь вследствие безобразного управления... самого Корнилова, который... не сумел организовать отступательное движение, а, главное, неоднократно менял свои решения и терял время»... В последний момент Корнилов бросил заведенную им в капкан дивизию на произвол судьбы, чтобы самому попытаться спастись от пленения. Однако, после четырех суток блужданий, незадачливый генерал сдался австрийцам и лишь впоследствии бежал из плена. «По возвращении в Россию, в беседах с разными газетными корреспондентами, Корнилов, разукрасил историю своего побега яркими цветами фантазии». Над прозаическими поправками, которые хорошо осведомлен-

ные свидетели вносят в легенду, у нас нет основания останавливаться. Повидимому, с этого момента у Корнилова появляется вкус к газетной рекламе.

До революции Корнилов был монархистом черносотенного оттенка. В плену при чтении газет он неоднократно говаривал, что «с удовольствием перевешал бы всех этих Гучковых и Милюковых». Но политические идеи занимали его, как вообще людей подобного склада, лишь постольку, поскольку касались непосредственно его самого. После февральского переворота Корнилов очень легко объявил себя республиканцем. «Он весьма плохо разбирался, — по отзыву того же Мартынова, — в скрещивавшихся интересах различных слоев русского общества, не знал ни партийных группировок, ни отдельных общественных деятелей». Меньшевики, эсеры и большевики сливались для него в одну враждебную массу, которая мешает командирам командовать, помещикам — пользоваться поместьями, фабрикантам — вести производство, купцам — торговать.

Комитет Государственной думы уже 2-го марта ухватился за генерала Корнилова, и за подписью Родзянко настаивал перед ставкой о назначении «доблестного, известного всей России героя» главнокомандующим войсками петроградского военного округа. На телеграмме Родзянко царь, уже переставший быть царем, надписал: «Исполнить». Так революционная столица получила своего первого красного генерала. В протоколах Исполнительного комитета от 10 марта записана о Корнилове фраза: «генерал старой закваски, который хочет закончить революцию». В первые дни генерал постарался, впрочем, показать себя с выгодной стороны и не без шума выполнил ритуал ареста царицы: это ставилось ему в плюс. Из воспоминаний назначенного им коменданта Царского Села полковника Кобылинского обнаруживается, однако, что Корнилов играл на два фронта. После представления царице, сдержанно рассказывает Кобылинский, «Корнилов сказал мне: «полковник, оставьте нас вдвоем. Сами идите и станьте за дверью». Я вышел. Спустя минут пять Корнилов по-

звал меня. Я вошел. Государыня подала мне руку»... Ясно: Корнилов отрекомендовал полковника, как друга. В дальнейшем мы узнаем о сценах объятий между царем и его «тюремщиком» Кобылинским. В качестве администратора, Корнилов оказался на своем новом посту из рук вон плох. «Его ближайшие сотрудники в Петрограде — пишет Станкевич — постоянно жаловались на его неспособность работать и руководить делом». В столице Корнилов задержался, однако, недолго. В апрельские дни он попытался, не без внушений со стороны Милюкова, учинить первое кровопускание революции, но натолкнулся на сопротивление Исполнительного комитета, вышел в отставку, получил в командование армию, затем — юго-западный фронт. Не дожидаясь легального введения смертной казни, Корнилов отдал приказ расстреливать дезертиров и выставлять трупы с надписями на дорогах, грозил суровыми карами крестьянам за нарушение права помещичьей собственности, сформировал ударные батальоны и при каждом подходящем случае грозил кулаком Петрограду. Это сразу окружило его имя ореолом в глазах офицерства и имущих классов. Но и многие комиссары Керенского сказали себе: иной надежды, кроме как на Корнилова, уже не остается. Через несколько недель боевой генерал с печальным опытом командования дивизией стал верховным главнокомандующим разлагающейся многомиллионной армии, которую Антанта хотела заставить сражаться до полной победы.

У Корнилова закружилась голова. Политическое невежество и узость горизонта делали его легкой добычей искателей приключений. Своенравно отстаивая свои личные прерогативы, «человек с сердцем льва и с мозгами барана», как характеризовали Корнилова генерал Алексеев, а вслед за ним Верховский, — легко поддавался чужим влияниям, если только они совпадали с голосом его честолюбия. Дружественный Корнилову Милюков отмечает в нем «детскую доверчивость к людям, умевшим ему польстить». Ближайшим вдохновителем верховного главнокомандующего, в скромном

звании ординарца, оказался некий Завойко — темная фигура из бывших помещиков, нефтяной спекулянт и авантюрист, который особенно импонировал Корнилову своим пером: у Завойко был действительно резвый стиль ни перед чем не останавливающегося проходимца. Ординарец был режиссером рекламы, автором «народной» биографии Корнилова, составителем докладных записок, ультиматумов и вообще тех документов, для которых, по выражению генерала, требовался «сильный, художественный стиль». К Завойко присоединился другой искатель приключений, Аладьин, бывший депутат первой Думы, проведший несколько лет в эмиграции, не вынимавший изо рта английской трубки и потому считавший себя специалистом по международным вопросам. Эти два стояли по правую руку Корнилова, связывая его с очагами контрреволюции. Левый фланг его прикрывали Савинков и Филоненко: всемерно поддерживая преувеличенное мнение генерала о самом себе, они заботились о том, чтоб он преждевременно не сделал себя невозможным в глазах демократии. «К нему шли и честные и бесчестные, и искренние и интриганы, и политические деятели, и воины, и авантюристы, — пишет патетический генерал Деникин, — и все в один голос говорили: Спаси». Какова была пропорция честных и бесчестных, установить нелегко. Во всяком случае Корнилов серьезно счел себя призванным «спасти» и оказался поэтому прямым конкурентом Керенского.

Соперники вполне искренне ненавидели друг друга. «Керенский, — по словам Мартынова, — усвоил себе высокомерный тон в отношениях со старшими генералами. Скромный труженик Алексеев и дипломатичный Брусилов позволяли себя третировать, но подобная тактика была неприменима к самолюбивому и обидчивому Корнилову, который... в свою очередь, свысока смотрел на адвоката Керенского». Более слабый из двух готов был на уступки и предлагал серьезные авансы. По крайней мере, в конце июля Корнилов говорил Деникину, что из правительственных кругов ему пред-

лагают войти в состав министерства. «Ну, нет! Эти господа слишком связаны с советами... Я им говорю: предоставьте мне власть, тогда я поведу решительную борьбу».

Под ногами Керенского почва колыхалась, как на торфяных болотах. Выхода он искал, как всегда, в области словесных импровизаций: собрать, провозгласить, заявить. Личный успех 21 июля, когда он поднялся над враждующими лагерями демократии и буржуазии, в качестве незаменимого, подсказал Керенскому идею Государственного совещания в Москве. То, что происходило в закрытом зале Зимнего дворца, должно было быть перенесено на открытую сцену. Пусть страна собственными глазами увидит, что все расползается по швам, если Керенский не возьмет в руки вожжи и кнут!

* * *

К участию в Государственном совещании привлечены были, по официальному списку, «представители политических, общественных, демократических, национальных, торгово-промышленных и кооперативных организаций, руководители органов демократии, высшие представители армии, научных учреждений, университетов, члены Государственной думы четырех составов». Намечалось около 1 500 участников, собралось около 2500, причем расширение происходило целиком в интересах правого крыла. Московская газета эсеров укоризненно писала по адресу своего правительства: «Против 150 представителей труда выступает 120 представителей торгово-промышленного класса. Против 100 крестьянских депутатов приглашаются 100 представителей землевладельцев. Против 100 представителей Совета явится 300 членов Государственной думы»... Газета партии Керенского выражала сомнение, чтобы такое Совещание дало правительству «ту опору, которой оно ищет».

Соглашатели ехали на Совещание, скрепя сердце: надо сделать, убеждали они друг друга, честную попытку договориться. Но как быть с большевиками?

Необходимо было во что бы то ни стало помешать им вмешаться в диалог демократии с имущими классами. Особым постановлением Исполнительного комитета партийные фракции лишались права выступать без согласия его президиума. Большевики решили огласить от имени партии декларацию и покинуть Совещание. Зорко подстерегавший каждое их движение президиум потребовал от них отказа от преступного замысла. Тогда большевики без колебаний вернули входные билеты. Они готовили иной, более внушительный ответ: слово было за пролетарской Москвой.

Почти с первых дней революции сторонники порядка противопоставляли при каждом подходящем случае спокойную «страну» неугомонному Петрограду. Созыв Учредительного Собрания в Москве составлял один из лозунгов буржуазии. Национал-либеральный «марксист» Потресов слал проклятья Петрограду, вообразившему себя «новым Парижем». Как будто жирондисты не грозили громами старому Парижу и не предлагали ему свести свою роль к $^1/_{83}$! Провинциальный меньшевик говорил в июне на съезде советов: «Какой-нибудь Новочеркасск гораздо вернее отражает условия жизни во всей России, чем Петроград». В сущности, соглашатели, как и буржуазия, искали опоры не в действительных настроениях «страны», а в ими же создаваемой утешительной иллюзии. Теперь, когда предстояло прощупать политический пульс Москвы, устроителей Совещания ожидало жестокое разочарование.

Чередовавшиеся с первых дней августа контр-революционные совещания, начиная со съезда землевладельцев и кончая Церковным собором, не только мобилизовали имущие круги Москвы, но подняли на ноги также рабочих и солдат. Угрозы Рябушинского, призывы Родзянко, братанье кадетов с казачьими генералами — все это происходило на глазах московских низов, все это большевистские агитаторы истолковывали по горячим следам газетных отчетов. Опасность контрреволюции приняла на этот раз осязательные, даже

персональные формы. По фабрикам и заводам прошла волна возмущения. «Если советы бессильны, — писала московская газета большевиков, — пролетариат должен сплотиться вокруг своих жизнеспособных организаций. На первое место выдвинулись профессиональные союзы, стоявшие уже в большинстве под большевистским руководством. Настроение на заводах было настолько враждебным Государственному совещанию, что идея всеобщей стачки, выдвинутая снизу, была принята почти без сопротивления на собрании представителей всех ячеек московской организации большевиков. Профессиональные союзы подхватили инициативу. Московский совет большинством 364 голосов против 304 высказался против стачки. Но так как на фракционных заседаниях рабочие меньшевики и эсеры голосовали за стачку и лишь подчинились партийной дисциплине, то решение давно не переизбиравшегося Совета, вынесенное, к тому же, против воли его действительного большинства, меньше всего могло остановить московских рабочих. Собрание правлений 41 профессионального союза постановило призвать рабочих к однодневной забастовке протеста. Районные советы оказались в большинстве на стороне партии и профессиональных союзов. Заводы тут же выдвинули требование перевыборов московского Совета, который не только отстал от масс, но и попал в острое противоречие с ними. В замоскворецком районном Совете, совместно с заводскими комитетами, требование замены депутатов, пошедших «против воли рабочего класса», собрало 175 голосов против 4 при 19 воздержавшихся!

Ночь накануне стачки была, тем не менее, тревожной ночью для московских большевиков. Страна шла по пути Петрограда, но отставала от него. Июльская демонстрация прошла в Москве неудачно: большинство не только гарнизона, но и рабочих не отважилось выйти на улицы против голоса Совета. Как будет на этот раз? Утро принесло ответ. Противодействие соглашателей не помешало забастовке стать могущественной демонстрацией враждебности к коалиции и пра-

вительству. Два дня тому назад газета московских промышленников самоуверенно писала: «пусть же скорее петроградское правительство едет в Москву, пусть вслушается в голос святынь, колоколов, святых башен кремлевских»... Сегодня голос святынь оказался заглушен — предгрозовой тишиной.

Член московского комитета большевиков Пятницкий писал впоследствии: «Забастовка... прошла великолепно. Не было света, трамвая, не работали фабрики, заводы, железнодорожные мастерские и депо, даже официанты в ресторанах бастовали». Милюков внес в эту картину яркий штрих: «Съехавшиеся на Совещание делегаты... не могли ехать на трамвае и завтракать в ресторане»: это позволяло им, по признанию либерального историка, тем лучше оценить силу не допущенных на Совещание большевиков. «Известия» московского Совета исчерпывающе определили значение манифестации 12 августа: «Вопреки постановлению советов... массы пошли за большевиками». 400 000 рабочих бастовало в Москве и ее окрестностях по призыву партии, которая в течение пяти недель не выходила из-под ударов, и вожди которой все еще скрывались в подполье или сидели в тюрьмах. Новый петроградский орган партии «Пролетарий», прежде, чем быть закрытым, успел поставить соглашателям вопрос: «Из Петрограда — в Москву, а из Москвы — куда?»

Хозяева положения сами должны были задавать себе этот вопрос. В Киеве, Костроме, Царицыне проведены были однодневные забастовки протеста, всеобщие или частичные. Агитация охватила всю страну. Везде, в самых глухих углах, большевики предупреждали, что Государственное совещание носит «явно выраженный характер контр-революционного заговора»: к концу августа содержание этой формулы до конца раскрылось на глазах всего народа.

Делегаты Совещания, как и буржуазная Москва, ждали выступления масс с оружием, стычек, боев, «августовских дней». Но выйти рабочим на улицу значило бы подставить себя под удары георгиевских кавале-

ров, офицерских отрядов, юнкеров, отдельных кавалерийских частей, горевших желанием взять реванш за стачку. Вызвать на улицу гарнизон значило бы внести в него раскол и облегчить дело контр-революции, которая стояла со взведенным курком. Партия на улицу не звала, и сами рабочие, руководимые правильным чутьем, избегали открытого столкновения. Однодневная стачка как нельзя лучше отвечала обстановке: ее нельзя было спрятать под сукно, как поступлено было на Совещании с декларацией большевиков. Когда город погрузился во тьму, вся Россия увидела большевистскую руку на выключателе. Нет, Петроград не изолирован! «В Москве, на патриархальность и смирение которой уповали многие, рабочие районы неожиданно оскалили зубы»: так определил значение этого дня Суханов. В отсутствии большевиков, но под знаком оскаленных зубов пролетарской революции оказалось вынуждено заседать коалиционное Совещание.

Москвичи острили, что Керенский приехал к ним «короноваться». Но на другой день прибыл из ставки с той же целью Корнилов, встреченный многочисленными делегациями, в том числе от Церковного собора. На перрон из подошедшего поезда выскочили текинцы в ярко-красных халатах, с обнаженными кривыми шашками, и выстроились в две шеренги. Восторженные дамы осыпали цветами героя, обходившего караул и депутации. Кадет Родичев закончил приветственную речь возгласом: «Спасите Россию, и благодарный народ увенчает вас». Раздались патриотические всхлипывания. Морозова, купчиха-миллионерша, опустилась на колени. Офицеры на руках вынесли Корнилова к народу. В то время, как главнокомандующий обходил георгиевских кавалеров, юнкеров, школу прапорщиков, сотню казаков, построившихся на площади перед вокзалом, Керенский, в качестве военного министра и соперника, принимал парад войск московского гарнизона. С вокзала Корнилова направился, по стопам царей, к Иверской иконе, где был отслужен молебен в присутствии эскорта мусульман-текинцев в гигантских папа-

хах. «Это обстоятельство — пишет о молебне казачий офицер Греков — еще более расположило к Корнилову всю верующую Москву». Контр-революция тем временем старалась завоевать улицу. С автомобилей щедро разбрасывали биографию Корнилова с его портретом. Стены были заклеены афишами, призывавшими народ на помощь герою. Как власть имущий, Корнилов принимал в своем вагоне политиков, промышленников, финансистов. Представители банков сделали ему доклад о финансовом положении страны. «Изо всех членов Думы, — многозначительно пишет октябрист Шидловский, — поехал к Корнилову в его поезд один Милюков, имевший с ним разговор, содержание которого мне неизвестно». Об этом разговоре мы узнаем позже от Милюкова то, что он сам сочтет нужным рассказать.

Подготовка военного переворота в это время шла уже полным ходом. За несколько дней до Совещания Корнилов приказал, под видом помощи Риге, подготовить для движения на Петроград 4 конных дивизии. Оренбургский казачий полк направлен был Ставкой в Москву «для поддержания порядка», но, по приказанию Керенского оказался задержан в пути. В своих позднейших показаниях следственной комиссии по делу Корнилова Керенский говорил: «Мы получили сообщение, что во время Московского совещания будет провозглашена диктатура». Таким образом в торжественные дни национального единства военный министр и верховный главнокомандующий занимались стратегическими перебросками друг против друга. Но декорум по возможности соблюдался. Отношения двух лагерей колебались между официально-дружественными заверениями и гражданской войной.

В Петрограде, несмотря на сдержанность масс, — июльский опыт не прошел бесследно, сверху, из штабов и редакций, с бешеной настойчивостью распространялись слухи о предстоящем восстании большевиков. Петроградские организации партии открытым воззванием предупредили массы о возможности провока-

ционных призывов со стороны врагов. Московский совет принял, тем временем, свои меры. Создан негласный революционный комитет из шести лиц, по два делегата от каждой из советских партий, включая и большевиков. Тайным приказом запрещено выставлять шпалеры из георгиевских кавалеров, офицеров и юнкеров по пути следования Корнилова. Большевикам, которым со времени июльских дней официальный доступ в казармы был закрыт, теперь с полной готовностью выдавали пропуска: без большевиков нельзя было овладеть солдатами. В то время, как на открытой сцене меньшевики и эсеры вели переговоры с буржуазией о создании крепкой власти против руководимых большевиками масс, за кулисами те же меньшевики и эсеры совместно с недопущенными ими на Совещание большевиками готовили массы к борьбе с заговором буржуазии. Вчера еще противившиеся демонстративной забастовке соглашатели сегодня звали рабочих и солдат готовиться к борьбе. Презрительное возмущение масс не мешало им откликаться на призыв с такой боевой готовностью, которая больше пугала соглашателей, чем радовала их. Вопиющая двойственность, принявшая характер почти откровенного вероломства на две стороны, была бы непостижимой, еслиб соглашатели продолжали сознательно далать свою политику; на самом деле они только претерпевали ее последствия.

Крупные события явно нависали в воздухе. Но в дни Совещания переворот, видимо, никем не намечался. Во всяком случае никакого подтверждения слухов, на которые ссылался позже Керенский, ни в документах, ни в соглашательской литературе, ни в мемуарах правого крыла нет. Дело шло пока только о подготовке. По словам Милюкова, — а его показание совпадает с дальнейшим развитием событий, — сам Корнилов наметил уже до Совещания для своих действий число: 27 августа. Эта дата оставалась, разумеется, известна немногим. Полупосвященные же, как всегда в таких случаях, приближали день великого события, и забегающие вперед слухи со всех сторон стекались к вла-

стям: казалось, что удар должен разразиться с часу на час.

Но именно возбужденное настроение буржуазных и офицерских кругов могло привести в Москве, если не к покушению на переворот, то к контр-революционным манифестациям с целью пробы сил. Еще более вероятна была попытка выделить из состава Совещания какой-либо конкурирующий с советами центр спасения родины: об этом правая печать говорила открыто. Но и до этого не дошло: помешали массы. Если у кое-кого и мелькала мысль приблизить час решающих действий, то под ударом стачки пришлось сказать себе: захватить революцию врасплох не удастся, рабочие и солдаты на чеку, надо отложить. Даже всенародное шествие к Иверской иконе, затевавшееся попами и либералами по соглашению с Корниловым, было отменено.

Как только выяснилось, что непосредственной опасности нет, эсеры и меньшевики поспешили сделать вид, что ничего особенного не случилось. Они отказались даже возобновить большевикам пропуска в казармы, несмотря на то, что оттуда продолжали настойчиво требовать большевистских ораторов. «Мавр выполнил свое дело», должны были с хитрым видом говорить друг другу Церетели, Дан и Хинчук, тогдашний председатель московского Совета. Но большевики совсем не собирались переходить на положение мавра. Свое дело они еще только собирались выполнить.

* * *

Каждое классовое общество нуждается в единстве правительственной воли. Двоевластие есть по существу своему режим социального кризиса: знаменуя высшую расколотость нации, оно включает в себя потенциальную или открытую гражданскую войну. Никто более не хотел двоевластия. Наоборот, все жаждали крепкой, единодушной, «железной» власти. Июльское правительство Керенского было наделено неограниченными

полномочиями. Замысел состоял в том, чтоб над демократией и над буржуазией, парализующими друг друга, поставить, по обоюдному согласию, «настоящую» власть. Идея вершителя судеб, возвышающегося над классами, есть ни что иное, как идея бонапартизма.

Если симметрично воткнуть две вилки в пробку, то она, при очень значительных колебаниях в ту и другую сторону, удержится даже на булавочной головке: это и есть механическая модель бонапартистского суперарбитра. Степень солидности такой власти, если отвлечься от международных условий, определяется устойчивостью равновесия антагонистических классов внутри страны. В середине мая Троцкий определил Керенского в заседании петербургского Совета, как «математическую точку русского бонапартизма». Бестелесность характеристики показывает, что дело шло не о личности, а о функции. В начале июля, как мы помним, все министры, по указанию своих партий, подали в отставку, предоставляя Керенскому создать власть. 21 июля этот опыт повторился в более демонстративной форме. Враждебные стороны взывали к Керенскому, каждая видела в нем часть самой себя, обе клялись ему в верности. Троцкий писал из тюрьмы: «Руководимый политиками, которые всего боятся, Совет не смел брать власть. Представительница всех клик собственности, кадетская партия, еще не могла взять власть. Оставалось искать великого примирителя, посредника, третейского судью».

В опубликованном Керенским от собственного имени манифесте к народу провозглашалось: «я, как глава правительства... не считаю себя в праве останавливаться перед тем, что изменения (в построении власти)... увеличат мою ответственность в делах верховного управления». Это беспримесная фразеология бонапартизма. И все же, несмотря на поддержку справа и слева, дело дальше фразеологии так и не пошло. В чем же причина?

Чтоб маленький корсиканец мог подняться над молодой буржуазной нацией, нужно было, чтоб револю-

12*

ция разрешила предварительно свою основную задачу: наделение крестьян землею, и чтоб на новой социальной основе сложилась победоносная армия. Дальше революции в 18 веке некуда было итти: она могла лишь откатываться назад. В этих откатах под удар попадали, однако, ее основные завоевания. Их надо было охранить во что бы то ни стало. Углублявшийся, но еще крайне незрелый антагонизм между буржуазией и пролетариатом держал потрясенную до основ нацию в крайнем напряжении. Национальный «судья» в этих условиях был необходим. Наполеон обеспечивал крупным буржуа — возможность наживаться, крестьянам — их участки, крестьянским сыновьям и босякам — возможность пограбить на войне. Судья держал в руках саблю и сам же выполнял обязанности судебного пристава. Бонапартизм первого Бонапарта был солидно обоснован.

Переворот 1848 года не дал и не мог дать крестьянам земли: это была не великая революция, сменяющая один социальный режим другим, но политическая перетасовка на основах того же социального режима. Наполеон III не имел за собой победоносной армии. Двух главнейших элементов классического бонапартизма не было налицо. Но были другие благоприятные условия, не менее действительные. Выросший за полвека пролетариат показал в июне свою грозную силу; однако, взять власть он оказался еще неспособен. Буржуазия боялась пролетариата и своей кровавой победы над ним. Крестьянин-собственник испугался июньского восстания и хотел, чтоб государство оградило его от раздельщиков. Наконец, могущественный промышленный подъем, с небольшими заминками тянувшийся в течение двух десятилетий, открывал буржуазии небывалые источники обогащения. Этих условий оказалось достаточно для эпигонского бонапартизма.

В политике Бисмарка, тоже возвышавшегося «над классами», были, как не раз указывалось, несомненные бонапартистские черты, хоть и под покровами легитимизма. Устойчивость бисмарковского режима обес-

печивалась тем, что, возникнув после импотентной революции, он дал разрешение или полуразрешение такой великой национальной задачи, как немецкое единство, принес победы в трех войнах, контрибуцию и могущественный капиталистический расцвет. Этого хватило на десятки лет.

Беда русских кандидатов в Бонапарты была совсем не в том, что они не походили ни на первого Наполеона, ни даже на Бисмарка: история умеет пользоваться суррогатами. Но они имели против себя великую революцию, еще не разрешившую своих задач и не исчерпавшую своих сил. Крестьянина, еще не получившего земли, буржуазия заставляла воевать за помещичью землю. Война давала одни поражения. О промышленном подъеме не было и речи: наоборот, разруха совершала все новые опустошения. Если пролетариат отступил, то только для того, чтоб плотнее сомкнуть ряды. Крестьянство только раскачивалось для последнего натиска на господ. Угнетенные национальности переходили в наступление против руссификаторского деспотизма. В поисках мира армия все теснее примыкала к рабочим и их партии. Низы сплачивались, верхи слабели. Равновесия не было. Революция оставалась полнокровной. Немудрено, если худосочным оказался бонапартизм.

Маркс и Энгельс сравнивали роль бонапартистского режима в борьбе между буржуазией и пролетариатом с ролью старой абсолютной монархии в борьбе между феодалами и буржуазией. Черты сходства несомненны, но они прекращаются как раз там, где выступает наружу социальное содержание власти. Роль третейского судьи между элементами старого и нового общества была в известный период осуществима, поскольку оба режима эксплоатации нуждались в своей защите от эксплоатируемых. Но уже между феодалами и крепостными крестьянами не могло быть «беспристрастного» посредничества. Примиряя интересы помещичьего землевладения и молодого капитализма, царское самодержавие в отношении крестьян высту-

пало не как посредник, а как уполномоченный эксплоататорских классов.

И бонапартизм не был третейским судьею между пролетариатом и буржуазией: он являлся на самом деле наиболее концентрированной властью буржуазии над пролетариатом. Взобравшись с сапогами на шею нации, очередной Бонапарт не может не вести политику охранения собственности, ренты, прибыли. Особенности режима не идут дальше способов охранения. Сторож не стоит у ворот, а сидит на крыше дома; но функция его та же. Независимость бонапартизма в огромной степени внешняя, показная, декоративная: символом ее является императорская мантия.

Умело эксплоатируя страх буржуа перед рабочим, Бисмарк во всех своих политических и социальных реформах неизменно оставался уполномоченным имущих классов, которым он никогда не изменял. Зато возрастающее давление пролетариата несомненно позволяло ему возвышаться над юнкерством и над капиталистами, в качестве тяжеловесного бюрократического арбитра: в этом и состояла его функция.

Советский режим допускает очень значительную независимость власти по отношению к пролетариату и крестьянству, следовательно и «посредничество» между ними, поскольку интересы их, хотя и порождают трения и конфликты, не являются, однако, непримиримыми в своей основе. Но не легко было бы найти «беспристрастного» третейского судью между советским государством и буржуазным, по крайней мере, в сфере основных интересов обеих сторон. Примкнуть к Лиге наций препятствуют Советскому Союзу на интернациональной арене те самые социальные причины, которые в национальных рамках исключают возможность действительного, а не показного «беспристрастия» власти в борьбе между буржуазией и пролетариатом.

Не имея сил бонапартизма, керенщина имела все его пороки. Она возвышалась над нацией только для того, чтоб разлагать ее собственным бессилием. Если на словах вожди буржуазии и демократии обещались

«слушаться» Керенского, то на деле всемогущий арбитр слушался Милюкова и особенно Бьюкенена. Керенский вел империалистскую войну, охранял помещичью собственность от покушений, откладывал социальные реформы до лучших времен. Если его правительство было слабым, то это по той же причине, по которой буржуазия вовсе не могла поставить у власти своих людей. Однако, при всем ничтожестве «правительства спасения» его консервативно-капиталистический характер явно возрастал вместе с ростом его «независимости».

Понимание того, что режим Керенского есть неизбежная для данного периода форма буржуазного господства, не исключало со стороны буржуазных политиков ни крайнего недовольства Керенским, ни подготовки к тому, чтоб как можно скорее освободиться от него. В среде имущих классов не было разногласий насчет того, что национальному арбитру, выдвинутому мелкобуржуазной демократией, необходимо противопоставлять фигуру из своей собственной среды. Почему именно Корнилова? Кандидат в Бонапарты должен был соответствовать характеру русской буржуазии, запоздалой, оторванной от народа, упадочной, бездарной. В армии, знавшей почти одни унизительные поражения, нелегко было найти популярного генерала. Корнилов оказался выдвинут путем исключения остальных кандидатов, еще менее пригодных.

Ни серьезно объединиться в коалиции, ни сойтись на одном кандидате в спасители соглашатели с либералами, таким образом, не могли: им мешали неразрешенные задачи революции. Либералы не доверяли демократам. Демократы не доверяли либералам. Керенский, правда, широко раскрывал объятия буржуазии; но Корнилов давал недвусмысленно понять, что при первой возможности свернет демократии шейные позвонки. Неотвратимо вытекая из предшествовавшего развития, столкновение Корнилова и Керенского являлось переводом противоречий двоевластия на взрывчатый язык личных честолюбий.

Как в среде петроградского пролетариата и гарнизона образовался к началу июля нетерпеливый фланг, недовольный слишком осторожной политикой большевиков, так в среде имущих классов накопилось к началу августа нетерпеливое отношение к выжидательной политике кадетского руководства. Это настроение выражалось, например, на кадетском съезде, где раздавались требования свергнуть Керенского. Еще резче политическое нетерпение проявлялось вне рамок кадетской партии, в военных штабах, где жили в постоянном страхе пред солдатами, в банках, где утопали в волнах инфляции, в поместьях, где над дворянскими головами загорались кровли. «Да здравствует Корнилов!» стало лозунгом надежды, отчаянья, жажды мести.

Соглашаясь во всем с программой Корнилова, Керенский спорил относительно сроков: «нельзя все сразу». Признавая необходимость отделаться от Керенского, Милюков возражал нетерпеливым: «сейчас еще, пожалуй, рано». Как из порыва петроградских масс выросло полувосстание в июле, так из нетерпения собственников выросло корниловское восстание в августе. И как большевики увидели себя вынужденными стать на почву вооруженной демонстрации, чтоб обеспечить, если возможно, ее успех и во всяком случае оградить ее от разгрома, так кадеты оказались вынуждены, с теми же самыми целями, стать на почву корниловского восстания. В этих пределах наблюдается удивительная симметрия. Но в рамках этой симметрии — полная противоположность целей, методов и — результатов. Она раскроется перед нами полностью в ходе событий.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ В МОСКВЕ

Если символ есть концентрированный образ, то революция — самая великая мастерица символов, ибо все явления и отношения она преподносит в концентрированном виде. Дело только в том, что символика революции слишком грандиозна и плохо вмещается в рамки индивидуального творчества. Оттого так бедно художественное воспроизведение наиболее массивных драм человечества.

Московское Государственное совещание закончилось заранее обеспеченным провалом. Оно ничего не создало, ничего не разрешило. Зато оно оставило историку неоценимый, хотя и негативный отпечаток революции, на котором свет выглядит тенью, слабость парадирует, как сила, жадность — как бескорыстие, вероломство — как высшая доблесть. Самая могущественная партия революции, которая уже через десять недель должна была притти к власти, оказалась оставлена за порогом Совещания, как не заслуживающая внимания величина. Зато всерьез принималась никому неведомая «партия эволюционного социализма». Керенский выступал, как воплощение силы и воли. О коалиции, целиком исчерпанной в прошлом, говорили, как о спасительном средстве будущего. Ненавидимый солдатскими миллионами Корнилов приветствовался, как излюбленный вождь армии и народа. Мо-

нархисты и черносотенцы расписывались в любви к Учредительному собранию. Все те, которым предстояло вскоре сойти с политической арены, как бы условились в последний раз разыграть свои лучшие роли на театральных подмостках. Они изо всех сил порывались сказать: вот чем мы хотели бы быть, вот чем мы могли бы быть, если бы нам не мешали. Но им мешали: рабочие, солдаты, крестьяне, угнетенные национальности. Десятки миллионов «восставших рабов» не давали им проявить свою верность революции. В Москве, где они искали убежища, их преследовала по пятам стачка. Гонимые «темнотой», «невежеством», «демагогией», две с половиной тысячи человек, наполнявших театр, молчаливо обязались друг перед другом не нарушать сценической иллюзии. О стачке не было речи. Большевиков старались не называть по имени. Плеханов лишь вскользь упомянул «печальной памяти Ленина», точно речь шла об окончательно ликвидированном противнике. Характер негатива был таким образом выдержан до конца: в царстве полузагробных теней, выдававших себя за «живые силы страны», подлинно народный вождь не мог фигурировать иначе, как в качестве политического покойника.

«Блестящий зрительный зал, — пишет Суханов, — довольно резко разделялся на две половины: направо располагалась буржуазия, а налево — демократия. Направо, в партере и в ложах, видно было не мало генеральских мундиров, а налево — прапорщиков и нижних чинов. Против сцены, в бывшей царской ложе, разместились высшие дипломатические представители союзных и дружественных держав . . . Наша группа, крайняя левая, занимала небольшой уголок партера». Крайней левой, за отсутствием большевиков, оказались единомышленники Мартова.

В четвертом часу на открытой сцене появился Керенский в сопровождении двух молодых офицеров, армейца и моряка. Знаменуя могущество революционной власти, они все время стояли, как вкопанные, за спиною председателя. Чтоб не раздражать правых име-

нем республики, — так было сговорено заранее, — Керенский приветствовал «представителей земли русской» от имени правительства «государства российского». «Основным тоном речи, — пишет либеральный историк, — вместо тона достоинства и уверенности, под влиянием последних дней . . . оказался тон плохо скрытого страха, который оратор как бы хотел подавить в самом себе повышенными тонами угрозы». Не называя прямо большевиков, Керенский начал, однако, с устрашения по их адресу: новые попытки посягнуть на власть «будут прекращены железом и кровью». В бурных аплодисментах слились оба крыла Совещания. Дополнительная угроза по адресу еще не прибывшего Корнилова: «какие бы и кто бы мне ультиматумы ни предъявлял, я сумею подчинить его воле верховной власти и мне, верховному главе ее» — хотя и вызвала восторженные аплодисменты, но уже только со стороны левой половины Совещания. Керенский снова и снова возвращается к себе, как «верховному главе»: он нуждается в этом напоминании. «Вам здесь, приехавшим с фронта, вам говорю я, ваш военный министр и ваш верховный вождь . . . нет воли и власти в армии выше воли и власти Временного правительства». Демократия в восторге от этих холостых выстрелов угрозы, ибо верит, что таким образом избегнута будет необходимость прибегнуть к свинцу.

«Все лучшие силы народа и армии — уверяет глава правительства — торжество русской революции связывали с торжеством нашим на фронте. Но надежды наши были растоптаны, и вера наша была оплевана». Таков лирический итог июньского наступления. Он, Керенский, собирается во всяком случае воевать до победы. По поводу опасности мира за счет интересов России — этот путь намечало мирное предложение папы от 4-го августа — Керенский воздает хвалу благородной верности союзников. «И я от имени великого народа русского скажу только одно: другого мы не ожидали и ожидать не могли». Овация по адресу ложи союзных дипломатов поднимает на ноги всех, кроме

некоторых интернационалистов и тех единичных большевиков, которые прошли от профессиональных союзов. Из ложи офицеров раздается окрик: «Мартов, встать!» У Мартова, к чести его, хватило твердости не стать на колени перед бескорыстием Антанты.

По адресу угнетенных народностей России, стремившихся устроить по новому свою судьбу, Керенский посылал нравоучения, переплетавшиеся с угрозами. «Изнывая и погибая в цепях царского самодержавия, — хвалился он чужими цепями, — мы не щадили нашей крови во имя блага всех народов». Из чувства благодарности угнетенным национальностям рекомендовалось терпеть режим бесправия.

Где выход? «. . . Вы чувствуете ли в себе это великое горение . . . вы чувствуете ли в себе силу и волю к порядку, жертвам и труду? . . . явите ли вы здесь зрелище спаянной великой национальной силы?» . . . Эти слова произносились в день московской стачки протеста и в часы загадочного передвижения конницы Корнилова. «Мы душу свою убьем, но государство спасем». Больше ничего не могло предъявить народу правительство революции.

«Многие провинциалы — пишет Милюков — видели в этой зале Керенского впервые, — и ушли отчасти разочарованные, отчасти возмущенные. Перед ними стоял молодой человек с измученным, бледным лицом в заученной позе актера . . . Этот человек как будто хотел кого-то устрашить и на всех произвести впечатление силы и власти в старом стиле. В действительности он возбуждал только жалость».

Выступления других членов правительства обнаруживали не столько личную несостоятельность, сколько банкротство системы соглашательства. Великой идеей, которую министр внутренних дел Авксентьев вынес на суд страны, был институт разъездных комиссаров. Министр промышленности увещевал предпринимателей ограничиваться скромными прибылями. Министр финансов обещал снижение прямого обложения имущих классобв при повышении косвенных налогов.

Правое крыло имело неосторожность покрыть эти слова бурными аплодисментами, в которых Церетели, не без застенчивости, обнаружил недостаток жертвенного порыва. Министру земледелия Чернову приказано было вовсе молчать, дабы не дразнить союзников справа призраком экспроприации земли. В интересах национального единства решено было притвориться, будто аграрного вопроса не существует. Соглашатели не мешали. Подлинный мужицкий голос не раздался с трибуны. Между тем, как раз в эти недели августа аграрное движение раскачивалось во всей стране, чтоб осенью превратиться в непреодолимую крестьянскую войну.

После дневного перерыва, ушедшего на разведку и мобилизацию сил с обеих сторон, заседание 14-го открылось в атмосфере крайнего напряжения. При появлении Корнилова в ложе правая часть Совещания устраивает ему бурную встречу. Левая половина почти полностью сидит. Крики: «встать» дополняются из офицерской ложи грубыми ругательствами. При появлении правительства левая устраивает Керенскому долгую овацию, в которой, как свидетельствует Милюков, «на этот раз так же демонстративно не участвовала правая, оставшаяся сидеть». В этих враждебно сталкивавшихся волнах аплодисментов слышались близкие столкновения гражданской войны. Между тем на эстраде, под именем правительства, продолжали восседать представители обеих половин расколотого зала, а председатель, принимавший втихомолку военные меры против главнокомандующего, ни на минуту не забывал воплощать в своей фигуре «единство народа русского». В стиле этой роли Керенский возгласил: «Предлагаю всем, в лице присутствующего здесь верховного главнокомандующего, приветствовать мужественно за свободу и родину погибающую армию». По адресу этой самой армии на первом заседании было сказано: «надежды наши были растоптаны, и вера наша была оплевана». Но все равно, спасительная фраза найдена: зал поднимается и бурно рукопле-

щет Корнилову и Керенскому. Единство нации еще раз спасено!

Взятые за горло исторической безысходностью господствующие классы решили прибегнуть к средствам исторического маскарада. Им казалось, очевидно, что если они еще раз предстанут перед народом во всех своих перевоплощениях, то станут от этого значительнее и сильнее. В качестве экспертов национальной совести выведены были на сцену представители всех четырех Государственных дум. Столь острые некогда внутренние разногласия исчезли, все партии буржуазии без труда объединились на «внепартийной и внеклассовой программе» общественных деятелей, посылавших несколько дней тому назад приветственную телеграмму Корнилову. От имени первой Думы — 1906 год! — кадет Набоков отвергал «самое предположение о возможности сепаратного мира». Это не помешало либеральному политику рассказать о своих воспоминаниях, что он и с ним многие руководящие кадеты в сепаратном мире видели единственный путь спасения. Точно также и представители остальных царских Дум прежде всего требовали от революции дани кровью.

«Ваше слово, генерал!» Заседание подходит к критическому моменту. Что скажет верховный главнокомандующий, которого Керенский настойчиво, но тщетно уговаривал ограничиться одним лишь очерком военного положения? Милюков пишет в качестве очевидца: «Низенькая, приземистая, но крепкая фигура человека с калмыцкой физиономией, с острым пронизывающим взглядом маленьких, черных глаз, в которых вспыхивали злые огоньки, появилась на эстраде. Зал дрожит от аплодисментов. Все стоят на ногах, за исключением . . . солдат». По адресу не вставших делегатов несутся справа крики негодования, вперемежку с ругательствами. «Хамы ! . . Встать!» Со скамей, где не встают, доносится возглас: «Холопы!» Шум переходит в бурю. Керенский предлагает спокойно выслушать «первого солдата Временного правительства».

Резко, отрывисто, повелительно, как и полагается генералу, собирающемуся спасать страну, Корнилов прочитал записку, написанную для него авантюристом Завойко под диктовку авантюриста Филоненко. По выдвинутой программе записка была, однако, значительно умереннее того замысла, вступлением к которому она являлась. Состояние армии и положение на фронте Корнилов не стеснялся рисовать в самых мрачных красках, с явным расчетом испугать. Центральным местом речи был военный прогноз: «...Враг уже стучится в ворота Риги, и если только неустойчивость нашей армии не даст нам возможности удержаться на побережье Рижского залива, дорога к Петрограду будет открыта». Корнилов наносит здесь с размаху удар правительству: «Целым рядом законодательных мер, проведенных после переворота людьми, чуждыми духу и пониманию армии, эта армия была превращена в безумнейшую толпу, дорожащую исключительно своей жизнью». Ясно: для Риги спасения нет, и главнокомандующий открыто, с вызовом, говорит об этом на весь мир, как бы приглашая немцев взять беззащитный город. А Петроград? Мысль Корнилова такова: если я получу возможность выполнить мою программу, то Петроград, может быть, будет еще спасен; но торопитесь! Московская газета большевиков писала: «Что это — предупреждение или угроза? Тарнопольское поражение сделало Корнилова главнокомандующим. Сдача Риги может сделать его диктатором». Эта мысль гораздо полнее совпадала с замыслом заговорщиков, чем мог предполагать наиболее подозрительный из большевиков.

Церковный собор, участвовавший в пышной встрече Корнилова, выслал теперь на поддержку главнокомандующему одного из наиболее реакционных своих членов, архиепископа Платона. «Вы видели сейчас убийственную картину армии, — говорил этот представитель живых сил. — И я взошел сюда, чтобы с этого места сказать России: не смущайся, дорогая, не бойся, родная... Если надо будет чудо для спасения

России, то по молитвам церкви бог совершит это чудо»... Для охраны церковных владений православные владыки предпочитали казачьи команды. Центр речи был, однако, не в этом. Архиепископ жаловался на то, что в докладах членов правительства он «ни разу не слышал, даже и обмолвкой, слово *бог*». Как Корнилов обвинял правительство революции в разложении армии, так Платон обличал «тех, которые возглавляют сейчас наш боголюбивый народ», в преступном безверии. Церковники, которые извивались во прахе перед Распутиным, осмеливались ныне публично исповедывать правительство революции.

От 12-ти казачьих войск оглашал декларацию генерал Каледин, имя которого упорно называлось в тот период среди наиболее крепких имен военной партии. «Не желавший, не умевший угождать толпе», Каледин, по словам одного из его панегиристов, «разошелся на этой почве с генералом Брусиловым и, как несоответствующий духу времени, отставлен от командования армией». Вернувшись в начале мая на Дон, казачий генерал был вскоре выбран атаманом войска донского. Ему то, как главе самого старого и сильного из казачьих войск, поручено было предъявить программу привиллегированных казачьих верхов. Отбрасывая подозрения в контр-революционности, декларация неучтиво напоминала министрам-социалистам, как в минуту опасности они пришли к казакам за помощью против большевиков. Угрюмый генерал неожиданно подкупил сердца демократов, произнеся громогласно слово, которого не смел сказать вслух Керенский: *республика*. Большинство зала, и особенно ревностно министр Чернов, аплодировало казачьему генералу, который вполне серьезно требовал от республики того, чего не в силах оказалось больше давать самодержавие. Наполеон предсказывал, что Европа станет казацкой или республиканской. Каледин соглашался видеть Россию республиканской, под условием, чтоб она не перестала быть казацкой. Прочитав слова: «пораженцам не должно быть места в правительстве», не-

благодарный генерал дерзко повернулся в сторону злополучного Чернова. Отчет либеральной газеты отмечает: «Все взоры устремлены на Чернова, низко склонившегося над столом». Не связанный официальным положением Каледин до конца развернул военную программу реакции: комитеты упразднить, власть начальников восстановить, тыл и фронт уравнять, права солдат пересмотреть, т. е. свести на нет. Аплодисменты справа слились с протестами и даже свистом слева. Учредительное собрание «в интересах спокойной и планомерной работы» должно быть созвано в Москве! Речь, выработанную до Совещания, Каледин оглашал через день после всеобщей стачки, когда насмешкой звучала фраза о «спокойной работе» в Москве. Выступление казачьего республиканца довело в конце концов температуру зала до кипения и побудило Керенского проявить авторитет: «не подобает в настоящем собрании кому бы то ни было обращаться с требованиями к правительству». Но тогда зачем созывалось Совещание? Пуришкевич, популярный черносотенец, кричал с места: «Мы на роли статистов у правительства!» Два месяца тому назад этот погромщик не смел еще высовывать головы.

Официальную декларацию демократии, бесконечный документ, который пытался дать ответы на все вопросы, не отвечая ни на один из них, оглашал председатель Центрального исполнительного комитета Чхеидзе, встреченный горячими приветствиями левых. Возгласы: «Да здравствует вождь русской революции!» должны были смутить этого скромного кавказца, который меньше всего чувствовал себя вождем. В тоне самооправдания демократия заявляла, что «не стремилась к власти, не желала монополии для себя». Она готова поддержать всякую власть, способную охранять интересы страны и революции. Но нельзя упразднять советы: только они спасли страну от анархии. Нельзя уничтожать войсковые комитеты: только они способны обеспечить продолжение войны. Привиллегированные классы должны кое-чем поступиться в интересах

целого. Однако, интересы помещиков должны быть ограждены от захватов. Разрешение национальных вопросов надлежит отложить до Учредительного собрания. Нужно, однако, провести наиболее неотложные реформы. Об активной политике мира декларация не говорила ни слова. В общем документ был как бы специально рассчитан на то, чтобы, не давая удовлетворения буржуазии, вызвать негодование масс.

В уклончивой и бесцветной речи представитель крестьянского Исполнительного комитета напомнил о лозунге «земля и воля», под которым «погибали наши лучшие борцы». Отчет московской газеты отмечает эпизод, выпавший из официальной стенограммы: «весь зал встает и устраивает бурную овацию сидящим в ложе шлиссельбуржцам». Удивительная гримаса революции! «Весь зал» чествует тех из бывших политических каторжан, которых монархия Алексеева, Корнилова, Каледина, епископа Платона, Родзянко, Гучкова, в сущности и Милюкова, не успела додушить в своей тюрьме. Палачи или их соучастники хотят украсить себя мученическим ореолом собственных жертв.

Пятнадцать лет перед тем вожди правой половины зала праздновали двухсотлетие завоевания шлиссельбургской крепости Петром I. «Искра», газета революционного крыла социалдемократии, писала в те дни: «Сколько негодования будит в груди это патриотическое празднество, — на проклятом острове, который был местом казни Минакова, Мышкина, Рогачева, Штромберга, Ульянова, Генералова, Осипанова, Андрюшкина и Шевырева; в виду каменных мешков, в которых Клименко удушил себя веревкой, Грачевский облил себя керосином и сжег, Софья Гинсбург заколола себя ножницами; под стенами, в которых Щедрин, Ювачев, Конашевич, Похитонов, Игнатий Иванов, Арончик и Тихонович погрузились в безысходную ночь безумия, а десятки других погибли от истощения, цынги и чахотки. Предавайтесь же патриотическим вакханалиям, ибо сегодня вы еще господа в Шлиссельбурге!» Эпиграфом «Искры» были слова из письма

каторжан-декабристов Пушкину: «из искры возгорится пламя». Оно возгорелось. Оно испепелило монархию и ее шлиссельбургскую каторгу. И вот сегодня в зале Государственного совещания вчерашние тюремщики устраивали овацию вырванным революцией из их когтей жертвам. Но самым парадоксальным было все же то, что тюремщики и арестанты действительно сливались в чувстве общей ненависти к большевикам, к Ленину, бывшему вдохновителем «Искры», к Троцкому, автору приведенных выше строк, к мятежным рабочим и непокорным солдатам, заполнявшим тюрьмы республики.

Национал-либерал Гучков, председатель третьей Думы, не допускавший в свое время левых депутатов в комиссию обороны и за это назначенный соглашателями первым военным министром революции, произнес наиболее интересную речь, в которой ирония, однако, тщетно боролась с отчаянием: «Но почему же... почему, — говорил он, намекая на слова Керенского, — представители власти пришли к нам со «смертельной тревогой» и «в смертельном ужасе», с какими-то болезненными, я бы сказал, истерическими криками отчаянья, и почему эта тревога, и этот ужас, и эти крики, почему они находят и в нашей душе ту же щемящую боль предсмертной тоски?» От имени тех, которые раньше владычествовали, командовали, миловали и карали, крепкий московский купец исповедывался публично в чувствах «предсмертной тоски». «Эта власть, — говорил он — тень власти». Гучков был прав. Но и сам он, бывший партнер Столыпина, был только собственной тенью.

Как раз в день открытия Совещания в газете Горького появился рассказ о том, как Родзянко наживался на поставке негодных болванок для винтовочных лож. Несвоевременное разоблачение, исходившее от Карахана, будущего советского дипломата, тогда еще никому неизвестного, не помешало камергеру с достоинством выступить на Совещании в защиту патриотической программы военных поставщиков. Все беды

проистекали из того, что Временное правительство не пошло рука об руку с Государственной думой, «единственным в России законным вполне и всенародным представительством». Это показалось уже слишком. На левых скамьях засмеялись. Раздались крики: «3 июня»! Когда-то эта дата — 3 июня 1907 года, день попрания октроированной конституции, — горела, как клеймо каторжника, на лбу монархии и поддерживавших ее партий. Теперь она превратилась в блеклое воспоминание. Но и сам громыхающий басом Родзянко, огромный и внушительный, казался на трибуне скорее живым монументом прошлому, чем политической фигурой.

Атакам изнутри правительство противопоставляет столь ко времени пришедшее поощрение извне. Керенский оглашает приветственную телеграмму американского президента Вильсона, обещающую «всяческую материальную и моральную поддержку правительству России для успеха объединяющего оба народа общего дела, в котором они не преследуют никаких эгоистических целей». Новые аплодисменты перед дипломатической ложей не могут заглушить тревогу, вызванную в правой половине вашингтонской телеграммой: похвала бескорыстию слишком явно означала для русских империалистов рецепт голодной диэты.

От имени соглашательской демократии Церетели, ее признанный вождь, защищал советы и армейские комитеты, как защищают из чести заранее потерянное дело. «Нельзя еще убирать эти леса, когда здание свободной революционной России еще не достроено». После переворота «народные массы, в сущности говоря, никому не верили, кроме как самим себе»: только усилия соглашательских советов дали имущим классам возможность удержаться наверху, хотя бы на первых порах и без привычного комфорта. Церетели вменял в особую заслугу советам «передачу коалиционному правительству всех государственных функций»: разве эта жертва «была вырвана у демократии силою?» Оратор был похож на коменданта крепости, который

публично хвалится тем, что сдал врученную ему твердыню без боя... А в июльские дни — «кто тогда стал грудью на защиту страны от анархии?» Справа раздался голос: «казаки и юнкера». Как удар хлыста, врезались эти два слова в демократический поток общих мест. Буржуазное крыло Совещания прекрасно понимало спасительность услуг, оказанных соглашателями. Но благодарность не есть политическое чувство. Буржуазия спешила делать свои выводы из оказанных ей демократией услуг: глава эсеров и меньшевиков заканчивалась; в порядок дня становилась глава казаков и юнкеров.

С особой осторожностью Церетели подошел к проблеме власти. За последние месяцы произошли выборы в городские думы и, отчасти, земства, на основе всеобщего избирательного права. И что же? Представительства демократических самоуправлений оказались на государственном Совещании в левой группе, вместе с советами, под руководством тех же партий, эсеров и меньшевиков. Если кадеты намерены настаивать на своем требовании: ликвидировать какую бы то ни было зависимость правительства от демократии, то к чему же тогда Учредительное собрание? Церетели лишь наметил контуры этого рассуждения; ибо, доведенное до конца, оно осуждало политику коалиции с кадетами, как противоречащую даже и формальной демократии. Революцию обвиняют в злоупотреблении речами о мире? Но разве же имущие классы не понимают, что лозунг мира есть сейчас единственное средство для ведения войны? Буржуазия понимала это; она хотела лишь, вместе с властью, взять и это средство в *свои* руки. Закончил Церетели гимном в честь коалиции. На расколотом собрании, не видевшем выхода, соглашательские общие места в последний раз прозвучали оттенком надежды. Но и Церетели был уже в сущности собственным призраком.

От имени правой половины зала демократии отвечал Милюков, безнадежно-трезвый представитель классов, которым история отрезала пути трезвой поли-

тики. В своей «Истории» вождь либерализма достаточно выразительно излагает собственную речь на государственном Совещании. «Милюков сделал ... сжатый фактический обзор ошибок «революционной демократии» и подвел им итог: ... капитуляция в вопросе о «демократизации армии», сопровождавшаяся уходом Гучкова; капитуляция в вопросе о «циммервальдской» внешней политике, сопровождавшаяся уходом министра иностранных дел (Милюкова); капитуляция перед утопическими требованиями рабочего класса, сопровождавшаяся уходом (министра торговли и промышленности) Коновалова; капитуляция перед крайними требованиями национальностей, сопровождавшаяся уходом остальных кадетов. Пятая капитуляция, перед захватными стремлениями масс в аграрном вопросе ... вызвала уход первого председателя Временного правительства, князя Львова». Это была недурная история болезни. В области лечения Милюков не пошел дальше полицейских мер: надо задушить большевиков. «Перед лицом очевидных фактов, — обличал он соглашателей, — эти более умеренные группы принуждены были допустить, что среди большевиков есть преступники и предатели. Но они до сих пор еще не допускают, что самая основная идея, объединяющая этих сторонников анархо-синдикалистских боевых выступлений, преступна. (Аплодисменты)».

Смиреннейший Чернов все еще казался звеном, соединяющим коалицию с революцией. Почти все ораторы правого крыла: Каледин, кадет Маклаков, кадет Астров наносили удары Чернову, которому заранее приказано было молчать и которого никто не брал под защиту. Милюков, с своей стороны, напомнил, что министр земледелия «был сам в Циммервальде и Кинтале и проводил там самые резкие резолюции». Это попало не в бровь, а в глаз: прежде, чем стать министром империалистской войны, Чернов действительно ставил свою подпись под некоторыми документами циммервальдской левой, т. е. фракции Ленина.

Милюков не скрыл от Совещания, что с самого на-

чала был противником коалиции, считая, что она «будет не сильнее, а слабее правительства, вышедшего из революции», т. е. правительства Гучкова-Милюкова. И сейчас он «сильно опасается, что теперешний состав исполнителей ... не дает гарантии безопасности личности и собственности». Но как бы ни обстояло дело, он, Милюков, обещает правительству поддержку «добровольно и без споров». Вероломство этого великодушного обещания обнаружится полностью через две недели. В момент произнесения речь не вызвала ничьего энтузиазма, но и не дала повода к бурным протестам. Оратор был встречен и провожен суховатыми аплодисментами.

Вторая речь Церетели сводилась к заверению, клятве, воплю: ведь все это для вас; советы, комитеты, демократические программы, лозунги пацифизма — все это ограждает вас: «кому легче будет двинуть войска русского революционного государства — военному министру Гучкову или военному министру Керенскому?» Церетели почти дословно повторял Ленина, только вождь соглашательства видел заслугу там, где вождь революции клеймил измену. Оратор оправдывается далее в излишней мягкости по отношению к большевикам: «Я вам говорю: революция была неопытна в борьбе с анархией, пришедшей слева (бурные аплодисменты справа)». Но после того, как «первые уроки были получены», революция исправила свою ошибку: «уже проведен исключительный закон». В эти самые часы Москвой негласно руководил комитет шести — два меньшевика, два эсера, два большевика, — охраняя ее от опасности переворота со стороны тех, перед которыми соглашатели обязывались громить большевиков.

Гвоздем последнего дня было выступление генерала Алексеева, в авторитете которого воплощалась бездарность старой военной канцелярии. Под необузданные одобрения справа бывший начальник штаба Николая II и организатор поражений русской армии говорил о тех разрушителях, «в карманах которых мело-

дично звенели немецкие марки». Для восстановления армии нужна дисциплина, для дисциплины нужен авторитет начальников, для чего снова нужна дисциплина. «Назовите дисциплину железной, назовите ее сознательной, назовите ее истинной . . . основы этих дисциплин одни и те же». История замыкалась для Алексеева уставом внутренней службы. «Неужели же, господа, так трудно пожертвовать призрачным какимто преимуществом — существованием организаций (смех слева) на некоторое время (шум и крики слева)». Генерал уговаривал отдать ему на подержание разоруженную революцию, не навсегда, нет, боже упаси, а только «на некоторое время»: по окончании войны он обещал вернуть предмет в сохранности. Но Алексеев кончил неплохим афоризмом: «нужны меры, а не полумеры». Эти слова били по декларации Чхеидзе, по Временному правительству, по коалиции, по всему февральскому режиму. Меры, а не полумеры! — с этим были согласны и большевики.

Генералу Алексееву тотчас же противопоставлены были делегаты петроградского и московского левого офицерства, поддержавшие «нашего высшего начальника, военного министра». Вслед за ними поручик Кучин, старый меньшевик, оратор «фронтовой группы государственного Совещания», говорил от имени солдатских миллионов, которые, однако, едва узнавали себя в зеркале соглашательства. «Мы все прочли интервью генерала Лукомского во всех газетах, где говорится: если союзники не помогут, то Рига будет сдана» . . . Почему это высший командный состав, который всегда прикрывал неудачи и поражения, почувствовал потребность в сгущенных мрачных красках? Крики «позор!» слева относились к Корнилову, который развил накануне ту же мысль на самом Совещании. Кучин задел здесь самое больное место имущих классов: верхи буржуазии, командный состав, вся правая половина зала были насквозь пропитаны пораженческими тенденциями, в экономической, политической и военной областях. Девизом этих солидных и уравно-

вешенных патриотов стало: чем хуже, тем лучше! Но соглашательский оратор поспешил пройти мимо темы, которая вырывала у него самого почву из-под ног. «Спасем ли мы армию, мы не знаем, — говорил Кучин, — но если мы не спасем, то не спасет и командный состав»... «Спасет», — раздаются возгласы с офицерских скамей. Кучин: «Нет, не спасет!» Взрыв рукоплесканий на левой. Так враждебно перекликались командиры и комитеты, на мнимой солидарности которых была построена программа оздоровления армии. Так перекликались две половины Совещания, которые составляли фундамент «честной коалиции». Эти столкновения были только слабым, придушенным, парламентаризованным отголоском тех противоречий, от которых содрогалась страна.

Повинуясь бонапартистской инсценировке, ораторы чередовались справа и слева, по возможности уравновешивая друг друга. Если иерархи православного собора поддерживали Корнилова, то наставники евангельских христиан становились на сторону Временного правительства. Делегаты земств и городских дум выступали по два: один, от большинства, присоединялся к декларации Чхеидзе; другой, от меньшинства — к декларации Государственной думы.

Представители угнетенных национальностей один за другим заверяли правительство в своем патриотизме, но умоляли, чтоб их не обманывали больше: на местах те же чиновники, те же законы, тот же гнет. «Медлить нельзя. Только обещаниями ни один народ жить не может». Революционная Россия должна показать, что она «мать, а не мачеха всех народов». Робкие укоры и смиренные заклинания почти не встречали сочувственного отклика даже у левой половины зала. Дух империалистской войны меньше всего совместим с честной политикой в национальном вопросе.

«До сих пор национальности Закавказья не делали ни одного сепаратного выступленья, — заявил от имени грузин меньшевик Чхенкели, — и они не сделают их и дальше». Покрытое аплодисментами обязатель-

ство скоро окажется несостоятельным: с момента октябрьского переворота Чхенкели станет одним из вождей сепаратизма. Противоречия тут, однако, нет: патриотизм демократии не простирается за рамки буржуазного режима.

Тем временем новые, наиболее трагические призраки прошлого выступают на сцену. Искалеченные войною подают свой голос. Они тоже не единодушны. Безрукие, безногие, слепые имеют свою аристократию и свой плебс. От имени «громадного, могучего союза георгиевских кавалеров, от 128 отделов его по всем местам России» оскорбленный в своем патриотизме офицер поддерживает Корнилова (одобрение справа). Всероссийский союз увечных воинов присоединяется через своего делегата к декларации Чхеидзе (одобрение слева).

Исполнительный комитет только что организовавшегося союза железнодорожников, которому предстояло, под сокращенным именем Викжеля, играть в ближайшие месяцы значительную роль, присоединил свой голос к декларации соглашателей. Председатель Викжеля, умеренный демократ и крайний патриот, нарисовал яркую картину контр-революционных происков на железнодорожной сети: злостные наступления на рабочих, массовые увольнения, произвольные отмены 8-часового рабочего дня, предания суду. Подспудные силы, руководимые из скрытых, но влиятельных центров, явно стремятся вызвать голодных железнодорожников на бой. Враг неуловим. «Контр-разведка дремлет, прокурорский надзор спит». И этот умеренный из умеренных закончил угрозой: «если гидра контр-революции поднимет свою голову, мы выступим и задушим ее своими руками».

Немедленно же выходит с контр-обвинениями один из железнодорожных тузов: «чистый источник революции оказался отравленным». Почему? «Потому, что идеалистические цели революции заменились целями материальными. (Аплодисменты справа)». В том же духе кадет и помещик Родичев обличает рабочих, усво-

ивших пришедший из Франции «постыдный лозунг: обогащайтесь!» Большевики обеспечат вскоре формуле Родичева исключительный успех, хотя и не тот, на какой рассчитывал оратор. Профессор Озеров, человек чистой науки и делегат земельных банков, восклицает: «Солдат в окопах должен думать о войне, а не о дележе земли». Не мудрено: конфискация частновладельческих земель означала бы конфискацию банковских капиталов: на 1 января 1915 г. задолженность частного землевладения составляла свыше $3^1/_2$ миллиарда рублей!

Справа выступали от высоких штабов, от промышленных объединений, от торговых палат и банков, от общества коннозаводчиков и других организаций, объединяющих сотни именитых лиц. Слева выступали от советов, армейских комитетов, профессиональных союзов, демократических муниципалитетов, кооперативов, за которыми виднелись на дальнем фоне безыменные миллионы и десятки миллионов. В нормальное время перевес был неизменно на стороне короткого плеча рычага. «Нельзя отрицать, — поучал Церетели, — особенно в такой момент, удельного веса и значения тех, кто силен своим имущественным весом». Но в том-то и дело, что этот вес становился все более... невесомым. Как тяжесть не есть внутреннее свойство отдельных предметов, но взаимоотношение между ними, так социальный вес не есть врожденное свойство лица, а лишь то классовое качество, какое вынуждены признавать за ним другие классы. Революция, однако, вплотную подходила к тому рубежу, где начинается непризнание самых основных «качеств» господствующих классов. Оттого так неудобно стало положение именитого меньшинства на коротком плече рычага. Соглашатели изо всех сил стремились удержать равновесие. Но и они уже были не властны: слишком неудержимо нажимали массы на длинное плечо рычага. Как осторожно крупные аграрии, банкиры, промышленники защищали свои интересы. Да и защищали ли они их вообще? Почти нет. Они отстаивали права

идеализма, интересы культуры, прерогативы будущего Учредительного собрания. Вождь тяжелой промышленности фон-Дитмар закончил даже гимном в честь «свободы, равенства и братства». Куда девались металлические баритоны прибыли, хриплые басы земельной ренты? Со сцены лились только сладчайшие тенора бескорыстия. Но минуту внимания: сколько желчи и уксуса над патокой! Как неожиданно лирические рулады срываются на злобный фальцет. Представитель всероссийской сельскохозяйственной палаты Капацинский, всей душой стоящий за грядущую аграрную реформу, не забывает поблагодарить «нашего чистого Церетели» за циркуляр в защиту права против анархии. Но земельные комитеты? Ведь они непосредственно передают власть мужику! Ему «темному, полуграмотному, обезумевшему от счастья, что наконец-то ему . . . дается земля, этому человеку поручается правотворчество в стране»! Если в борьбе с темным мужиком помещики и отстаивают собственность, то не ради себя, нет, а лишь затем, чтоб впоследствии принести ее на алтарь свободы.

Социальная символика как будто исчерпана. Но тут Керенского осеняет счастливое вдохновение. Он предлагает дать высказаться еще одной группе, — «группе от русской истории, а именно: Брешко-Брешковской, Крапоткину и Плеханову». Русское народничество, русский анархизм и русская социал-демократия выступают в лице старшего поколения; анархизм и марксизм — в лице своих виднейших основоположников.

Крапоткин просит присоединить его голос «к тем голосам, которые звали весь русский народ раз навсегда порвать с циммервальдизмом». Апостол безвластия сразу примыкает к правому крылу Совещания. Поражение грозит не только утратой больших территорий и контрибуцией: «знайте, товарищи, есть что-то худшее, чем все это: это психология побежденной страны». Старый интернационалист предпочитает психологию побежденной страны . . . по ту сторону границы.

Вспоминая, как побежденная Франция унижалась перед русскими царями, — он не предвидел, как победоносная Франция будет унижаться перед американскими банкирами, — Крапоткин восклицает: «Неужели и нам пережить это? Ни за что!» Ему отвечают аплодисменты всего зала. Зато какие радужные перспективы открывает война: «все начинают понимать, что нужно строительство новой жизни, на новых, социалистических началах... Ллойд-Джордж произносит речи, проникнутые социалистическим духом ... В Англии, во Франции и в Италии складывается новое понимание жизни, проникнутое социализмом, к сожалению, государственным». Если Ллойд-Джордж и Пуанкарэ еще не отказались «к сожалению» от государственного начала, то Крапоткин довольно откровенно приблизился к нему. «Я думаю, — говорит он, — мы не предвосхитим ничего из прав Учредительного собрания, — я вполне признаю, что ему должно принадлежать суверенное решение в таком вопросе, — если мы, Собор русской земли, громко выразим наше желание, чтобы Россия была провозглашена республикой». Крапоткин настаивает на федеративной республике: «нам нужна федерация, какую мы видим в Соединенных Штатах». Вот во что вылилась бакунинская «федерация свободных общин»! «Пообещаемте же, наконец, друг другу, — заклинает под конец Крапоткин, — что мы не будем более делиться на левую часть этого театра и на правую ... Ведь у нас одна родина, и за нее мы должны стоять и лечь, если нужно, все мы, и правые и левые». Помещики, промышленники, генералы, георгиевские кавалеры — все, не признающие Циммервальда, устроили апостолу анархизма заслуженную овацию.

Принципы либерализма живут в действительности не иначе, как в сочетании с полицейщиной. Анархизм есть попытка очистить либерализм от полицейщины. Но как кислород в чистом виде невыносим для дыхания, так и очищенные от полицейщины принципы либерализма означают смерть общества. В качестве кар-

рикатурной тени либерализма, анархизм в общем разделял его судьбу. Убив либерализм, развитие классовых противоречий убило и анархизм. Как всякая секта, основывающая свое учение не на действительном развитии человеческого общества, а на доведении до абсурда одной из его черт, анархизм взрывается, как мыльный пузырь, в тот момент, когда социальные противоречия доходят до войны или революции. Представленный Крапоткиным анархизм оказался, пожалуй, самым призрачным из всех призраков Государственного совещания.

В Испании, классической стране бакунизма, анархосиндикалисты и так называемые «специфические» или чистые анархисты, отказываясь от политики, повторяют на деле политику русских меньшевиков. Напыщенные отрицатели государства почтительно склоняются пред ним, как только оно обновляет слегка свою кожу. Предостерегая пролетариат против искушений власти, они самоотверженно поддерживают власть «левой» буржуазии. Проклиная гангрену парламентаризма, они из-под полы вручают своим сторонникам избирательный бюллетень вульгарных республиканцев. Как бы ни разрешилась испанская революция, с анархизмом она, во всяком случае, покончит навсегда.

Устами Плеханова, встреченного бурными приветствиями всего зала, — левые чествовали старого учителя, правые — нового союзника, — говорил ранний русский марксизм, перспектива которого в течение десятков лет упиралась в политическую свободу. Где для большевиков революция только начиналась, там для Плеханова она являлась законченной. Советуя промышленникам «искать сближения с рабочим классом», Плеханов внушал демократам: «вам безусловно необходимо столковаться с представителями торговопромышленного класса». В виде устрашающего примера Плеханов привлек «печальной памяти Ленина», который пал до такой степени, что призывал пролетариат «немедленно захватить политическую власть в свои руки». Именно для предупреждения против борь-

бы за власть и нужен был Совещанию Плеханов, сложивший последние доспехи революционера у порога революции.

Вечером того дня, когда выступали делегаты «от русской истории», Керенский дал слово представителю сельско-хозяйственной палаты и союза коннозаводчиков, тоже Крапоткину, другому члену древней княжеской семьи, имевшей, если верить родословным спискам, больше прав на русский престол, чем Романовы. «Я не социалист, — говорил аристократ-феодал, — но уважаю истинный социализм. Но когда я вижу захваты, грабежи, насилия, то я должен сказать, что ... правительство должно заставить присосавшихся к социализму людей уйти от дела строительства страны». Этот второй Крапоткин, явно пустивший стрелу в Чернова, не возражал против таких социалистов, как Ллойд-Джордж или Пуанкарэ. Вместе со своим фамильным антиподом, анархистом, Крапоткин-монархист осуждал Циммервальд, классовую борьбу, земельные захваты, — увы, он привык называть это «анархией», — и тоже требовал единения и победы. Протоколы не устанавливают, к сожалению, аплодировали ли Крапоткины друг другу.

В Совещании, разъеденном ненавистью, так много говорили о единении, что оно не могло не воплотиться хоть на миг в неизбежном символическом рукопожатии. Об этом событии вдохновенными словами рассказала газета меньшевиков: «Во время выступления Бубликова происходит инцидент, который производит глубокое впечатление на всех участников Совещания ... «Если вчера, — заявлял Бубликов, — благородный вождь революции Церетели протянул руку промышленному миру, то пусть он знает, что рука эта не останется висеть в воздухе»... Когда Бубликов кончает, к нему подходит Церетели и пожимает ему руку. Бурные овации».

Сколько оваций! Слишком много оваций. За неделю до описанной сцены, тот же Бубликов, крупный железнодорожный деятель, вопил на съезде промыш-

ленников по адресу советских вождей: «прочь нечестные, невежественные, все те, которые... толкали к гибели!» — и слова его еще не отзвучали в атмосфере Москвы. Старый марксист Рязанов, присутствовавший на Совещании в составе профессиональной делегации, весьма кстати напомнил о поцелуе лионского епископа Ламуретта: «о том поцелуе, которым обменялись две части Национального Собрания, — не рабочие и буржуазия, а две части буржуазии, — и вы знаете, что никогда так свирепо не разгоралась борьба, как после этого поцелуя». С необычной откровенностью и Милюков признает, что единение со стороны промышленников было «неискреннее, — практически необходимое для класса, которому приходится слишком много терять. Именно таким примирением с задними мыслями было знаменитое рукопожатие Бубликова».

Верило ли большинство участников в силу рукопожатий и политических поцелуев? Верили ли они себе? Их чувства были противоречивы, как и их планы. Правда, в отдельных речах, особенно окраинных, еще слышался трепет первых восторгов, надежд, иллюзий. Но в собрании, где левая половина была разочарована и деморализована, а правая озлоблена, отголоски мартовских дней звучали, как переписка обрученных, оглашаемая на их бракоразводном процессе. Отходящие в царство призраков политики призрачными средствами спасали призрачный режим. Смертный холодок безнадежности веял над собранием «живых сил», над смотром обреченных.

Под самый конец Совещания произошел инцидент, обнаруживший глубокий раскол и в той группе, которая считалась образцом единства и государственности: в казачестве. Нагаев, молодой казачий офицер, примыкавший к советской делегации, заявил, что трудовое казачество не идет за Калединым: фронтовики не доверяют казачьим верхам. Это было верно и ударило по самому больному месту. Газетный отчет рисует дальше самую бурную из всех сцен Совещания. Ле-

вая восторженно аплодирует Нагаеву. Раздаются возгласы: «Слава революционному казачеству!» Негодующие протесты справа: «Вы ответите за это!» Голос из ложи офицеров: «Германские марки». Несмотря на свою неизбежность, в качестве последнего патриотического аргумента, эти слова производят впечатление разорвавшейся бомбы. В зале поднимается адский шум. Советские делегаты вскакивают с мест, угрожают кулаками офицерской ложе. Крики: «Провокаторы!» ... Безумолчно дребезжит председательский звонок. «Кажется, еще момент — и начнется свалка».

После всего, что произошло, Керенский в заключительной речи заверял: «Я верю и даже знаю ... достигнуто большое понимание друг друга, достигнуто большое уважение друг к другу» ... Ни разу еще двойственность февральского режима не поднималась до такой отвратительной и бесцельной фальши. Не выдерживая сам этого тона, оратор в последних фразах неожиданно срывается на вопль отчаяния и угрозы. «Прерывающимся голосом, который от истерического крика падал до трагического шопота, Керенский грозил, — по описанию Милюкова, — воображаемому противнику, пытливо отыскивая его в зале воспаленным взглядом» ... На самом деле Милюков знал лучше, чем кто бы то ни был, что противник вовсе не был воображаемым. «Сегодня, граждане земли русской, я не буду больше мечтать ... Пусть сердце станет каменным ... — неистовствовал Керенский, — пусть засохнут все те цветы и грезы о человеке (женский возглас сверху: «Не нужно!»), которые сегодня, с этой кафедры ... топтали. Так сам затопчу. Не будет этого. (Женский голос сверху: «Не можете вы этого сделать, ваше сердце вам этого не позволит»). Я брошу далеко ключи от сердца, любящего людей, я буду думать только о государстве».

В зале стояла оторопь, охватившая на этот раз обе его половины. Социальная символика Государственного совещания завершалась невыносимым моноло-

14

гом из мелодрамы. Женский голос, поднявшийся в защиту цветов сердца, прозвучал, как крик о спасении, как S.O.S. мирной, солнечной, бескровной февральской революции. Над Государственным совещанием опустился, наконец, театральный занавес.

ЗАГОВОР КЕРЕНСКОГО

Московское совещание ухудшило положение Правительства, обнаружив, по правильному определению Милюкова, что «страна делится на два лагеря, между которыми не может быть примирения и соглашения по существу». Совещание подняло самочувствие буржуазии и обострило ее нетерпение. С другой стороны, оно дало новый толчок движению масс. Московская стачка открывает период ускоренной перегруппировки рабочих и солдат влево. Большевики растут отныне непреодолимо. Среди масс держатся лишь левые эсеры и отчасти левые меньшевики. Петроградская организация меньшевиков ознаменовала свой политический сдвиг исключением Церетели из списка кандидатов в городскую Думу. 16 августа петроградская конференция эсеров потребовала, 22 голосами против одного, разгона Союза офицеров при ставке и других решительных мер против контр-революции. 18 августа петроградский Совет, вопреки возражениям своего председателя Чхеидзе, поставил в порядок дня вопрос об отмене смертной казни. Перед голосованием резолюции Церетели вызывающе спрашивает: «Если вслед за вашим постановлением не последует отмены смертной казни, что же, вы вызовете на улицу толпу, чтобы требовать свержения правительства?»... «Да», — кричат ему в ответ большевики, — «да, мы вызовем толпу и будем добиваться свержения правительства». «Вы, теперь, высоко подняли головы», говорит Церетели. Большевики

поднимали голову вместе с массами. Соглашатели опускали голову, когда массы поднимали ее. Требование отмены смертной казни принимается всеми голосами, около 900, против 4-х. Эти четыре: Церетели, Чхеидзе, Дан, Либер! Через четыре дня после этого, на объединительном съезде меньшевиков и близких к ним групп, где по основным вопросам проходили резолюции Церетели при оппозиции Мартова, без прений принято было требование о немедленной отмене смертной казни: Церетели молчал, уже не в силах противостоять напору.

В сгущавшуюся политическую атмосферу врезались события на фронте. 19 августа немцы прорвали линию русских войск у Икскюля, 21-го заняли Ригу. Исполнение предсказания Корнилова явилось, как это было условлено заранее, сигналом к политическому наступлению буржуазии. Печать удесятерила кампанию против «неработающих рабочих» и «невоюющих солдат». Революция оказывалась за все в ответе: она сдала Ригу, она готовится сдать Петроград. Травля армии, столь же бешеная, как и полтора-два месяца тому назад, не имела на этот раз и тени оправдания. В июне солдаты действительно отказывались наступать: они не хотели ворошить фронт, выбивать немцев из пассивности, возобновлять бои. Но под Ригой инициатива наступления принадлежала врагу, и солдаты настраивались по иному. Как раз более распропагандированные части 12-й армии оказывались менее податливы чувствам паники.

Командующий армией, генерал Парский, хвалился, и не совсем без основания, что отступление совершается «образцово» и не может быть даже сравниваемо с отступлениями из Галиции и Восточной Пруссии. Комиссар Войтинский доносил: «Порученные им задачи наши войска, в районе прорыва, выполняют беспрекословно и честно, но они не в состоянии долго выдержать натиск врага и медленно, шаг за шагом отступают, неся огромные потери. Считаю необходимым отметить высокую доблесть латышских стрелков, остатки которых, несмотря на полное изнеможение, были сно-

ва двинуты в бой»... Еще более приподнято звучало донесение председателя комитета армии, меньшевика Кучина: «Настроение солдат удивительное. По свидетельству членов комитета и офицеров, стойкость такая, какой не было никогда раньше». Другой представитель той же армии докладывал через несколько дней на заседании Бюро Исполнительного комитета: «В глубине прорыва находилась только латышская бригада, состоящая почти сплошь из большевиков... Получив приказ итти вперед, (бригада) с красными знаменами и оркестрами музыки пошла и сражалась чрезвычайно мужественно». В том же духе, хотя более сдержанно, писал позже Станкевич: «Мне, даже в штабе армии, где были лица, заведомо ищущие возможности свалить вину на солдат, не могли сообщить ни одного конкретного факта неисполнения не только боевого, но, вообще, какого бы то ни было приказа». Дессантные команды моряков в моондзундской операции также обнаружили, как явствует из официальных документов, значительную стойкость.

Для настроения войск, особенно латышских стрелков и балтийских моряков, далеко не безразличен был тот факт, что дело шло на этот раз непосредственно об обороне двух центров революции: Риги и Петрограда. Наиболее передовые части уже успели проникнуться той большевистской идеей, что «воткнуть штык в землю» не значит решить вопрос о войне; что борьба за мир неотделима от борьбы за власть, то-есть от новой революции.

Если даже отдельные комиссары, напуганные натиском генералов, и преувеличивали стойкость армии, то остается все же тот факт, что солдаты и матросы выполняли приказы и умирали. Большего они сделать не могли. Но обороны по существу дела все-таки не было. Как это ни невероятно, 12-я армия была полностью застигнута врасплох. Всего не хватало: людей, орудий, боевых припасов, противогазов. Служба связи оказалась поставлена из рук вон плохо. Атаки задерживались потому, что к русским винтовкам присылались

патроны японского образца. Между тем дело шло не о случайном участке фронта. Значение потери Риги не было секретом для высшего командования. Как же объяснить исключительно жалкое состояние оборонительных сил и средств 12-й армии? «...Большевики, — пишет Станкевич, — уже стали распускать слухи о том, что город сдан немцам нарочно, так как начальство хотело избавиться от этого гнезда и рассадника большевизма. Эти слухи не могли не пользоваться доверием в армии, которая знала, что, в сущности, защиты и сопротивления не было». Действительно, уже в декабре 1916 года генералы Рузский и Брусилов жаловались на то, что Рига есть «несчастье Северного фронта», что это «распропагандированное гнездо», с которым нет возможности бороться иначе, как путем расстрелов. Отдать рижских рабочих и солдат на выучку немецкой военной оккупации должно было составлять затаенную мечту многих генералов Северного фронта. Никто не думал, разумеется, что Верховный главнокомандующий отдал приказ о сдаче Риги. Но все командиры читали речь Корнилова и интервью его начальника штаба Лукомского. Это вполне заменяло приказ. Главнокомандующий войсками Северного фронта генерал Клембовский принадлежал к тесной клике заговорщиков и, следовательно, ждал сдачи Риги, как сигнала к спасительным действиям. И в более нормальных условиях русские генералы предпочитали сдавать и отступать. Сейчас, когда ответственность с них была снята ставкой заранее, а политический интерес толкал их на путь пораженчества, они не сделали даже попытки обороны. Присоединял ли тот или другой из генералов к пассивному саботажу обороны активное вредительство, это вопрос второго порядка, по самой сути своей, трудно разрешимый. Было бы, однако, наивно допустить, что генералы воздерживались от посильной помощи року во всех тех случаях, где их изменнические действия могли пройти для них безнаказанно.

Американский журналист Джон Рид, умевший ви-

деть и слышать и оставивший бессмертную книгу хроникерских записей о днях Октябрьской революции, свидетельствует, не обинуясь, что значительная часть имущих классов России предпочитала победу немцев торжеству революции и не стеснялась открыто говорить об этом. «Однажды мне пришлось — рассказывает Рид, в числе других примеров, — провести вечер в доме московского коммерсанта; за чайным столом сидело одиннадцать человек. Обществу был предложен вопрос, кого оно предпочитает: Вильгельма или большевиков? Десять против одного высказались за Вильгельма». Тот же американский писатель беседовал на Северном фронте с офицерами, которые «открыто предпочитали военный разгром сотрудничеству с солдатскими комитетами».

Для политического обвинения, выдвинутого большевиками, и не ими одними, было совершенно достаточно того, что сдача Риги входила в план заговорщиков и занимала точное место в календаре заговора. Это совершенно ясно сквозило между слов московской речи Корнилова. Дальнейшие события осветили эту сторону дела до конца. Но мы имеем и прямое свидетельское показание, которому личность свидетеля сообщает непререкаемую для данного случая достоверность. Милюков в своей «Истории» рассказывает: «В Москве же Корнилов указал в своей речи тот момент, дальше которого он не хотел отлагать решительные шаги для «спасения страны от гибели и армии от развала». Этим моментом было предсказанное им падение Риги. Этот факт, по его мнению, должен был вызвать... прилив патриотического возбуждения... Как Корнилов лично мне говорил при свидании в Москве 13 августа, он этого случая пропускать не хотел, и момент открытого конфликта с правительством Керенского представлялся в его уме совершенно определившимся, вплоть до заранее намеченной даты 27-го августа». Можно ли выразиться яснее? Для выполнения похода на Петроград Корнилову необходима была сдача Риги за несколько дней до назначенного заранее

числа. Усилить рижские позиции, принять серьезные меры обороны значило бы нарушить план другой, неизмеримо более важной для Корнилова кампании. Если Париж стоит обедни, то власть стоит Риги.

В течение недели, протекшей между сдачей Риги и восстанием Корнилова, ставка стала центральным резервуаром клеветы на армию. Информация русского штаба и русской печати находила немедленный отклик в печати Антанты. Русские патриотические газеты, в свою очередь, с восторгом воспроизводили издевательства и ругательства Times, Temps или Matin по адресу русской армии. Солдатский фронт содрогнулся от обиды, возмущенья и отвращенья. Комиссары и комитеты, сплошь соглашательские и патриотические, почувствовали себя задетыми за живое. С разных сторон пошли протесты. Особенно ярко было письмо Исполнительного комитета Румынского фронта, Одесского военного округа и Черноморского флота, так называемого Румчерода, который требовал от Центрального исполнительного комитета «перед всей Россией установить доблесть и беззаветную храбрость солдат Румынского фронта; прекратить в печати травлю солдат, которые ежедневно тысячами гибнут в ожесточенных боях, защищая революционную Россию»... Под влиянием протестов снизу вышли из пассивности соглашательские верхи. «Кажется, нет той грязи, которой бы не бросили буржуазные газеты по адресу революционной армии», писали «Известия» о союзниках по блоку. Но ничто не действовало. Травля армии составляла необходимую часть того заговора, в центре которого стояла Ставка.

Немедленно по оставлении Риги Корнилов отдал по телеграфу приказ расстрелять для примера нескольких солдат на дороге на глазах у других. Комиссар Войтинский и генерал Парский донесли, что, по их мнению, такие меры совершенно не вызываются поведением солдат. Выведенный из себя Корнилов заявил на собрании находившихся в ставке представителей комитетов, что предаст суду Войтинского и Парского за

то, что те не дают правильных отчетов о положении в армии, т. е., как поясняет Станкевич, «не взваливают вину на солдат». Для полноты картины нужно добавить, что в тот же день Корнилов приказал штабам армий сообщить списки офицеров-большевиков Главному комитету Союза офицеров, т. е. контр-революционной организации, которую возглавлял кадет Новосильцев, и которая являлась важнейшим рычагом заговора. Таков был этот Верховный главнокомандующий, «первый солдат революции!»

Решившись приподнять краешек завесы, «Известия» писали: «Какая-то темная клика, необычайно близкая к высшим командным кругам, творит чудовищное провокационное дело»... Под именем «темной клики» речь велась о Корнилове и его штабе. Зарницы надвигавшейся гражданской войны освещали новым светом не только сегодняшний, но и вчерашний день. В порядке самообороны соглашатели начали разоблачать подозрительное поведение командного состава во время июньского наступления. В печать проникало все больше подробностей о злостно оклеветанных штабами дивизиях и полках. «Россия вправе требовать, — писали «Известия», — чтобы ей открыли всю правду о нашем июльском отступлении». Эти строки жадно читались солдатами, матросами, рабочими, особенно теми, которые, в качестве мнимых виновников катастрофы на фронте, продолжали заполнять тюрьмы. Через два дня «Известия» увидели себя вынужденными уже более откровенно заявить, что «ставка своими сообщениями ведет определенную политическую игру против Временного правительства и революционной демократии». Правительство изображалось в этих строках, как невинная жертва замыслов ставки. Но, казалось бы, у Правительства были все возможности осадить генералов. Если оно этого не делало, то потому, что не хотело.

В упомянутом выше протесте против вероломной травли солдат Румчерод с особым негодованием указывал на то, что «сообщения из ставки... подчеркивая

доблесть офицерства, как бы умышленно умаляют преданность солдат делу защиты революции». Протест Румчерода появился в печати 22 августа, а на следующий день был опубликован специальный приказ Керенского, посвященный возвеличению офицерства, которому «с первых дней революции пришлось переживать умаление своих прав» и незаслуженные оскорбления со стороны солдатской массы, «прикрывавшей свою трусость идейными лозунгами». В то время, как его ближайшие помощники, Станкевич, Войтинский и другие, протестовали против травли солдат, Керенский демонстративно присоединился к травле, увенчав ее провокационным приказом военного министра и главы Правительства. Впоследствии Керенский признавался, что уже в конце июля в его руках имелись «точные сведения» об офицерском заговоре, группировавшемся вокруг Ставки. «Главный комитет Союза офицеров — по словам Керенского — выделял из своей среды активных заговорщиков, его же члены были агентами конспирации на местах; они же давали и легальным выступлениям Союза нужный им тон». Это совершенно правильно. Следует лишь прибавить, что «нужный тон» был тон клеветы на армию, комитеты и революцию, т. е. тот самый тон, которым проникнут приказ Керенского от 23 августа.

Как объяснить эту загадку? Что Керенский не вел продуманной и последовательной политики, совершенно бесспорно. Но он должен был бы быть невменяемым, чтоб, зная об офицерском заговоре, подставлять голову под саблю заговорщиков и помогать им в то же время маскировать себя. Разгадка столь непостижимого на первый взгляд поведения Керенского на самом деле очень проста: он сам был в это время участником заговора против безвыходного режима Февральской революции.

Когда настало время откровений, Керенский сам свидетельствовал, что из казачьих кругов, из среды офицерства и буржуазных политиков ему не раз предлагали личную диктатуру. «Но это попадало на бес-

плодную почву»... Позиция Керенского была во всяком случае такова, что вожди контр-революции имели возможность, ничем не рискуя, обмениваться с ним мнениями о государственном перевороте. «Первые разговоры на тему о диктатуре, в виде легкого зондирования почвы», начались, по словам Деникина, в начале июня, т. е. во время подготовки наступления на фронте. В этих разговорах участвовал нередко и Керенский, при чем в таких случаях само собою разумелось, прежде всего для самого Керенского, что именно он будет стоять в центре диктатуры. Суханов метко говорит о Керенском: «он был корниловцем — только с условием, чтобы во главе корниловщины был он сам». В дни краха наступления Керенский наобещал Корнилову и другим генералам гораздо больше, чем мог выполнить. «При своих поездках на фронт, — рассказывает генерал Лукомский, — Керенский набирался храбрости и, со своими спутниками, неоднократно обсуждал вопросы о создании твердой власти, об образовании директории, или о передаче власти диктатору». Сообразно со своим характером, Керенский вносил в эти беседы элемент бесформенности, неряшливости, диллетантизма. Генералы, наоборот, тяготели к штабной законченности.

Непринужденное участие Керенского в генеральских беседах как бы легализовало идею военной диктатуры, которой, из осторожности по отношению к еще незадушенной революции, придавали чаще всего имя директории. В какой мере тут играли роль исторические воспоминания о правительстве Франции после термидора, сказать трудно. Но, помимо чисто словесной маскировки, директория представляла для начала то неоспоримое удобство, что допускала соподчинение личных честолюбий. В директории должно было найтись место не только для Керенского и Корнилова, но и для Савинкова, даже для Филоненко: вообще для людей «железной воли», как выражались сами кандидаты в директора. Каждый из них лелеял про себя

мысль от коллективной диктатуры перейти затем к единоличной.

Для заговорщической сделки со ставкой Керенскому не нужно было, следовательно, совершать какой-либо крутой поворот: достаточно было развить и продолжить уже начатое. Он полагал при этом, что сможет придать генеральскому заговору надлежащее направление, обрушив его не только на большевиков, но, в известных пределах, и на головы своих союзников и надоедливых опекунов из среды соглашателей. Керенский маневрировал так, чтобы, не разоблачая заговорщиков до конца, попугать их, как следует, и включить в свой замысел. Он дошел при этом до самой грани, за которой глава Правительства превращался уже в нелегального конспиратора. «Керенскому нужен был энергичный нажим на него справа, из капиталистических клик, союзных посольств и особенно из ставки, — писал Троцкий в начале сентября, — чтобы помочь ему окончательно развязать себе руки. Керенский хотел использовать генеральский мятеж для упрочения своей диктатуры».

Переломным моментом явилось Государственное совещание. Увозя из Москвы, наряду с иллюзией неограниченных возможностей, унизительное чувство личного провала, Керенский решил, наконец, отбросить сомненья и показать *им* себя во весь рост. Кому «им»? Всем. Прежде всего, большевикам, которые под пышную национальную инсценировку подвели мину всеобщей стачки. Этим самым осадить раз навсегда правых, всех этих Гучковых, Милюковых, которые не берут его всерьез, издеваются над его жестами, считают его власть тенью власти. Наконец, дать крепкую острастку «им», соглашательским гувернерам, вроде ненавистного Церетели, который поправлял и наставлял его, избранника нации, даже на Государственном совещании. Керенский твердо и окончательно решил показать всему миру, что он вовсе не «истерик», не «фигляр», не «балерина», как все откровеннее называли его гвардейские и казачьи офицеры, а железный человек, зам-

кнувший наглухо сердце и забросивший ключ в море, наперекор мольбам прекрасной незнакомки в ложе театра.

Станкевич отмечает у Керенского в те дни «стремление сказать какое-то новое слово, соответствующее всей тревоге и смятению страны. Керенский... решил ввести в армии дисциплинарные взыскания. Вероятно, он готов был предложить Правительству и другие решительные меры». Станкевич знал только ту часть намерений шефа, какую тот счел своевременным ему сообщить. На самом деле замыслы Керенского шли в это время уже гораздо дальше. Он решил одним ударом вырвать почву из-под ног Корнилова, выполнив его программу и тем привязав к себе буржуазию. Гучков не мог двинуть войска в наступление, он, Керенский, смог. Корнилов не может выполнить программу Корнилова. Он, Керенский, сможет. Московская стачка напомнила, правда, что на этом пути будут препятствия. Но июльские дни показали, что и с этим можно справиться. Нужно только на этот раз довести работу до конца, не позволяя друзьям слева хватать себя за локти. Прежде всего необходимо обновить полностью петроградский гарнизон: революционные полки заменить «здоровыми» частями, которые не оглядывались бы на советы. Об этом плане нет возможности договориться с Исполнительным комитетом, да и незачем: Правительство признано независимым и под этим знаменем короновано в Москве. Правда, соглашатели понимают независимость формально, как средство умиротворения либералов. Но он, Керенский, формальное превратит в материальное: не напрасно же он говорил в Москве, что он не с правыми и не с левыми и что в этом его сила. Теперь он это покажет на деле!

Линии Исполнительного комитета и Керенского в ближайшие после Совещания дни продолжали расходиться: соглашатели испугались масс, Керенский — имущих классов. Народные массы требовали отмены

смертной казни на фронте. Корнилов, кадеты, посольства Антанты требовали введения ее в тылу.

19 августа Корнилов телеграфировал министру-председателю: «Настойчиво заявляю о необходимости подчинения мне Петроградского округа. Ставка открыто протягивала руку к столице. 24 августа Исполнительный комитет набрался духу гласно потребовать, чтоб Правительство положило конец «контр-революционным приемам» и приступило «без промедления и со всей энергией» к осуществлению демократических преобразований. Это был новый язык. Керенскому приходилось выбирать между приспособлением к демократической платформе, которая, при всей своей чахлости, могла привести к разрыву с либералами и генералами, столкновению с советами. Керенский решил протянуть руку Корнилову, кадетам, Антанте. Открытой борьбы направо он хотел избежать во что бы то ни стало.

Правда, 21 августа были подвергнуты домашнему аресту великие князья Михаил Александрович и Павел Александрович. Несколько других лиц были при этом взяты под стражу. Но все это было слишком несерьезно, и арестованных пришлось тут же освободить: «...оказалось, — говорил Керенский в своих позднейших показаниях по делу Корнилова, — мы сознательно были направлены на ложный путь». Надо бы прибавить: при содействии самого Керенского. Было ведь совершенно очевидно, что для серьезных заговорщиков, т. е. для всей правой половины московского Совещания, дело шло вовсе не о восстановлении монархии, а об установлении диктатуры буржуазии над народом. В этом смысле Корнилов и все его единомышленники не без возмущения отбрасывали обвинения в «контр-революционных», т. е. монархических замыслах. Правда, где-то на задворках шушукались бывшие сановники, флигель-адъютанты, фрейлины, придворные черносотенцы, знахари, монахи, балерины. Но это была совсем ничтожная величина. Победа буржуазии могла притти не иначе, как в форме военной

диктатуры. Вопрос о монархии мог бы возникнуть лишь на одном из дальнейших этапов, но, опять-таки, на базе буржуазной контр-революции, а не распутинских фрейлин. Для данного периода реальностью была борьба буржуазии против народа, под знаменем Корнилова. Ища с этим лагерем союза, Керенский тем охотнее готов был прикрыться от подозрительных левых фиктивным арестом великих князей. Механика была настолько ясна, что московская газета большевиков писала тогда же: «Арестовать пару безмозглых кукол из семейки Романовых и оставлять на свободе . . . военную клику из командиров во главе с Корниловым — это значит обманывать народ» . . . Этим и ненавистны были большевики, что они все видели и обо всем говорили вслух.

Вдохновителем и руководителем Керенского в эти критические дни становится Савинков, крупный искатель приключений, революционер спортивного типа, вынесший из школы индивидуального террора презрение к массе; человек даровитый и волевой, что не помешало ему, впрочем, в течение ряда лет быть орудием в руках знаменитого провокатора Азефа; скептик и циник, считавший себя вправе, и не без основания, глядеть на Керенского сверху вниз и, держа правую руку у козырька, почтительно водить его левой за нос. Керенскому Савинков импонировал, как человек действия, Корнилову — как доподлинный революционер, с историческим именем. Милюков передает любопытный рассказ о первой встрече комиссара и генерала, со слов самого Савинкова: «Генерал, — говорил Савинков, — я знаю, что если сложатся обстоятельства, при которых вы должны будете меня расстрелять, вы меня расстреляете». Потом, выдержав паузу, он прибавил: «но если условия сложатся так, что мне придется вас расстрелять, я это тоже сделаю». Савинков был причастен к литературе, знал Корнеля и Гюго, был склонен к высокому жанру. Корнилов собирался разделаться с революцией безотносительно к формулам псевдоклассицизма и романтизма. Но и ге-

нерал не был вовсе чужд чарам «сильного художественного стиля»: слова бывшего террориста должны были приятно щекотать заложенное в бывшем черносотенце героическое начало.

В одной из позднейших газетных статей, явно вдохновленной, а, может быть, и написанной Савинковым, его собственные планы были разъяснены довольно прозрачно. «Еще в бытность комиссаром... говорила статья, — Савинков пришел к убеждению, что Временное правительство не в силах вывести страну из тяжелого положения. Здесь должны были действовать другие силы. Однако, вся работа в этом направлении могла производиться только под знаменем Временного правительства, в частности Керенского. Это была бы революционная диктатура, осуществляемая железной рукой. Такую руку Савинков увидел у... генерала Корнилова». Керенский, как «революционное» прикрытие, Корнилов, как железная рука. О роли третьего статья умалчивает. Но нет сомнения, что Савинков примирял главнокомандующего с премьером не без намерения вытеснить обоих. Одно время эта задняя мысль стала настолько выпирать наружу, что Керенский, при протестах Корнилова, как раз накануне Совещания, вынудил Савинкова подать в отставку. Однако, как и все вообще в этом кругу, отставка имела не окончательный характер. «17 августа выяснилось, — показывал Филоненко, — что Савинков и я сохраняем свои посты и что министром-председателем в принципе принята программа, изложенная в докладе, представленном генералом Корниловым, Савинковым и мной». Савинков, которому Керенский 17 августа «приказал заготовить законопроект о мероприятиях в тылу», создал для этой цели комиссию под председательством генерала Апушкина. Серьезно побаиваясь Савинкова, Керенский, однако, окончательно решил использовать его для своего великого плана и не только сохранил за ним военное министерство, но дал ему в придачу и морское. Это означало, по Милюкову, что для Правительства «наступило время

действовать, даже с риском *вызвать на улицу* большевиков». Савинков при этом «открыто говорил, что с двумя полками легко подавить большевистский мятеж и разогнать большевистские организации».

И Керенский и Савинков отлично понимали, особенно после московского Совещания, что программы Корнилова соглашательские советы ни в каком случае не примут. Петроградский Совет, только вчера потребовавший отмены смертной казни на фронте, с удвоенной силой восстанет завтра против перенесения смертной казни на тыл! Опасность состояла, следовательно, в том, что движение против замышленного Керенским переворота окажется возглавлено не большевиками, а советами. Но перед этим останавливаться не приходилось: дело ведь шло о спасении страны!

«22 августа, — пишет Керенский, — Савинков поехал в Ставку, между прочим(!), для того, чтобы, по моему поручению, потребовать от генерала Корнилова откомандирования в распоряжение Правительства кавалерийского корпуса». Сам Савинков следующим образом определял это поручение, когда ему приходилось оправдываться пред общественным мнением: «испросить у генерала Корнилова конный корпус для реального осуществления военного положения в Петрограде и для защиты Временного правительства от каких бы то ни было посягательств, в частности(!) от посягательств большевиков, выступление которых..., по данным иностранной контр-разведки, готовилось снова в связи с германским дессантом и восстанием в Финляндии» . . . Фантастические данные контр-разведки должны были попросту прикрыть тот факт, что само Правительство, по выражению Милюкова, шло на «риск вызвать на улицу большевиков», т. е. готово было провоцировать восстание. А так как издание декретов о военной диктатуре было назначено на последние дни августа, то к этому же сроку Савинковым приурочивался и ожидаемый мятеж.

25 августа закрыт был без всякого внешнего повода орган большевиков «Пролетарий». Выпущенный

ему на смену «Рабочий» писал, что его предшественник «закрыт на другой день после того, как в связи с прорывом Рижского фронта он призывал рабочих и солдат к выдержке и спокойствию. Чья рука так заботливо не дает рабочим знать, что партия предостерегает их от провокации?» Этот вопрос бил в точку. Судьба большевистской печати находилась в руках Савинкова. Закрытие газеты давало два преимущества: раздражало массы и мешало партии ограждать их от провокации, шедшей на этот раз непосредственно с правительственных высот.

По протокольным записям Ставки, может быть, слегка стилизованным, но в общем вполне отвечающим характеру обстановки и действующих лиц, Савинков заявил Корнилову: «Ваши требования, Лавр Георгиевич, будут удовлетворены в ближайшие дни. Но при этом Правительство опасается, что в Петрограде могут возникнуть серьезные осложнения . . . Опубликование ваших требований . . . будет толчком для выступления большевиков . . . Неизвестно, как к новому закону отнесутся советы. Последние также могут оказаться против Правительства . . . Поэтому прошу вас отдать распоряжение, чтобы третий конный корпус был к концу августа подтянут к Петрограду и был предоставлен в распоряжение Временного правительства. В случае, если кроме большевиков выступят и члены советов, нам придется действовать против них». Посланец Керенского прибавил, что действия должны быть самые решительные и беспощадные, на что Корнилов ответил, что он «иных действий и не понимает». Позже, когда приходилось оправдываться, Савинков прибавлял: «если бы к моменту восстания большевиков советы были большевистскими» . . . Но это слишком грубая уловка: декреты, возвещавшие переворот Керенского, должны были последовать через три-четыре дня. Речь шла, таким образом, не о советах будущего, а о тех, которые существовали в конце августа.

Чтобы не вышло недоразумений и чтобы не вы-

звать выступления большевиков «раньше времени», сговорились на такой последовательности действий: предварительно сосредоточить в Петрограде конный корпус, затем объявить столицу на военном положении и лишь после этого издать новые законы, которые должны будут вызвать восстание большевиков. В протоколе Ставки этот план записан черным по белому: «дабы Временное правительство точно знало, когда надо объявить петроградское военное губернаторство на военном положении и когда опубликовать новый закон, надо, чтобы генерал Корнилов точно протелеграфировал ему, Савинкову, о времени, когда корпус подойдет к Петрограду».

Генералы-заговорщики поняли, по словам Станкевича, «что Савинков и Керенский . . . хотят совершить какой-то переворот при помощи Ставки. Этого только и нужно было. Они торопливо соглашаются на все требования и условия» . . . Преданный Керенскому Станкевич оговаривается, что в Ставке «ошибочно соединяли» Керенского с Савинковым. Но как можно было их расчленить, раз Савинков явился с поручениями от Керенского, точно формулированными? Сам Керенский пишет: «25 августа Савинков возвращается из Ставки и докладывает мне, что войска в распоряжение Временного правительства будут высланы согласно условию». На 26-ое вечером назначено принятие Правительством того законопроекта о мерах в тылу, который должен был стать прологом к решающим действиям конного корпуса. Все подготовлено. Остается нажать кнопку.

События, документы, показания участников, наконец, признания самого Керенского согласно свидетельствуют о том, что министр-председатель без ведома части собственного Правительства, за спиною советов, которые доставили ему власть тайно от партии, к которой он себя причислял, вступил в соглашение с генеральской верхушкой армии для радикального изменения государственного режима при помощи вооруженной силы. На языке уголовного законодательства

этот образ действий имеет вполне определенное наименование, по крайней мере, для тех случаев, когда предприятие не приводит к победе. Противоречие между «демократическим» характером политики Керенского и планом спасения страны при помощи сабли может казаться непримиримым только на поверхностный взгляд. На самом деле кавалерийский план полностью вытекал из соглашательской политики. При вскрытии этой закономерности можно, в значительной мере, отвлечься не только от личности Керенского, но и от особенностей национальной среды: дело идет об объективной логике соглашательства в условиях революции.

Фридрих Эберт, народный уполномоченный Германии, соглашатель и демократ, не только действовал под руководством гогенцоллернских генералов, за спиною собственной партии, но и оказался уже в начале декабря 1918 года прямым участником военного заговора, имевшего целью арест высшего советского органа и провозглашение самого Эберта президентом республики. Не случайно Керенский объявлял впоследствии Эберта идеалом государственного деятеля.

Когда все замыслы, и Керенского, и Савинкова, и Корнилова, рухнули, Керенский, которому приходилось выполнять нелегкую работу заметания следов, показывал: «После московского Совещания для меня было ясно, что ближайшая попытка удара будет справа, а не слева». Совершенно неоспоримо, что Керенский боялся Ставки и того сочувствия, которым буржуазия окружала военных заговорщиков. Но в том то и дело, что со Ставкой Керенский считал нужным бороться не конным корпусом, а проведением программы Корнилова от своего имени. Двусмысленный сообщник премьера не просто выполнял деловое поручение, для которого достаточно было бы шифрованной телеграммы из Зимнего дворца в Могилев, — нет, он являлся, как посредник, чтобы примирить Корнилова с Керенским, т. е. согласовать их планы и тем обеспечить перевороту по возможности легаль-

ное русло. Керенский как бы говорил через Савинкова: «Действуйте, но в пределах *моего* замысла. Вы избегнете таким образом риска и получите почти все, чего хотите». Савинков намекал от себя: «Не выходите *преждевременно* за пределы планов Керенского». Таково было своеобразное уравнение с тремя неизвестными. Только в этой связи понятно обращение Керенского к Ставке через Савинкова за конным корпусом. К заговорщикам обращался высокопоставленный сообщник, соблюдавший свою легальность и стремившийся подчинить себе самый заговор.

В числе поручений, данных Савинкову, только одно выглядело, как мера, действительно направленная против заговора справа: оно касалось Главного комитета офицеров, упразднения которого требовала петроградская конференция партии Керенского. Но замечательна самая формулировка поручения: «*по возможности* ликвидировать Союз офицеров». Еще замечательнее то, что Савинков этой возможности не только не нашел, но и не искал. Вопрос попросту был похоронен, как несвоевременный. Самое поручение давалось лишь для того, чтобы иметь на бумаге след, как оправдание перед левыми: слова «по возможности» означали, что выполнения не требуется. Как бы для того, чтобы ярче подчеркнуть декоративный характер поручения, оно было поставлено на первом месте.

Пытаясь хоть как-нибудь ослабить убийственный смысл того факта, что, в ожидании удара справа, он очищал столицу от революционных полков и обращался в то же время к Корнилову за «надежными» войсками, Керенский ссылался позже на три сакраментальных условия, которыми он обставлял вызов конного корпуса. Так, свое согласие на подчинение Корнилову петроградского военного округа Керенский обусловил выделением из округа столицы с окрестностями, дабы Правительство не оказалось целиком в руках Ставки, ибо, как выражался Керенский в своем кругу, «мы тут были бы скушаны». Это

условие показывает лишь, что, мечтая подчинить генералов своему собственному замыслу, Керенский не имел в своем распоряжении ничего, кроме бессильного крючкотворства. Нежеланию Керенского быть скушанным можно поверить без доказательств. Два других условия стояли на том же уровне: Корнилов должен был не включать в состав экспедиционного корпуса так называемую «дикую» дивизию, состоявшую из кавказских горцев, и не ставить генерала Крымова во главе корпуса. С точки зрения ограждения интересов демократии это поистине означало проглатывать верблюда и оцеживать комаров. Но зато с точки зрения маскировки удара по революции условия Керенского имели несравненно более серьезный смысл. Направить против петроградских рабочих кавказских горцев, не говорящих по-русски, было бы слишком неосторожно: на это не решался в свое время даже и царь! Неудобство назначения Крымова, о котором у Исполнительного комитета были достаточно определенные сведения, Савинков убедительно мотивировал в Ставке интересами общего дела: «было бы нежелательно, — говорил он, — в случае возмущения в Петрограде, чтобы это возмущение было подавлено именно генералом Крымовым. С его именем общественное мнение свяжет, быть может, те побуждения, которыми он не руководствуется» . . . Наконец, самый факт, что глава Правительства, вызывая войсковой отряд в столицу, забегает вперед со странной просьбой: не посылать дикую дивизию и не назначать Крымова, как нельзя ярче уличает Керенского в том, что он заранее знал не только общую схему заговора, но и состав намечавшейся карательной экспедиции и кандидатуры важнейших исполнителей.

Как бы, однако, ни обстояло дело с этими второстепенными обстоятельствами, совершенно очевидно, что корниловский конный корпус никак не мог быть пригоден для защиты «демократии». Зато Керенский мог не сомневаться, что из всех частей армии этот корпус будет наиболее надежным орудием про-

тив революции. Правда, выгоднее было бы иметь в Петрограде отряд, преданный лично Керенскому, возвышающемуся над правыми и левыми. Однако, как покажет весь дальнейший ход событий, таких войск не существовало в природе. Для борьбы с революцией не было никого, кроме корниловцев; к ним Керенский и прибег.

Военные мероприятия только дополняли политику. Общий курс Временного правительства в течение неполных двух недель, отделяющих московское Совещание от восстания Корнилова, был бы, в сущности, сам по себе достаточен для доказательства того, что Керенский готовился не к борьбе с правыми, а к единому фронту с ними против народа. Игнорируя протесты Исполнительного комитета против его контрреволюционной политики, Правительство делает 26 августа смелый шаг навстречу помещикам своим неожиданным постановлением о повышении вдвое цен на хлеб. Ненавистный характер этой меры, введенной к тому же по гласному требованию Родзянко, приближал ее к сознательной провокации по отношению к голодающим массам. Керенский явно пытался подкупить крайний правый фланг московского Совещания крупной подачкой. «Я ваш!» говорил он Союзу офицеров своим льстивым приказом, подписанным в тот самый день, когда Савинков отправлялся на переговоры в Ставку. «Я ваш!» торопился крикнуть Керенский помещикам накануне кавалерийской расправы над тем, что оставалось еще от Февральской революции.

Показания Керенского следственной комиссии, им же назначенной, имели недостойный характер. Выступая в качестве свидетеля, глава Правительства чувствовал себя в сущности главным обвиняемым, к тому же пойманным с поличным. Многоопытные чиновники, прекрасно понимавшие механику событий, делали вид, будто всерьез верят объяснениям главы Правительства. Но остальные смертные, в том числе и члены партии Керенского, открыто недоумевали, каким

образом один и тот же корпус может быть пригоден и для совершения переворота и для отражения его. Слишком уж неосмотрительно было, со стороны «социалиста-революционера», вводить в столицу войско, предназначенное для ее удушения. Правда, и троянцы втащили некогда в стены собственного города вражеский отряд; но они не знали, по крайней мере, что заключалось во чреве деревянного коня. Да и то древний историк оспаривает версию поэта: по мнению Павзания, поверить Гомеру можно было бы лишь в том случае, если считать, что троянцы были «глупцами, лишенными и тени разума». Что сказал бы старик о показаних Керенского?

ВОССТАНИЕ КОРНИЛОВА

Еще в начале августа Корнилов распорядился перевезти «дикую» дивизию и III-й конный корпус с Юго-западного фронта в район железнодорожного треугольника: Невель—Новосокольники—Великие Луки, представляющий удобную базу для наступления на Петроград, под видом резерва для обороны Риги. Тогда же Главковерх приказал одну казачью дивизию сосредоточить в районе между Выборгом и Белоостровом: кулаку, занесенному над самой головой столицы — от Белоострова до Петрограда только 30 километров! — придана была видимость резерва для возможных операций в Финляндии. Таким образом, еще до московского Совещания, выдвинуты были для удара по Петрограду четыре конных дивизии, которые считались наиболее пригодными против большевиков. Относительно кавказской дивизии в окружении Корнилова попросту говорили: «горцам все равно, кого резать». Стратегический план был прост. Три дивизии, направлявшиеся с юга, предполагалось по железным дорогам перевезти до Царского Села, Гатчины и Красного Села, чтобы оттуда «*по получении* сведений о беспорядках, начавшихся в Петрограде, и *не позднее* утра 1 сентября» двинуть походным порядком для занятия южной части столицы, по левому берегу Невы. Дивизия, расположенная в Финляндии, должна была одновременно занять северную часть столицы.

При посредстве Союза офицеров Корнилов вступил в связь с петроградскими патриотическими обществами, которые располагали, по их собственным словам, двумя тысячами человек, отлично вооруженных, но нуждавшихся в опытных офицерах для руководства. Корнилов обещал дать командиров с фронта под видом отпускных. Для наблюдения за настроением петроградских рабочих и солдат и за деятельностью революционеров была образована тайная контр - разведка, во главе которой стал полковник «дикой» дивизии Гейман. Дело велось в рамках военных уставов, заговор располагал аппаратом Ставки.

Московское Совещание только укрепило Корнилова в его планах. Правда, Милюков, по собственному рассказу, рекомендовал повременить, ибо Керенский-де в провинции еще пользуется популярностью. Но такого рода совет не мог оказать влияния на зарвавшегося генерала: дело шло в конце концов не о Керенском, а о советах; к тому же Милюков не был человеком действия: штатский и, что еще хуже, профессор. Банкиры, промышленники, казацкие генералы торопили, митрополиты благословляли. Ординарец Завойко ручался за успех. Со всех сторон шли приветственные телеграммы. Союзная дипломатия принимала деятельное участие в мобилизации контрреволюционных сил. Сэр Бьюкенен держал в руках многие нити заговора. Военные представители союзников при Ставке заверяли в своих лучших чувствах. «В особенности, — свидетельствует Деникин, — в трогательной форме делал это британский представитель». За посольствами стояли их правительства. Телеграммой 23 августа комиссар Временного правительства за границей Сватиков доносил из Парижа, что во время прощальных аудиенций министр иностранных дел Рибо «чрезвычайно жадно интересовался, кто из окружающих Керенского людей является твердым и энергичным человеком», а президент Пуанкаре много расспрашивал о... Корнилове». Все это Ставке было известно. Корнилов не видел

оснований откладывать и ждать. Около 20-го две конные дивизии были продвинуты дальше по направлению к Петрограду. В день падения Риги вызваны были в Ставку по 4 офицера от полков армии, всего около 4000, «для изучения английских бомбометов». Более надежным сразу разъяснили, что дело идет о том, чтоб раз навсегда раздавить «большевистский Петроград». В этот же день из Ставки приказано было срочно передать в конные дивизии по несколько ящиков ручных гранат: они как нельзя лучше могли пригодиться для уличных боев. «Было условлено, — пишет начальник штаба Ликомский, — что все должно было быть подготовлено к 26 августа».

При приближении к Петрограду корниловских войск, внутренняя организация «должна в Петрограде выступить, занять Смольный институт и постараться арестовать большевистских главарей». Правда, в Смольном институте большевистские главари появлялись лишь на заседаниях; зато там постоянно пребывал Исполнительный комитет, который поставлял министров и продолжал числить Керенского товарищем председателя. Но в большом деле нет ни возможности, ни нужды соблюдать оттенки. Корнилов этим во всяком случае не занимался. «Пора, — говорил он Лукомскому, — немецких ставленников и шпионов, во главе с Лениным, повесить, а Совет рабочих и солдатских депутатов разогнать, да разогнать так, чтобы он нигде не собирался».

Руководство операцией Корнилов твердо решил возложить на Крымова, который в своих кругах пользовался репутацией смелого и решительного генерала. «Крымов был тогда веселым, жизнерадостным, — отзывается о нем Деникин, — и с верою смотрел в будущее». В Ставке с верой смотрели на Крымова. «Я убежден, — говорил о нем Корнилов, — что он не задумается, в случае, если это понадобится, перевешать весь состав Совета рабочих и солдатских де-

путатов». Выбор «веселого, жизнерадостного» генерала был, следовательно, как нельзя более удачен.

В разгаре этих работ, несколько отвлекавших от немецкого фронта, в Ставку прибыл Савинков, чтоб уточнить старое соглашение, внеся в него второстепенные изменения. Для удара по общему врагу Савинков назвал ту самую дату, какую Корнилов давно уже наметил для действий против Керенского: полугодовщину революции. Несмотря на то, что план переворота распался на два рукава, обе стороны стремились оперировать общими элементами плана: Корнилов — для маскировки, Керенский — для поддержания собственных иллюзий. Предложение Савинкова было Ставке как нельзя более на руку: Правительство само подставляло голову, Савинков собирался затянуть петлю. Генералы в Ставке потирали руки: «Клюет!» говорили они, как счастливые рыболовы.

Корнилов тем легче пошел на уступки, что они ему ничего не стоили. Какое значение имеет выделение петроградского гарнизона из подчинения Ставке, раз в столицу вступят корниловские войска? Согласившись на два других условия, Корнилов тут же их нарушил: дикая дивизия была назначена в авангард, а Крымов был поставлен во главе всей операции. Корнилов не считал нужным оцеживать комаров.

Основные вопросы своей тактики большевики обсуждали открыто: массовая партия и не может действовать иначе. Правительство и Ставка не могли не знать, что большевики удерживают от выступлений, а не призывают к ним. Но как желание бывает отцом мысли, так политическая потребность становится матерью прогноза. Все правящие классы говорили о предстоящем восстании, потому что оно было им нужно до зарезу. Дату восстания то приближали, то отодвигали на несколько дней. В военном министерстве, т. е. у Савинкова, — сообщала печать, — к предстоящему выступлению относятся «весьма серьезно». «Речь» сообщала, что инициативу выступления берет

на себя большевистская фракция петербургского Совета. В качестве политика Милюков был в такой мере ангажирован в вопросе о мнимом восстании большевиков, что счел вопросом чести поддержать эту версию и в качестве историка. «В опубликованных позднее документах разведки, — пишет он, — именно к этому времени относятся новые ассигновки германских денег на «предприятия Троцкого». Вместе с русской разведкой ученый историк забывает, что Троцкий, которого немецкий штаб для удобства русских патриотов называл по имени, «именно к этому времени» — с 23 июля по 4 сентября — находился в тюрьме. То обстоятельство, что земная ось есть лишь воображаемая линия, не мешает, как известно, земле совершать свое круговращение. Так и план корниловской операции вращался вокруг воображаемого выступления большевиков, как вокруг своей оси. Этого могло вполне хватить на подготовительный период. Но для развязки нужно было все же кое-что более материальное.

Один из руководящих военных заговорщиков, офицер Винберг, в интересных записках, вскрывающих закулисную сторону дела, полностью подтвердил указания большевиков на широкую работу военной провокации. Милюков оказался вынужден, под гнетом фактов и документов, признать, «что подозрения крайних левых кругов были правильны; агитация на заводах несомненно входила в число задач, исполнить которые должны были офицерские организации». Но и это не помогало: большевики, как жалуется тот же историк, решили «не подставляться»; массы не собирались выступать без большевиков. Однако, и это препятствие было в плане учтено и, так сказать, заранее парализовано. «Республиканский центр», как назывался руководящий орган заговорщиков в Петрограде, решил попросту заменить большевиков: подделать революционное восстание было возложено на казацкого полковника Дутова. В январе 1918 года Дутов, на вопрос своих политических друзей: «что

должно было случиться 28 августа 1917 года?» ответил дословно следующее: «между 28 августа и 2 сентября, под видом большевиков, должен был выступить я». Все было предусмотрено. Не даром же над планом работали офицеры генерального штаба.

Керенский, в свою очередь, после возвращения Савинкова из Могилева, склонен был считать, что недоразумения устранены, и что Ставка полностью включилась в его план. «Были моменты, — пишет Станкевич, — когда все действующие лица верили в то, что они действуют не только в одном направлении, но одинаково рисуют себе и самый метод действия». Эти счастливые моменты длились не долго. В дело вмешалась случайность, которая, как все исторические случайности, открыла клапан необходимости. К Керенскому прибыл Львов, октябрист, член первого Временного правительства, тот самый, который, в качестве экспансивного обер-прокурора святейшего синода, докладывал, что в этом учреждении заседают «идиоты и мерзавцы». На Львова судьба возложила обнаружить, что под видом единого плана имелось два плана, один из которых враждебно направлялся против другого.

В качестве безработного, но словоохотливого политика Львов принимал участие в бесконечных разговорах о преобразовании власти и спасении страны, то в Ставке, то в Зимнем дворце. На этот раз он явился с предложением своего посредничества для преобразования кабинета на национальных началах, при чем благожелательно пугал Керенского громами и молниями недовольной Ставки. Обеспокоенный министр-председатель решил воспользоваться Львовым, чтоб проверить Ставку, а заодно, повидимому, и своего сообщника Савинкова. Керенский заявил о своем сочувствии курсу на диктатуру, что не было лицемерием, и поощрил Львова на дальнейшее посредничество, в чем была военная хитрость.

Когда Львов снова прибыл в Ставку, уже отягощенный полномочиями Керенского, генералы усмотрели в его миссии доказательство того, что Правитель-

ство созрело для капитуляции. Вчера только Керенский, через Савинкова, обязался провести программу Корнилова под защитой казачьего корпуса; сегодня Керенский уже предлагал Ставке перестраивать совместно власть. Надо нажать коленом, — правильно решили генералы. Корнилов объяснил Львову, что так как предстоящее восстание большевиков имеет целью «низвержение власти Временного правительства, заключение мира с Германией и выдачу ей большевиками балтийского флота», то не остается иного выхода, как «немедленная передача власти Временным правительством в руки Верховного главнокомандующего». Корнилов прибавил к этому: «безразлично, кто бы таковым ни был». Но он вовсе не собирался уступать кому-либо свое место. Его несменяемость была заранее закреплена клятвой георгиевских кавалеров, Союза офицеров и Совета казачьих войск. В интересах ограждения «безопасности» Керенского и Савинкова от большевиков, Корнилов настойчиво просил их прибыть в Ставку под его личную защиту. Ординарец Завойко недвусмысленно намекал Львову, в чем именно защита будет состоять.

Вернувшись в Москву, Львов, как «друг», пламенно уговаривал Керенского согласиться на предложение Корнилова «для спасения жизни членов Временного правительства и, главным образом, его собственной». Керенский не мог не понять, наконец, что политическая игра с диктатурой принимает серьезный оборот и может закончиться совсем неблагополучно. Решив действовать, он, прежде всего, вызвал Корнилова к аппарату, чтобы проверить: правильно ли Львов передал поручение? Вопросы Керенский ставил не только от своего имени, но и от имени Львова, хотя последний отсутствовал при разговоре. «Подобный прием, — отмечает Мартынов, — уместный для сыщика, был, конечно, неприличен для главы Правительства». О своем приезде вместе с Савинковым в Ставку на следующий день Керенский говорил, как о решенном деле. Весь вообще диалог по проволоке ка-

жется невероятным: демократический глава Правительства и «республиканский» генерал сговариваются об уступке друг другу власти, точно дело идет о месте в спальном вагоне!

Милюков совершенно прав, когда в требовании Корнилова передать ему власть видит лишь «продолжение все тех же давно начатых открыто разговоров о диктатуре, о реорганизации власти и т. д.». Но Милюков заходит слишком далеко, когда пытается на этом основании изобразить дело так, будто заговора Ставки в сущности не было. Корнилов несомненно не мог бы предъявлять через Львова свои требования, еслиб не состоял ранее в заговоре с Керенским. Но это не меняет того, что одним заговором, общим, Корнилов прикрывал другой, свой собственный. В то время, как Керенский и Савинков собирались тряхнуть большевиками, отчасти — советами, Корнилов намеревался тряхнуть также и Временным правительством. Именно этого Керенский не хотел.

26-го вечером Ставка в течение нескольких часов действительно могла думать, что Правительство капитулирует без боя. Но это означало не то, что заговора не было, а лишь то, что он казался близким к торжеству. Победоносный заговор всегда находит средства легализовать себя. «Я видел генерала Корнилова после этого разговора», свидетельствует князь Трубецкой, дипломат, представлявший при Ставке министерство иностранных дел. «Вздох облегчения вырвался из его груди, и на мой вопрос: значит, Правительство идет вам навстречу во всем? — он ответил: да». Корнилов ошибался. Как раз с этого момента Правительство, в лице Керенского, переставало итти ему навстречу.

Значит, у Ставки свои планы? Значит, речь идет не вообще о диктатуре, а о диктатуре Корнилова? Ему, Керенскому, как бы в насмешку, предлагают пост министра юстиции? Корнилов, действительно, имел осторожность намекнуть на это Львову. Смешивая

себя с революцией, Керенский кричал министру финансов Некрасову: «Я революции им не отдам». Бескорыстный друг Львов был тут же арестован и провел бессонную ночь в Зимнем дворце с двумя часовыми в ногах, слушая со скрежетом зубовным, как «за стеной, в соседней комнате Александра III, торжествующий Керенский, довольный успешным ходом своего дела, распевал без конца рулады из опер». В эти часы Керенский испытывал чрезвычайный прилив энергии.

Петроград в те дни жил в двойной тревоге. Политическое напряжение, намеренно преувеличиваемое прессой, таило в себе взрыв. Падение Риги приблизило фронт. Вопрос об эвакуации столицы, поставленный событиями войны еще задолго до падения монархии, приобрел теперь новую остроту. Состоятельные люди покидали город. Бегство буржуазии питалось гораздо больше страхом перед новым восстанием, чем перед нашествием неприятеля. 26 августа Центральный комитет большевистской партии снова повторял: «Темными личностями... ведется провокационная агитация, якобы от имени нашей партии». Руководящие органы петроградского Совета, профессиональных союзов и фабрично-заводских комитетов объявляли в тот же день: ни одна рабочая организация, ни одна политическая партия не призывают ни к каким демонстрациям. Слухи о предстоящем на завтра свержении Правительства не затихали тем не менее ни на час. «В правительственных кругах, — сообщала печать, — указывают на единодушно принятое решение относительно того, чтобы все попытки выступления были подавлены». Приняты даже меры к тому, чтоб вызвать выступление прежде, чем подавить его.

В утренних газетах 27-го не только не сообщалось еще ничего о мятежных замыслах Ставки, но, наоборот, интервью Савинкова заверяло, что «генерал Корнилов пользуется абсолютным доверием Временного правительства». День полугодовщины вообще складывался на редкость спокойно. Рабочие и солдаты избе-

гали всего, что походило бы на демонстрацию. Буржуазия, боясь беспорядков, сидела по домам. Улицы стояли пустынными. Могилы февральских жертв на Марсовом поле казались забытыми.

В утро долгожданного дня, который должен был принести спасение страны, Верховный главнокомандующий получил от министра-председателя телеграфное приказание: сдать должность начальнику штаба и самому немедленно ехать в Петроград. Дело сразу получало совершенно непредвиденный оборот. Генерал понял, по его словам, что «тут ведется двойная игра». С большим правом он мог бы сказать, что его собственная двойная игра раскрыта. Корнилов решил не уступать. Увещания Савинкова по прямому проводу не помогли. «Вынужденный выступить открыто, — с таким манифестом обратился Главковерх к народу, — я, генерал Корнилов, заявляю, что Временное правительство, под давлением большевистского большинства советов, действует в полном согласии с планами германского генерального штаба, одновременно с предстоящей высадкой вражеских сил на рижском побережьи, убивает армию и потрясает страну внутри». Не желая сдавать власть предателям, он, Корнилов, «предпочитает умереть на поле чести и брани». Об авторе этого манифеста Милюков писал позже с оттенком восхищения: «решительный, не признающий никаких юридических тонкостей и прямо идущий к цели, которую раз признал правильной». Главнокомандующий, снимающий с фронта войска для свержения собственного Правительства, действительно, не может быть обвинен в пристрастии к «юридическим тонкостям».

Корнилова Керенский сместил единолично. Временное правительство в это время уже не существовало: вечером 26-го господа министры подали в отставку, которая, по счастливому стечению обстоятельств, отвечала желаниям всех сторон. Еще за несколько дней до разрыва Ставки с Правительством генерал Лукомский передал Львову через Аладьина: «недурно бы предупредить кадетов, чтобы к 27 августа они

вышли все из Временного правительства, чтобы поставить этим Правительство в затруднительное положение и самим избегнуть неприятностей». Кадеты не преминули принять к сведению эту рекомендацию. С другой стороны, сам Керенский заявил Правительству, что считает возможным бороться с мятежом Корнилова «лишь при условии предоставления ему единолично всей полноты власти». Остальные министры как бы только и ждали столь счастливого повода для подачи в очередную отставку. Так коалиция получила еще одну проверку. «Министры из партии к. д., — пишет Милюков, — заявили, что они в данный момент уходят в отставку, не предрешая вопроса о своем будущем участии во Временном правительстве». Верные своей традиции кадеты хотели переждать в стороне дни борьбы, чтобы принять решение в зависимости от ее исхода. Они не сомневались, что соглашатели сохранят для них в неприкосновенности их места. Сняв с себя ответственность, кадеты, вместе со всеми другими отставными министрами, принимали затем участие в ряде совещаний Правительства, которые носили «частный характер». Два лагеря, готовившиеся к гражданской войне, группировались в «частном» порядке вокруг главы Правительства, наделенного всеми возможными полномочиями, но не действительной властью.

На полученной в Ставке телеграмме Керенского: «все эшелоны, следующие на Петроград и в его район, задерживать и направлять в пункты прежних последних стоянок», Корнилов надписал: «Приказания этого не исполнять, двигать войска к Петрограду». Дело вооруженного мятежа становилось таким образом прочно на рельсы. Это надо понимать буквально: три кавалерийских дивизии железнодорожными эшелонами двигались на столицу.

Приказ Керенского по войскам Петрограда гласил: «генерал Корнилов, заявлявший о своем патриотизме и верности народу... взял полки с фронта и... отправил против Петрограда». Керенский благо-

разумно умолчал, что полки с фронта сняты были не только с его ведома, но и по прямому его требованию, для расправы над тем самым гарнизоном, перед которым он теперь обличал вероломство Корнилова. Мятежный Главковерх, разумеется, не полез за словом в карман. «...Изменники не среди нас, — говорилось в его телеграмме, —а там, в Петрограде, где за немецкие деньги, при преступном попустительстве власти, продавалась и продается Россия». Так клевета, выдвинутая против большевиков, пролагала себе все новые и новые пути.

То приподнятое ночное настроение, в каком председатель Совета отставных министров пел арии из опер, быстро прошло. Борьба с Корниловым, какой бы оборот она ни приняла, угрожала тягчайшими последствиями. «В первую же ночь восстания Ставки, — пишет Керенский, — в советских, солдатских и рабочих кругах Петербурга стала упорно распространяться молва о прикосновенности Савинкова к движению генерала Корнилова». Молва называла Керенского немедленно вслед за Савинковым, и молва не ошибалась. Впереди приходилось опасаться опаснейших разоблачений.

«Поздно ночью на 26-ое августа — рассказывает Керенский — ко мне в кабинет вошел очень взволнованный управляющий военным министерством. — Господин министр, — обратился ко мне, вытягиваясь во фронт Савинков, — прошу вас немедленно арестовать меня, как соучастника генерала Корнилова. Если же вы доверяете мне, то прошу предоставить мне возможность делом доказать народу, что я ничего общего с восставшими не имею... — В ответ на это заявление — продолжает Керенский — я тут же назначил Савинкова временным генерал-губернатором Петербурга, предоставив ему широкие полномочия для защиты Петербурга от войск генерала Корнилова». Мало того: по просьбе Савинкова, Керенский назначил Филоненко

в помощь ему. Дело восстания, как и дело подавления его, замыкалось таким образом в кругу «директории».

Столь поспешное назначение Савинкова генерал-губернатором диктовалось Керенскому борьбой за политическое самосохранение: еслиб Керенский выдал Савинкова советам, Савинков выдал бы немедленно Керенского. Наоборот, получив от Керенского, не без вымогательства, возможность легализовать себя показным участием в действиях против Корнилова, Савинков должен был сделать все возможное для обеления Керенского. «Генерал-губернатор» нужен был не столько для борьбы против контр-революции, сколько для сокрытия следов заговора. Дружная работа сообщников в этом направлении началась немедленно.

«В 4 часа утра, 28-го августа, — свидетельствует Савинков, — я вернулся в Зимний дворец, по вызову Керенского, и нашел там генерала Алексеева и Терещенко. Мы все четверо были согласны, что ультиматум Львова не более, как недоразумение». Посредническая роль в этом предрассветном совещании принадлежала новому генерал-губернатору. Направлял из-за кулис Милюков: в течение дня он открыто выступил на сцену. Алексеев, хоть и называл Корнилова бараньей головой, принадлежал к одному с ним лагерю. Заговорщики и их секунданты сделали последнюю попытку объявить все происшедшее «недоразумением», т. е. сообща обмануть общественное мнение, дабы спасти, что можно, из общего плана. Дикая дивизия, генерал Крымов, казачьи эшелоны, отказ Корнилова сдать должность, поход на столицу — все это не более, как подробности «недоразумения»! Испуганный зловещим переплетом обстоятельств Керенский уже не кричал: «Я революции им не отдам!» Немедленно после соглашения с Алексеевым он вошел в комнату журналистов в Зимнем дворце и обратился к ним с требованием снять во всех газетах его воззвание, объявлявшее Корнилова изменником. Когда из ответов журналистов выяснилось, что задача эта технически невыполнима, Керенский воскликнул: «очень

жаль». Этот мелкий эпизод, запечатленный в газетных выпусках следующего дня, с несравненной яркостью освещает фигуру запутавшегося в конец суперарбитра нации. Керенский так совершенно воплощал в себе и демократию и буржуазию, что теперь он оказался одновременно высшим носителем государственной власти и преступным заговорщиком против нее.

К утру 28-го разрыв между Правительством и Главнокомандующим стал совершившимся фактом пред лицом всей страны. В дело немедленно вмешалась биржа. Если московскую речь Корнилова, грозившую сдачей Риги, она отметила понижением русских бумаг, то на известие об открытом восстании генералов она реагировала повышением всех ценностей. Своей уничижительной котировкой февральского режима биржа дала безупречное выражение настроениям и надеждам имущих классов, которые не сомневались в победе Корнилова.

Начальник штаба Лукомский, которому Керенский накануне приказал взять на себя временно командование, ответил: «Не считаю возможным принимать должность от генерала Корнилова, ибо за этим последует взрыв в армии, который погубит Россию». За вычетом кавказского главнокомандующего, не без запоздания заявившего о своей верности Временному правительству, остальные главнокомандующие в разных тонах поддержали требования Корнилова. Вдохновляемый кадетами Главный комитет союза офицеров разослал во все штабы армии и флота телеграмму: «Временное правительство, уже неоднократно доказавшее нам свою государственную немощь, ныне обесчестило свое имя провокацией и не может дольше оставаться во главе России»... Почетным председателем Союза офицеров состоял тот же Лукомский! Генералу Краснову, назначенному командующим III конного корпуса, в Ставке заявили: «Никто Керенского защищать не будет. Это только прогулка. Все подготовлено».

Об оптимистических расчетах руководителей и

вдохновителей заговора дает неплохое представление шифрованная телеграмма уже известного нам князя Трубецкого министру иностранных дел: «Трезво оценивая положение, — пишет он, — приходится признать, что весь командный состав, подавляющее большинство офицерского состава и лучшие строевые части армии пойдут за Корниловым. На его стороне станут в тылу все казачество, большинство военных училищ, а также лучшие строевые части. К физической силе следует присоединить... моральное сочувствие всех несоциалистических слоев населения, а в низах... равнодушие, которое подчинится всякому удару хлыста. Нет сомнения, что громадное количество мартовских социалистов не замедлит перейти на сторону» Корнилова, в случае его победы. Трубецкой отражал не только надежды Ставки, но и настроения союзных миссий. В корниловском отряде, двигавшемся на завоевание Петрограда, находились английские броневики с английской прислугой: и это, надо думать, была наиболее надежная часть. Глава английской военной миссии в России генерал Нокс упрекал американского полковника Робинса в том, что последний не поддерживает Корнилова. «Я не заинтересован в правительстве Керенского, — говорил британский генерал, — оно слишком слабо; необходима военная диктатура, необходимы казаки, этот народ нуждается в кнуте! Диктатура — это как раз то, что нужно».

Все эти голоса с разных сторон доходили до Зимнего дворца и потрясающе действовали на его обитателей. Успех Корнилова казался неотвратимым. Министр Некрасов сообщил своим друзьям, что дело окончательно проиграно, и остается только честно умереть. «Некоторые видные вожди Совета, — утверждает Милюков, — предчувствуя свою участь в случае победы Корнилова, спешили уже приготовить себе заграничные паспорта».

Из часа в час приходили сведения, одно другого грознее, о приближении корниловских войск. Буржу-

азная пресса с жадностью подхватывала их, раздувала, нагромождала, создавая атмосферу паники.

В $12^{1}/_{2}$ часов дня 28 августа: «отряд, присланный генералом Корниловым, сосредоточился вблизи Луги». В $2^{1}/_{2}$ часа пополудни: «Через станцию Оредеж проследовало девять новых поездов с войсками Корнилова. В головном поезде находится железнодорожный батальон». В 3 часа пополудни: «Лужский гарнизон сдался войскам генерала Корнилова и выдал все оружие. Станция и все правительственные здания Луги заняты войсками Корнилова». В 6 часов вечера: «Два эшелона корниловских войск прорвались из Нарвы и находятся в полуверсте от Гатчины. Два другие эшелона на пути к Гатчине». В 2 часа ночи на 29 августа: «У станции Антропшино (33 километра от Петрограда) начался бой между правительственными и корниловскими войсками. С обеих сторон есть убитые и раненые». Ночью же пришла весть о том, что Каледин угрожает отрезать Петроград и Москву от хлебородного юга России.

Ставка, главнокомандующие фронтами, британская миссия, офицерство, эшелоны, железнодорожные батальоны, казачество, Каледин — все это воспринимается в малахитовом зале Зимнего дворца, как трубные звуки страшного суда.

С неизбежными смягчениями это признает сам Керенский. «День 28 августа был как раз временем наибольших колебаний, — пишет он, — наибольших сомнений в силе противников Корнилова, наибольшей нервности в среде самой демократии». Нетрудно представить себе, что скрывается за этими словами. Глава Правительства терзался размышлениями не только о том, какой из двух лагерей сильнее, но и о том, какой из них для него лично страшнее. «Мы не с вами, справа, и не с вами, слева», — такие слова казались эффектными со сцены московского театра. В переводе на язык готовой вспыхнуть гражданской войны они означали, что кружок Керенского может оказаться ненужен ни правым, ни левым. «Все мы, — пишет

Станкевич, — были словно оглушены отчаянием, что совершилась драма, разрушающая все. О степени оглушения можно судить по тому, что даже после всенародного разрыва Ставки и Правительства делались попытки найти какое-то примирение»...

«Мысль о посредничестве... в этой обстановке рождалась сама собой», говорит Милюков, который предпочитал действовать в качестве третьего. Вечером 28-го он явился в Зимний дворец, чтоб «посоветовать Керенскому отказаться от строго-формальной точки зрения нарушенного закона». Либеральный вождь, который понимал, что надо уметь отличать ядро ореха от скорлупы его, был в то же время наиболее подходящим лицом на амплуа лойяльного посредника. 13 августа Милюков узнал непосредственно от Корнилова, что восстание назначено им на 27-ое. На следующий день, 14-го, Милюков потребовал в своей речи на Совещании, чтобы «немедленное принятие мер, указанных Верховным главнокомандующим, не служило предметом подозрений, словесных угроз или даже увольнений». До 27-го Корнилов должен был оставаться вне подозрений! В то же время Милюков обещал Керенскому свою поддержку «добровольно и без споров». Вот когда уместно вспомнить о висельной петле, которая тоже поддерживает «без споров».

С своей стороны Керенский признает, что явившийся с предложением посредничества Милюков «избрал очень удобную минуту, чтобы доказывать мне, что реальная сила на стороне Корнилова». Беседа закончилась настолько благополучно, что по окончании ее Милюков указал своим политическим друзьям на генерала Алексеева, как на такого заместителя Керенского, против которого Корнилов возражать не будет. Алексеев великодушно дал свое согласие.

За Милюковым шел тот, который больше его. Поздно вечером британский посол Бьюкенен вручил министру иностранных дел декларацию, в которой представители союзных держав единодушно предлагали свои добрые услуги «в интересах гуманности

и желания устранить непоправимое бедствие. Официальное посредничество между Правительством и мятежным генералом было ничем иным, как поддержкой и страховкой мятежа. В ответ Терещенко выражал от имени Временного правительства «крайнее удивление» по поводу восстания Корнилова, большая часть программы которого была Правительством принята.

В состоянии одиночества и прострации Керенский не нашел ничего лучшего, как устроить еще одно бесконечное совещание со своими отставными министрами. Как раз во время этого бескорыстного препровождения времени получены были особенно тревожные сведения относительно продвижения неприятельских эшелонов. Некрасов полагал, что «через несколько часов корниловские войска, вероятно, уже будут в Петрограде»... Бывшие министры начали гадать, «как надлежало бы построить в таких обстоятельствах правительственную власть». Идея директории снова всплыла на поверхность. Была встречена сочувствием и правой и левой части мысль о включении в состав «директории» генерала Алексеева. Кадет Кокошкин считал, что Алексеев должен быть поставлен во главе Правительства. По некоторым показаниям, предложение об уступке власти кому-либо другому сделано было самим Керенским, с прямой ссылкой на его беседу с Милюковым. Никто не возражал. Кандидатура Алексеева примиряла всех. План Милюкова казался совсем-совсем близким к осуществлению. Но тут, как и полагается в момент наивысшего напряжения, раздался драматический стук в дверь: в соседней комнате ждала депутация от Комитета по борьбе с контр-революцией. Она пришла во время: одним из опаснейших гнезд контр- революции являлось жалкое, трусливое и вероломное совещание корниловцев, посредников и капитулянтов в зале Зимнего дворца.

Новый советский орган был создан на объединенном заседании обоих Исполнительных комитетов, рабоче-солдатского и крестьянского, вечером 27-го и состоял из специально делегированных представительств

от трех советских партий, от обоих Исполнительных комитетов, центра профессиональных союзов и петроградского Совета. Созданием боевого Комитета ad hoc признавалось в сущности, что руководящие советские учреждения сами себя чувствуют одряхлевшими и для революционных задач нуждаются в прилитии свежей крови.

Вынужденные искать поддержки масс против генерала соглашатели спешили выдвинуть левое плечо вперед. Сразу забытыми оказались речи о том, что все принципиальные вопросы должны быть отложены до Учредительного собрания. Меньшевики заявили, что будут добиваться от Правительства немедленного провозглашения демократической республики, роспуска Государственной думы и проведения в жизнь аграрных реформ: такова причина того, что имя республики впервые появилось в заявлении Правительства по поводу измены Верховного главнокомандующего.

По вопросу о власти Исполнительные комитеты признали необходимым оставить пока Правительство в прежнем его виде, заменив ушедших кадетов демократическими элементами; для окончательного же решения вопроса созвать в ближайшем будущем съезд всех организаций, объединившихся в Москве на платформе Чхеидзе. После ночных переговоров выяснилось, однако, что Керенский решительно отбивается от демократического контроля над Правительством. Чувствуя, как почва сползает под ним справа и слева, он изо всех сил держится за форму «директории», в которой отложились для него еще неостывшие мечты о сильной власти. После новых томительных и бесплодных прений в Смольном решено еще раз обратиться к единственному и незаменимому Керенскому с просьбой согласиться на первоначальный проект Исполнительных комитетов. В 7½ часов утра Церетели возвращается с сообщением, что Керенский на уступки не идет, требует «безоговорочной поддержки», но соглашается направить «все силы государства» на борьбу с контр-революцией. Изможденные ночным

бдением Исполнительные комитеты сдаются, наконец, перед пустой, как свищ, идеей «директории».

Данное Керенским торжественное обещание бросить «силы государства» на борьбу с Корниловым не помешало ему, как мы уже знаем, вести с Милюковым, Алексеевым и отставными министрами переговоры о мирной капитуляции перед Ставкой, прерванные ночным стуком в дверь. Через несколько дней меньшевик Богданов, один из деятелей Комитета обороны, в осторожных, но недвусмысленных словах докладывал петроградскому Совету о вероломстве Керенского. «Когда Временное правительство заколебалось, и не было ясно, чем кончится корниловская авантюра, появились посредники, вроде Милюкова и генерала Алексеева»... Комитет обороны вмешался и «со всей энергией» потребовал открытой борьбы. «Под нашим влиянием, — продолжал Богданов, — Правительство прекратило все переговоры и отказалось от всяких предложений Корнилова» . . .

После того, как глава Правительства, вчерашний заговорщик против левого лагеря, оказался его политическим пленником, кадетские министры, подавшие 26-го в отставку лишь в порядке предварительного раздумья, заявили, что окончательно выходят из Правительства, не желая нести ответственность за действия Керенского по подавлению столь патриотического, столь лойяльного, столь спасительного мятежа. Отставные министры, советники, друзья, один за другим покидали Зимний дворец. Это был, по словам самого Керенского, «массовый исход из места, заведомо обреченного на погибель». Была одна такая ночь, с 28 на 29, когда Керенский, «почти в единственном числе прогуливался» в Зимнем дворце. Бравурные арии не шли больше на ум. «Ответственность лежала на мне в эти мучительно тянувшиеся дни поистине нечеловеческая». Это была главным образом ответственность за судьбу самого Керенского: все остальное уже совершалось помимо него.

БУРЖУАЗИЯ МЕРЯЕТСЯ СИЛАМИ С ДЕМОКРАТИЕЙ

28 августа, когда Зимний дворец трепала лихорадка страха, командир дикой дивизии князь Багратион докладывал по телеграфу Корнилову, что «туземцы исполнят долг перед родиной и по приказу своего верховного героя... прольют последнюю кровь». Уже через несколько часов движение дивизии приостановилось, а 31-го августа особая депутация, во главе с тем же Багратионом, заверяла Керенского, что дивизия вполне подчиняется Временному правительству. Все это произошло не только без боя, но без единого выстрела. Дело не дошло не только до последней, но и до первой капли крови. Солдаты Корнилова не сделали и попытки пустить в ход оружие, чтоб проложить себе дорогу к Петрограду. Командиры не посмели им это приказать. Правительственным войскам нигде не пришлось прибегать к силе, чтобы остановить напор корниловских отрядов. Заговор разложился, рассыпался, испарился.

Чтобы объяснить его, достаточно ближе присмотреться к силам, вступившим в борьбу. Прежде всего мы вынуждены будем установить, — и это открытие не будет для нас неожиданным, — что штаб заговорщиков был все тем же царским штабом, канцелярией людей без головы, не способных заранее обдумать в затеянной ими большой игре два-три хода под ряд. Не-

смотря на то, что Корнилов за несколько недель вперед назначил день переворота, ничто не было предусмотрено и как следует рассчитано. Чисто военная подготовка восстания была произведена неумело, неряшливо, легкомысленно. Сложные перемены в организации и командном составе предприняты были перед самым выступлением, уже на ходу. «Дикая» дивизия, которая должна была нанести революции первый удар, насчитывала всего 1350 бойцов, при чем для них не хватало 600 винтовок, 1000 пик и 500 шашек. За пять дней до открытия боевых действий Корнилов издал приказ о переформировании дивизии в корпус. Такого рода мера, осуждаемая школьными учебниками, была, очевидно, сочтена необходимой, чтоб увлечь офицеров повышенным содержанием. «Телеграмма о том, что недостающее оружие будет отпущено в Пскове, — пишет Мартынов, — была получена Багратионом только 31 августа, после окончательного провала всего предприятия».

Командировкой инструкторов с фронта в Петроград ставка тоже занялась лишь в самую последнюю минуту. Принимавшие поручение офицеры широко снабжались деньгами и отдельными вагонами. Но патриотические герои не так уж спешили, надо думать, спасать отечество. Через два дня железнодорожное сообщение между Ставкой и столицей оказалось прервано, и большинство командированных вообще не попало к месту предполагаемых подвигов.

В столице была, однако, своя организация корниловцев, насчитывавшая до двух тысяч членов. Заговорщики были разбиты группами по специальным заданиям: захват броневых автомобилей, аресты и убийства наиболее видных членов Совета, арест Временного правительства, овладение важнейшими учреждениями. По словам уже известного нам Винберга, председателя Союза воинского долга, «к приходу войск Крымова главные силы революции должны были уже быть сломленными, уничтоженными, или обезвреженными, так что Крымову оставалось бы дело водворения порядка в

городе». Правда, в Могилеве эту программу действий считали преувеличенной и главную задачу возлагали на Крымова. Но и Ставка ждала от отрядов Республиканского центра очень серьезной помощи. Между тем петроградские заговорщики решительно ничем себя не проявили, не подали голоса, не пошевелили пальцем, как еслиб их вовсе не было на свете. Винберг объясняет эту загадку довольно просто. Оказывается, что заведывавший контр-разведкой полковник Гейман самое решительное время провел в загородном ресторане, а полковник Сидорин, объединявший, по непосредственному поручению Корнилова, деятельность всех патриотических обществ столицы, и полковник Дюсиметьер, руководивший военным отделом, «исчезли бесследно, и нигде их нельзя было найти». Казачий полковник Дутов, который должен был выступить «под видом большевиков», жаловался впоследствии: «Я бегал... звать выйти на улицу, да за мной никто не пошел». Предназначенные на организацию денежные суммы были, по словам Винберга, крупными участниками присвоены и прокучены. Полковник Сидорин, по утверждению Деникина, «скрылся в Финляндию, захватив с собою последние остатки денег организации, что-то около полутораста тысяч рублей». Львов, которого мы оставили арестованным в Зимнем дворце, передавал впоследствии об одном из закулисных жертвователей, который должен был вручить офицерам значительную сумму, но, приехав в назначенное место, застал заговорщиков в таком состоянии опьянения, что передать деньги не решился. Сам Винберг считает, что еслиб не эти поистине досадные «случайности», замысел мог бы вполне увенчаться успехом. Но остается вопрос: почему вокруг патриотического предприятия оказались сгруппированы преимущественно пропойцы, растратчики и предатели? Не потому ли, что каждая историческая задача мобилизует адъэкватные ей кадры?

С личным составом заговорщиков дело обстояло плохо, начиная с самой верхушки. «Генерал Корнилов,

по словам правого кадета Изгоева, был самым популярным генералом... среди мирного населения, но не среди войск, по крайней мере тыловых, которые я наблюдал». Под мирным населением Изгоев понимает публику Невского проспекта. Народным массам на фронте и в тылу Корнилов был чужд, враждебен, ненавистен.

Назначенный командиром III конного корпуса генерал Краснов, монархист, вскоре попытавшийся устроиться вассалом у Вильгельма II, удивлялся тому, что «Корнилов задумал великое дело, а сам остался в Могилеве, во дворце, окруженный туркменами и ударниками, как будто и сам не верящий в успех». На вопрос французского журналиста Клода Анэ: почему в решающую минуту Корнилов сам не пошел на Петроград? — глава заговора ответил: «я был болен, у меня был сильный приступ малярии, и мне не хватало моей обычной энергии».

Слишком много несчастных случайностей: так всегда бывает, когда дело заранее обречено на гибель. В своих настроениях заговорщики колебались между пьяным высокомерием, которому море по колени, и полной прострацией перед первым реальным препятствием. Дело было не в малярии Корнилова, а в гораздо более глубокой, роковой, неизлечимой болезни, парализовавшей волю имущих классов.

Кадеты серьезно опровергали контр-революционные намерения Корнилова, понимая под этим реставрацию романовской монархии. Как будто в этом было дело! «Республиканизм» Корнилова нисколько не мешал монархисту Лукомскому итти с ним в паре, как и председателю Союза русского народа, Римскому-Корсакову, телеграфировать Корнилову в день восстания: «Горячо молю бога помочь вам спасти Россию, предоставляю себя в полное ваше распоряжение». Черносотенные сторонники царизма не останавливались перед дешевеньким республиканским флажком. Они понимали, что программа Корнилова была в нем самом, в его прошлом, в его казачьих лампасах, в его

связях и финансовых источниках, а главное в его неподдельной готовности перерезать горло революции.

Именуя себя в воззваниях «сыном крестьянина», Корнилов строил план переворота целиком на казачестве и горцах. В войсках, брошенных на Петроград, не было ни одной пехотной части. К мужику у генерала не было путей, и он даже не пытался открыть их. При Ставке нашелся, правда, в лице некоего «профессора», аграрный реформатор, готовый обещать каждому солдату фантастическое количество десятин земли. Но заготовленное на эту тему воззвание не было даже и выпущено: от аграрной демагогии генералов удержало вполне основательное опасение испугать и оттолкнуть помещиков.

Могилевский крестьянин Тадеуш, близко наблюдавший окружение Ставки в те дни, рассказывает, что среди солдат и в деревнях манифестам генерала никто не верил: «хочет власти, а о земле ни слова, а об окончании войны ни слова». В самых жизненных вопросах массы как-никак научились разбираться за шесть месяцев революции. Корнилов нес народу войну, защиту генеральских привиллегий и помещичьей собственности. Больше ничего он им не мог дать, и ничего другого они от него не ждали. В этой заранее очевидной для самих заговорщиков невозможности опереться на крестьянскую пехоту, не говоря уже о рабочих, и выражалась социальная отверженность корниловской клики.

Картина политических сил, которую нарисовал дипломат Ставки князь Трубецкой, была верна во многом, но ошибочна в одном: того равнодушия, которое готово «подчиниться всякому удару хлыста», в народе не было и в помине; наоборот, массы как бы только ждали угрозы хлыстом, чтобы показать, какие источники энергии и самоотвержения скрываются в их глубинах. Ошибка в оценке настроения масс обращала в прах все остальные расчеты.

Заговор велся теми кругами, которые ничего не привыкли и не умеют делать без низов, без рабочей

силы, без пушечного мяса, без денщиков, прислуги, писарей, шофферов, носильщиков, кухарок, прачек, стрелочников, телеграфистов, конюхов, извозчиков. Между тем все эти маленькие человеческие винтики, незаметные, бесчисленные, необходимые, были за советы и против Корнилова. Революция была вездесуща. Она проникала всюду, обволакивая заговор. У нее везде был свой глаз, свое ухо, своя рука.

Идеал военного воспитания состоит в том, чтобы солдат действовал за глазами начальства так же, как и на глазах его. Между тем русские солдаты и матросы 1917 года, не выполнявшие официальных приказов и на глазах командиров, с жадностью подхватывали приказы революции на лету, а еще чаще выполняли их по собственной инициативе прежде, чем они до них доходили. Бесчисленные слуги революции, ее агенты, разведчики, бойцы не нуждались ни в понукании, ни в надзоре.

Формально ликвидация заговора находилась в руках Правительства. Исполнительный комитет содействовал. В действительности же борьба шла по совсем иным каналам. В то время, когда Керенский, сгибаясь, измерял одиноко паркеты Зимнего дворца, Комитет обороны, называвшийся также Военно-революционным комитетом, разворачивал широкую работу. С утра разосланы телеграфные инструкции железнодорожным и почтово-телеграфным служащим и солдатам. «Все передвижения войск, как докладывал Дан в тот же день, совершаются по распоряжению Временного правительства и контр-ассигнуются Комитетом народной обороны». Если отбросить условности, то это означало: Комитет обороны распоряжается войсками под фирмой Временного правительства. Одновременно приступлено к уничтожению корниловских гнезд в самом Петрограде, произведены обыски и аресты в военных училищах и офицерских организациях. Рука Комитета чувствовалась во всем. Генерал-губернатором мало кто интересовался.

Низовые советские организации, в свою очередь, не ждали призывов сверху. Главная работа сосредоточивалась в районах. В часы наибольших колебаний Правительства и томительных переговоров Исполнительного комитета с Керенским районные советы теснее сплотились между собою и постановили: объявить межрайонное совещание беспрерывным; включить своих представителей в состав штаба, сформированного Исполнительным комитетом; создать рабочую милицию; установить над правительственными комиссарами контроль районных советов; организовать летучие отряды для задержания контр-революционных агитаторов. В совокупности своей эти мероприятия означали присвоение не только значительных правительственных функций, но и функций петроградского Совета. Логикой положения высшим советским органам пришлось сильно потесниться, чтоб дать место низам. Выступление петроградских районов на арену борьбы сразу изменило ее направление и размах. Снова раскрылась на опыте неиссякаемая жизненность советской организации: парализуемая сверху руководством соглашателей, она в критический момент возрождалась снизу под напором масс.

Для вдохновлявших районы большевиков восстание Корнилова меньше всего было неожиданностью. Они предвидели, предупреждали и первыми оказались на посту. Уже на объединенном заседании Исполнительных комитетов 27 августа Сокольников сообщил, что большевистской партией приняты все доступные ей меры для осведомления народа об опасности и для подготовки к обороне; свою боевую работу большевики изъявили готовность согласовать с органами Исполнительного комитета. В ночном заседании Военной организации большевиков, с участием делегатов многочисленных воинских частей, решено было требовать ареста всех заговорщиков, вооружить рабочих, привлечь для них инструкторов из солдат, обеспечить оборону столицы снизу и в то же время готовиться к созданию революционной власти из рабочих и солдат.

Военная организация проводила митинги во всем гарнизоне. Солдаты призывались стоять под ружьем, чтобы выступить по первой тревоге.

«Несмотря на то, что они были в меньшинстве, — пишет Суханов, — совершенно ясно: в Военно-революционном комитете гегемония принадлежала большевикам». Он объясняет причины этого: «если Комитет хотел действовать серьезно, он должен был действовать революционно», а для революционных действий «только большевики имели реальные средства», ибо массы шли за ними. Напряженность борьбы всюду и везде выдвигала наиболее активные и смелые элементы. Этот автоматический отбор неизбежно поднимал большевиков, укреплял их влияние, сосредоточивал в их руках инициативу, передавал им фактическое руководство даже и в тех организациях, где они находились в меньшинстве. Чем ближе к району, заводу, казарме, тем бесспорнее и полнее господство большевиков. Все ячейки партии подняты на ноги. В цехах крупных заводов организовано непрерывное дежурство большевиков. В районном комитете партии дежурят представители мелких предприятий. Связь тянется снизу, от мастерской, через районы до Центрального комитета партии.

Под непосредственным давлением большевиков и руководимых ими организаций Комитет обороны признал желательным вооружение отдельных групп рабочих для охраны рабочих кварталов, фабрик, заводов. Этой санкции массам только и нужно было. В районах, по словам рабочей печати, сразу образовались «целые хвосты чающих стать в ряды Красной гвардии». Открылось обучение ружейным приемам и стрельбе. В качестве инструкторов привлекались опытные солдаты. Уже 29-го дружины возникли почти во всех районах. Красная гвардия заявила о своей готовности немедленно выставить отряд в 40.000 винтовок. Безоружные рабочие формировали дружины для рытья окопов, сооружения блиндажей, установки проволочных заграждений. Новый генерал-губернатор

Пальчинский, сменивший Савинкова, — Керенскому не удалось удержать своего сообщника дольше трех дней, — не мог не признать в особом объявлении, что, когда возникла нужда в саперных работах по обороне столицы, «тысячи рабочих... своим личным безвозмездным трудом выполнили в течение нескольких часов громадную работу, которая без их помощи потребовала бы нескольких дней». Это не помешало Пальчинскому, по примеру Савинкова, закрыть большевистскую газету, единственную, которую рабочие считали своей газетой.

Путиловский гигант становится центром сопротивления в петергофском районе. Спешно создаются боевые дружины. Заводская работа идет днем и ночью: производится сборка новых пушек для формирования пролетарских артиллерийских дивизионов. Рабочий Миничев рассказывает: «В те дни работали по 16 часов в сутки... Было собрано около 100 пушек».

Недавно созданному Викжелю пришлось сразу принять боевое крещение. У железнодорожников были особые основания страшиться победы Корнилова, который вписал в свою программу введение военного положения на железных дорогах. Низы и здесь далеко опережали свои верхи. Железнодорожники разбирали и загромождали пути, чтоб задержать корниловские войска: опыт войны пригодился. Они же приняли меры к тому, чтобы изолировать очаг заговора, Могилев, прекратив движение как в Ставку, так и из Ставки. Почтово-телеграфные служащие стали перехватывать и направлять в Комитет телеграммы и приказы из Ставки или копии их. Генералы привыкли за годы войны считать, что транспорт и связь — это вопросы техники. Теперь они убедились, что это вопросы политики.

Профессиональные союзы, менее всего склонные к политической нейтральности, не ждали особых приглашений, чтоб занять боевые позиции. Союз железнодорожных рабочих вооружал своих членов, рассылал

их по линии для осмотра и разбора пути, охраны мостов и прочее; своей горячностью и решительностью рабочие толкали вперед более чиновничий и умеренный Викжель. Союз металлистов предоставил в распоряжение Комитета обороны своих многочисленных служащих и отпустил крупную сумму денег на его расходы. Союз шофферов отдал в распоряжение Комитета свои перевозочные и технические средства. Союз печатников в несколько часов наладил выход газет в понедельник, чтоб держать население в курсе событий, и осуществлял в то же время самый действительный из всех возможных контролей над печатью. Мятежный генерал топнул ногою, — из-под земли появились легионы: но это были легионы врагов.

Вокруг Петрограда, в соседних гарнизонах, на больших станциях, во флоте работа шла днем и ночью: проверялись собственные ряды, вооружались рабочие, выдвигались отряды, в качестве сторожевых охранений, вдоль пути, завязывались связи и с соседними пунктами и со Смольным. Комитету обороны приходилось не столько будить и призывать, сколько регистрировать и направлять. Его планы всегда оказывались превзойденными. Отпор генеральскому мятежу превращался в народную облаву на заговорщиков.

В Гельсингфорсе общее собрание всех советских организаций создало Революционный комитет, который направил в генерал-губернаторство, комендантуру, контр-разведку и другие важнейшие учреждения своих комиссаров. Отныне без их подписи ни один приказ не действителен. Телеграфы и телефоны берутся под контроль. Официальные представители расположенного в Гельсингфорсе казачьего полка, главным образом офицеры, пытаются провозгласить нейтралитет: это скрытые корниловцы. На второй день являются в Комитет рядовые казаки с заявлением, что весь полк против Корнилова. Казачьи представители впервые вводятся в Совет. В этом случае, как и в других, острое столкновение классов сдвигает офицеров вправо, а рядовых — влево.

Кронштадтский совет, успевший полностью залечить июльские раны, прислал телеграфное заявление о том, что «кронштадтский гарнизон, как один человек, готов, по первому призыву Исполнительного комитета, стать на защиту революции». Кронштадтцы еще не знали в те дни, в какой мере защита революции означала защиту их самих от истребления: они могли лишь догадываться об этом.

Уже вскоре после июльских дней во Временном правительстве решено было упразднить кронштадтскую крепость, как большевистское гнездо. Эта мера, по соглашению с Корниловым, официально объяснялась «стратегическими причинами». Почуяв недоброе, моряки воспротивились. «Легенда об измене в Ставке — писал Керенский после того, как сам уже обвинил Корнилова в измене — так укоренилась в Кронштадте, что каждая попытка вывезти артиллерию вызывала там прямо ярость толпы». Изыскать способ ликвидации Кронштадта было Правительством возложено на Корнилова. Он этот способ нашел: сейчас же после разгрома столицы Крымов должен был выделить бригаду с артиллерией на Ораниенбаум и под угрозой береговых пушек потребовать от кронштадтского гарнизона разоружения крепости и перехода на материк, где моряки должны были подвергнуться массовой расправе. Но в то самое время, как Крымов приступал к выполнению задания Правительства, Правительство оказалось вынуждено просить кронштадтцев спасти его от Крымова.

Исполнительный комитет послал телефонограммы в Кронштадт и Выборг о присылке в Петроград значительных частей войск. С утра 29-го войска стали прибывать. Это были главным образом большевистские части: чтоб призыв Исполнительного комитета возымел силу, понадобилось подтверждение Центрального комитета большевиков. Несколько раньше, с середины дня 28-го, по приказанию Керенского, которое очень походило на униженную просьбу, охрану Зимнего дворца взяли на себя матросы с крейсера

«Аврора», часть команды которого все еще продолжала сидеть в «Крестах» за участие в июльской демонстрации. В свободные от караулов часы моряки приходили в тюрьму на свидание с заключенными кронштадтцами, с Троцким, Раскольниковым и другими. «Не пора ли арестовать Правительство?» спрашивали посетители. «Нет, не пора, — слышат они в ответ: кладите винтовку на плечо Керенскому, стреляйте по Корнилову. Потом подведем счеты с Керенским». В июне и июле эти матросы не очень склонны были внимать доводам революционной стратегии. За эти два неполных месяца они многому научились. Вопрос об аресте Правительства они задают скорее для самопроверки и очистки совести. Они сами улавливают неотвратимую последовательность событий. В первой половине июля — разбитые, осужденные, оклеветанные, в конце августа — самая надежная стража Зимнего дворца от корниловцев, они в конце октября будут стрелять по Зимнему дворцу из пушек «Авроры».

Но если матросы согласны еще отложить на известный срок генеральный расчет с февральским режимом, то они не хотят ни одного лишнего дня терпеть над своей головой офицеров-корниловцев. Начальство, которое было навязано им Правительством после июльских дней, почти везде и всюду оказалось на стороне заговорщиков. Кронштадтский совет немедленно устранил правительственного коменданта и поставил собственного. Теперь уже соглашатели не кричали об отложении кронштадтской республики. Однако, дело далеко не везде ограничивалось одним смещением: в нескольких местах дошло до кровавой расправы.

«Началось в Выборге, — говорит Суханов, — с избиения генералов и офицеров рассвирепевшими и впавшими в панику матросско-солдатскими толпами». Нет, это не были рассвирепевшие толпы, и вряд ли можно в данном случае говорить о панике. 29-го утром была передана от Центрофлота коменданту Выборга, генералу Орановскому, для сообщения гарнизону,

телеграмма о мятеже Ставки. Комендант телеграмму задержал на целый день и на запросы о происходящих событиях ответил, что никакого извещения им не получено. При произведенном матросами обыске телеграмма была найдена. Пойманный с поличным генерал заявил себя сторонником Корнилова. Матросы расстреляли коменданта и вместе с ним двух других офицеров, объявивших себя его единомышленниками. У офицеров балтийского флота матросы отбирали подписку в верности революции, и когда четыре офицера линейного корабля «Петропавловск» отказались дать подписку, заявив себя корниловцами, их, по постановлению команды, тут же расстреляли.

Над солдатами и матросами нависала смертельная опасность. Кровавая чистка предстояла не только Петрограду и Кронштадту, но всем гарнизонам страны. По поведению своих воспрянувших духом офицеров, по их тону, по их косым взглядам солдаты и матросы могли безошибочно предвидеть свою участь в случае победы Ставки. В тех местах, где атмосфера была особенно горяча, они спешили перерезать врагам дорогу, противопоставляя чистке, намеченной офицерством, свою матросскую и солдатскую чистку. Гражданская война имеет, как известно, свои законы, и они никогда еще не считались законами гуманности.

Чхеидзе немедленно послал в Выборг и Гельсингфорс телеграмму, осуждающую самосуды, как «смертельный удар для революции». Керенский, с своей стороны, телеграфировал в Гельсингфорс: «Требую немедленно прекращения отвратительных насилий». Если искать политической ответственности за отдельные самосуды — не зыбывая при этом, что революция в целом есть самосуд, — то ответственность в данном случае целиком ложилась на Правительство и соглашателей, которые в минуту опасности прибегали к революционным массам, чтобы затем снова выдавать их контр-революционному офицерству.

Как во время Государственного совещания в Москве, когда с часу на час ожидался переворот, так

и теперь, после разрыва со Ставкой, Керенский обратился к большевикам с просьбой «повлиять на солдат стать на защиту революции». Призвав матросов-большевиков для защиты Зимнего дворца, Керенский не выпускал, однако, своих июльских пленников из тюрьмы. Суханов пишет по этому поводу: «Положение, когда Алексеев шушукается с Керенским, а Троцкий сидит в тюрьме, было совершенно нестерпимо». Не трудно представить себе то возбуждение, какое царило в переполненных тюрьмах. «Мы кипели возмущением — рассказывает мичман Раскольников — против Временного правительства, которое — в столь тревожные дни . . . продолжало гноить в «Крестах» таких революционеров, как Троцкий . . . — Какие трусы, ах, какие трусы, — говорил на прогулке Троцкий, прохаживаясь с нами по кругу, — им надо немедленно объявить Корнилова вне закона, чтобы любой преданный революции солдат почувствовал себя в праве его прикончить».

Вступление войск Корнилова в Петроград означало бы прежде всего истребление арестованных большевиков. В приказе генералу Багратиону, который должен был с авангардом вступить в столицу, Крымов не забыл особо указать: «установить охрану тюрем и арестных домов, но лиц, там ныне содержимых, ни в коем случае не выпускать». Это была целая программа, вдохновлявшаяся Милюковым с апрельских дней: «ни в коем случае не выпускать». Не было в те дни в Петрограде ни одного митинга, на котором не выносилось бы требование освобождения июльских заключенных. Делегации за делегациями тянулись в Исполнительный комитет, который, в свою очередь, посылал своих лидеров на переговоры в Зимний дворец. Тщетно! Упорство Керенского в этом вопросе тем замечательнее, что в течение первых полутора-двух суток он считал положение Правительства безнадежным и, следовательно, обрекал себя на роль старшего тюремщика, охраняющего большевиков для генеральской виселицы.

Немудрено, что руководимые большевиками массы, борясь против Корнилова, ни на иоту не верили Керенскому. Дело шло для них не о защите Правительства, а об обороне революции. Тем решительнее и беззаветнее была их борьба. Отпор мятежу вырастал из рельс, из камней, из воздуха. Железнодорожники станции Луга, куда прибыл Крымов, упорно отказывались двигать воинские поезда, ссылаясь на отсутствие паровозов. Казачьи эшелоны оказались сейчас же окружены вооруженными солдатами из состава двадцатитысячного лужского гарнизона. Военного столкновения не было, но было нечто более опасное: соприкосновение, общение, взаимопроникновение. Лужский Совет успел отпечатать правительственное объявление об увольнении Корнилова, и этот документ широко распространялся теперь по эшелонам. Офицеры уговаривали казаков не верить агитаторам. Но самая необходимость уговаривать была зловещим предзнаменованием.

По получении приказа Корнилова: двигаться вперед, Крымов под штыками потребовал, чтобы паровозы были готовы через полчаса. Угроза как будто подействовала: паровозы, хотя и с новыми проволочками, были поданы; но двигаться все-таки нельзя было, ибо путь впереди был испорчен и загроможден на добрые сутки. Спасаясь от разлагающей пропаганды, Крымов отвел 28-го вечером свои войска на несколько верст от Луги. Но агитаторы сейчас же проникли и в деревни: это были солдаты, рабочие, железнодорожники, — от них спасенья не было, они проникали всюду. Казаки стали даже собираться на митинги. Штурмуемый пропагандой и проклиная свою беспомощность, Крымов тщетно дожидался Багратиона: железнодорожники задерживали эшелоны дикой дивизии, которым тоже предстояло в ближайшие часы подвергнуться моральной атаке.

Как ни безвольна, даже труслива была соглашательская демократия сама по себе, но те массовые силы, на которые она снова полуоперлась в борьбе про-

тив Корнилова, открывали перед нею неисчерпаемые источники действия. Эсеры и меньшевики видели свою задачу не в том, чтоб победить войска Корнилова в открытом бою, а в том, чтоб привлечь их на свою сторону. Это было правильно. Против «соглашательства» по этой линии не возражали, разумеется, и большевики: наоборот, это ведь и был их основной метод; большевики требовали лишь, чтоб за агитаторами и парламентерами стояли наготове вооруженные рабочие и солдаты. Для морального воздействия на корниловские части сразу открылся неограниченный выбор средств и путей. Так, навстречу дикой дивизии послана была мусульманская делегация, в состав которой были включены немедленно обнаружившиеся туземные авторитеты, начиная с внука знаменитого Шамиля, геройски защищавшего Кавказ от царизма. Арестовать делегацию горцы не позволили своим офицерам: это противоречит вековым обычаям гостеприимства. Переговоры открылись и сразу стали началом конца. Корниловские командиры, в объяснение всего похода, ссылались на начавшиеся в Петербурге бунты немецких агентов. Делегаты же, прибывавшие непосредственно из столицы, не только опровергали факт бунта, но и с документами в руках доказывали, что Крымов — мятежник и ведет войска против Правительства. Что могли на это возразить офицеры Крымова?

На штабном вагоне дикой дивизии солдаты водрузили красный флаг с надписью: «Земля и воля». Комендант штаба приказал флаг свернуть: «лишь во избежание смешения с железнодорожным сигналом», как объяснял господин подполковник. Штабная команда не удовлетворилась трусливым объяснением и подполковника арестовала. Не ошибались ли в Ставке, когда говорили, что кавказским горцам все равно, кого резать?

На следующее утро к Крымову прибыл от Корнилова полковник с приказанием: сосредоточить корпус, быстро двинуться на Петроград и «неожиданно» занять его. В Ставке явно пытались еще закрывать

глаза на действительность. Крымов ответил, что части корпуса разбросаны по разным железным дорогам и где-то по частям высаживаются; что в его распоряжении пока только 8 казачьих сотен; что железные дороги повреждены, загромождены, забаррикадированы, и двигаться дальше можно лишь походным порядком; наконец, что не может быть и речи о неожиданном занятии Петрограда теперь, когда рабочие и солдаты поставлены под ружье в столице и окрестностях. Дело еще более осложнялось тем, что окончательно пропала возможность провести операцию «неожиданно» для войск самого Крымова: почуяв недоброе, они требовали объяснений. Пришлось посвящать их в конфликт между Корниловым и Керенским, т. е. официально поставить митингование в порядок дня.

Изданный Крымовым в этот момент приказ гласил: «Сегодня ночью из Ставки Верховного и из Петрограда я получил сообщение о том, что в Петрограде начались бунты»... Этот обман должен был оправдать уже вполне открытый поход против Правительства. Приказ самого Корнилова от 29 августа гласил: «Контр-разведка из Голландии доносит: а) на днях намечается одновременно удар на всем фронте с целью заставить дрогнуть и бежать нашу развалившуюся армию, б) подготовлено восстание в Финляндии, в) предполагаются взрывы мостов на Днепре и Волге, г) организуется восстание большевиков в Петрограде». Это то самое «донесение», на которое Савинков ссылался еще 23-го: Голландия упоминалась для отвода глаз, документ, по всем данным, был сфабрикован во французской военной миссии или при ее участии.

Керенский телеграфировал в тот же день Крымову: «В Петрограде полное спокойствие. Никаких выступлений не ожидается. Надобности в вашем корпусе никакой». Выступление должно было быть вызвано военно-полевыми декретами самого Керенского. Так как правительственную провокацию пришлось отложить,

то Керенский вполне основательно считал, что «никаких выступлений не ожидается».

Не видя выхода, Крымов сделал нелепую попытку двинуться на Петроград со своими восемью сотнями. Это был скорее жест для очистки совести, и из него ничего, разумеется, не вышло. Встретив в нескольких верстах от Луги сторожевое охранение, Крымов вернулся обратно, даже не пытаясь давать бой. По поводу этой единственной, совершенно фиктивной «операции», Краснов, начальник III конного корпуса, писал позже: «Надо было ударить по Петрограду силой в 86 эскадронов и сотен, а ударили одной бригадой в 8 слабых сотен, наполовину без начальников. Вместо того, чтобы бить кулаком, ударили пальчиком: вышло больно для пальчика и нечувствительно для того, кого ударили». В сущности не было удара и пальчиком. Боли не ощутил никто.

Железнодорожники тем временем делали свое дело. Таинственным образом эшелоны двигались не по путям назначения. Полки попадали не в свои дивизии, артиллерии загонялись в тупики, штабы теряли связь со своими частями. На всех крупных станциях были свои советы, железнодорожные и военные комитеты. Телеграфисты держали их в курсе всех событий, всех передвижений, всех изменений. Те же телеграфисты задерживали приказы Корнилова. Сведения, неблагоприятые для корниловцев, немедленно размножались, передавались, расклеивались, переходили из уст в уста. Машинист, стрелочник, смазчик становились агитаторами. В этой атмосфере продвигались или, еще хуже, стояли на месте корниловские эшелоны. Командный состав, скоро почувствовавший безнадежность положения, явно не спешил вперед и своей пассивностью облегчал работу контр-заговорщиков транспорта. Части армии Крымова таким образом были разметаны по станциям, разъездам и тупикам восьми железных дорог. Прослеживая по карте судьбу корниловских эшелонов, можно вынести впечатление, будто

заговорщики играли на железнодорожной сети в жмурки.

«Почти всюду. — описывает генерал Краснов свои наблюдения в ночь на 30 августа, — мы видели одну и ту же картину. Где на путях, где в вагоне, на седлах у склонившихся к ним головами вороных и караковых лошадей, сидели или стояли драгуны и среди них — юркая личность в солдатской шинели». Имя этой «юркой личности» скоро стало легион. Со стороны Петрограда продолжали прибывать многочисленные делегации от полков, выдвинутых навстречу корниловцам: прежде, чем драться, все хотели объясниться. У революционных войск была твердая надежда, что дело обойдется без драки. Это подтвердилось: казаки охотно шли навстречу. Команда связи корпуса, захватив паровоз, отправила делегатов по всей линии. Каждому эшелону разъяснялось создавшееся положение. Шли непрерывные митинги, на которых рос вопль: нас обманули!

«Не только начальники дивизий, — говорит тот же Краснов, — но даже командиры полков не знали точно, где находятся их эскадроны и сотни... Отсутствие пищи и фуража, естественно, озлобляло людей еще больше. Люди... видели всю эту бестолковщину, которая творилась кругом, и начали арестовывать офицеров и начальников». Делегация Совета, организовавшая свой штаб, доносила: «Все время идет братание... Находимся в полной уверенности, что конфликт можно считать ликвидированным. Со всех сторон идут делегации»... В управление частями, вместо начальников, вступали комитеты. Очень скоро созван был совет корпусных депутатов, и из его состава выделили делегацию, человек 40, для посылки к Временному правительству. Казаки стали заявлять вслух, что ждут лишь приказа из Петрограда, чтоб арестовать Крымова и других офицеров.

Станкевич рисует картину, которую он нашел в пути, выехав 30-го вместе с Войтинским по направлению к Пскову. В Петрограде считали, что Царское

занято корниловцами, — там не оказалось никого. «В Гатчине — никого... По дороге до Луги — никого. В Луге — тихо и спокойно... Добрались до деревни, где должен был находиться штаб корпуса. Пусто... Оказалось, что рано утром казаки снялись с места и отправились в сторону, противоположную от Петрограда». Восстание откатывалось, дробилось, всасывалось в землю.

Но в Зимнем дворце все еще побаивались противника. Керенский сделал попытку вступить в переговоры с командным составом мятежников: этот путь казался ему более надежным, чем «анархическая» инициатива низов. От отправил к Крымову делегатов и «во имя спасения России» просил его приехать в Петроград, гарантируя ему честным словом безопасность. Теснимый со всех сторон и совершенно потерявший голову генерал поспешил, разумеется, принять приглашение. По следам Крымова выехала в Петроград депутация от казаков.

Фронты не поддержали Ставку. Более серьезную попытку сделал лишь Юго-западный фронт. Штаб Деникина предпринял подготовительные меры заблаговременно. Ненадежные караулы при штабе были замещены казаками. Ночью 27-го занята была типография. Штаб пытался играть роль уверенного в себе хозяина положения и запретил даже Комитету фронта пользоваться телеграфом. Но иллюзии не продержались и несколько часов. Делегаты разных частей стали прибывать в Комитет с предложением поддержки. Появились броневые автомобили, пулеметы, орудия. Комитет немедленно подчинил своему контролю деятельность штаба, за которым сохранена была инициатива лишь в оперативной области. К 3 часам 28-го власть на Юго-западном фронте была целиком сосредоточена в руках Комитета. «Никогда еще, плакался Деникин, будущее страны не казалось таким темным, наше бессилие таким обидным и угнетающим».

На других фронтах дело прошло еще менее драматично: главнокомандующим достаточно было осмо-

треться, чтоб испытать прилив дружеских чувств к комиссарам Временного правительства. К утру 29-го в Зимнем дворце имелись уже телеграммы с выражением верности от генерала Щербачева, с Румынского фронта, Валуева, с Западного, и Пржевальского, с Кавказского фронта. На Северном фронте, где главнокомандующим был открытый корниловец, Клембовский, Станкевич назначил некоего Савицкого своим заместителем. «Савицкий, мало кому дотоле известный, назначенный по телеграфу в момент конфликта, — пишет сам Станкевич, — мог уверенно обратиться к любой кучке солдат — пехоты, казаков, ординарцев и даже юнкеров — с любым приказом, хотя бы дело шло об аресте главнокомандующего, — и приказ неукоснительно был выполнен»... Без малейших осложнений Клембовский был заменен генералом Бонч-Бруевичем, который через посредство своего брата, известного большевика, одним из первых был привлечен впоследствии на службу к большевистскому правительству.

Немногим лучше шли дела у южного столпа военной партии, атамана Донского войска Каледина. В Петрограде говорили, что Каледин мобилизует казачьи войска и что к нему направляются на Дон эшелоны с фронта. Между тем, «атаман, по словам одного из его биографов, переезжал из станицы в станицу вдали от железной дороги... мирно беседуя со станичниками». Каледин действительно орудовал более осторожно, чем полагали в революционных кругах. Он выбрал момент открытого восстания, час которого был ему известен заранее, для «мирного» объезда станиц, чтоб в критические дни быть вне телеграфного и иного контроля и в то же время прощупать настроение казачества. 27-го он телеграфировал с пути своему заместителю Богаевскому: «Надо поддержать Корнилова всеми средствами и силами». Однако, как раз общение со станичниками показало, что средств и сил по существу нет: казаки-хлеборобы и не думали подниматься на защиту Корнилова. Когда провал восстания стал вы-

ясняться, так называемое «войсковое правительство» Дона постановило воздержаться от выражения своего мнения «до выяснения реального соотношения сил». Благодаря такому маневрированию, верхи донского казачества успели своевременно отскочить в сторону.

В Петрограде, в Москве, на Дону, на фронте, по пути следования эшелонов, везде и всюду у Корнилова были единомышленники, сторонники, друзья. Их число казалось огромным, если судить по телеграммам, приветственным адресам и статьям газет. Но странное дело: теперь, когда настал час для них обнаружить себя, они исчезли. Во многих случаях причина лежала вовсе не в личной трусости. Среди офицеров-корниловцев было немало храбрых людей. Но для их храбрости не находилось точки приложения. С момента, когда в движение пришли массы, у одиночек не оказывалось подступа к событиям. Не только тяжеловесные промышленники, банкиры, профессора, инженеры, но и студенты, даже боевые офицеры оказывались отодвинуты, оттерты, отброшены. Они наблюдали развертывающиеся перед ними события, точно с балкона. Вместе с генералом Деникиным им не оставалось ничего иного, как проклинать свое обидное и угнетающее бессилие.

30 августа Исполнительный комитет разослал всем советам радостную весть о том, что «в войсках Корнилова полное разложение». На время забыто было, что Корнилов выбрал для своего предприятия наиболее патриотические части, наиболее боеспособные, наиболее огражденные от влияния большевиков. Процесс разложения состоял в том, что солдаты окончательно переставали доверять офицерам, открывая в них врагов. Борьба за революцию против Корнилова означала углубление разложения армии, т. е. именно то, что вменялось в вину большевикам.

Господа генералы получили, наконец, возможность проверить силу сопротивления революции, которая казалась им столь рыхлой, беспомощной, столь случайно одержавшей победу над старым режимом. Со

времени февральских дней по всяким поводам повторялась формула солдафонского бахвальства: дайте мне крепкую часть, и я им покажу. Опыт генерала Хабалова и генерала Иванова в конце февраля ничему не научил полководцев из породы тех, что машут кулаками после драки. С их голоса пели нередко и штатские стратеги. Октябрист Шидловский уверял, что, еслибы в феврале появились в столице «не особенно крупные воинские части, спаянные дисциплиною и воинским духом, то в несколько дней Февральская революция была бы подавлена». Пресловутый железнодорожный деятель Бубликов писал: «достаточно было одной дисциплинированной дивизии с фронта, чтобы восстание в корне было подавлено». Несколько офицеров, участников событий, уверяли Деникина, что «один твердый батальон, во главе с начальником, понимающим, чего он хочет, мог повернуть вверх дном всю обстановку». В бытность Гучкова военным министром к нему приезжал с фронта генерал Крымов и предлагал «расчистить Петроград одной дивизией, — конечно, не без кровопролития». Дело не состоялось только потому, что «Гучков не согласился». Наконец, Савинков, подготовляя для будущей директории ее собственное «27 августа», уверял, что двух полков вполне достаточно, чтобы превратить большевиков в прах и пыль. Теперь судьба дала всем этим господам, в лице «веселого, жизнерадостного» генерала, полную возможность проверить основательность их героических расчетов. Без единого удара, с поклонной головой, посрамленный и униженный, прибыл Крымов в Зимний дворец. Керенский не упустил случая разыграть с ним патетическую сцену, в которой дешевые эффекты были обеспечены заранее. Вернувшись от премьера в военное министерство, Крымов покончил с собой выстрелом из револьвера. Так обернулась попытка смирить революцию «не без кровопролития».

В Зимнем дворце вздохнули свободнее, решив, что столь чреватое осложнениями дело заканчивается бла-

гополучно, и спешили как можно скорее перейти к порядку дня, т .е. к продолжению прерванного. Верховным главнокомандующим Керенский назначил самого себя: для сохранения политического союза со старым генералитетом ему действительно трудно было найти более подходящую фигуру. Начальником штаба Ставки он избрал Алексеева, чуть-чуть не попавшего два дня тому назад в премьеры. После колебаний и совещаний генерал, не без презрительной гримасы, принял назначение: с той целью, как он объяснял своим, чтоб мирно ликвидировать конфликт. Бывший начальник штаба Верховного главнокомандующего Николая Романова оказался на той же должности при Керенском. Было чему удивляться! «Лишь Алексеев, благодаря своей близости к Ставке и огромному влиянию своему в высших военных кругах, — так пытался объяснить впоследствии Керенский свое диковинное назначение, — мог успешно выполнить задачу безболезненной передачи командования из рук Корнилова в новые руки». Как раз наоборот! Назначение Алексеева, т. е. одного из своих, могло только вдохновить заговорщиков на дальнейшее сопротивление, еслиб у них оставалась к этому малейшая возможность. На самом деле Алексеев оказался выдвинут Керенским после ликвидации восстания по той же причине, по которой Савинков был призван в начале восстания: надо было во что бы то ни стало охранить мосты направо. Восстановление дружбы с генералами новый Верховный считал теперь особенно необходимым: после встряски придется ведь наводить твердый порядок и, следовательно, потребуется вдвойне крепкая власть.

В Ставке уже ничего не осталось от того оптимизма, который царил в ней два дня тому назад. Заговорщики искали путей отступления. Отправленная Керенскому телеграмма гласила, что Корнилов, «учитывая стратегическую обстановку», склонен мирно сдать командование, если будет объявлено, что «создается сильное правительство». За этим большим ультиматумом капитулянта следовал малый: он, Корнилов,

считает «вообще недопустимыми аресты генералов и других лиц, необходимых прежде всего армии». Обрадованный Керенский сейчас же сделал шаг навстречу противнику, объявив по радио, что оперативные приказания генерала Корнилова обязательны для всех. Сам Корнилов писал по этому поводу Крымову в тот же день: «Получился эпизод — единственный в мировой истории: главнокомандующий, обвиненный в измене и предательстве родины и преданный за это суду, получил приказание продолжать командование армиями»... Новое проявление тряпичности Керенского немедленно придало духу заговорщикам, которые все еще опасались продешевить. Несмотря на посланную несколько часов тому назад телеграмму о недопустимости внутренней борьбы «в эту ужасную минуту», Корнилов, наполовину восстановленный в своих правах, отправил двух человек к Каледину с просьбой «надавить» и одновременно предложил Крымову: «Если обстановка позволит, действуйте самостоятельно в духе данной мною вам инструкции». Дух инструкции означал: низвергнуть Правительство и перевешать членов Совета.

Генерал Алексеев, новый начальник штаба, отправился на занятие Ставки. В Зимнем дворце эту операцию все еще брали всерьез. На самом деле в непосредственном распоряжении Корнилова состояли: георгиевский батальон, «корниловский» пехотный полк и текинский конный полк. Батальон георгиевцев с самого начала стал на сторону Правительства. Корниловский и текинский полки считались верными; но и от них часть откололась. Артиллерии в распоряжении Ставки не было вовсе. При таких условиях о сопротивлении не могло быть и речи. Алексеев начал свою миссию с нанесения Корнилову и Лукомскому церемониальных визитов, во время которых обе стороны, надо полагать, единодушно расходовали свой солдатский словарь по адресу Керенского, нового Верховного. Для Корнилова, как и для Алексеева было

ясно, что спасение страны придется во всяком случае на некоторое время отложить.

Но в то самое время, как в Ставке столь счастливо налаживался мир без победителей и побежденных, в Петрограде атмосфера чрезвычайно нагревалась, и в Зимнем дворце нетерпеливо ждали успокоительных вестей из Могилева, чтоб предъявить их народу. Алексеева непрерывно теребили запросами. Полковник Барановский, доверенное лицо Керенского, жаловался по прямому проводу: «Советы бушуют, разрядить атмосферу можно только проявлением власти и арестом Корнилова и других»... Это совершенно не отвечало намерениям Алексеева. «С глубоким сожалением вижу, — возражает генерал, — что мои опасения, что мы окончательно попали в настоящее время в цепкие лапы советов, являются неоспоримым фактом». Под фамильярным местоимением «мы» подразумевается группа Керенского, в которую Алексеев, чтоб смягчить укол, условно включает и себя. Полковник Барановский отвечает ему в тон: «Бог даст, из цепких лап Совета, в которые мы попали, мы уйдем». Едва массы спасли Керенскаго из лап Корнилова, как вождь демократии уже спешит вступить в соглашение с Алексеевым против масс: «из цепких лап Совета мы уйдем». Алексееву пришлось все же подчиниться необходимости и выполнить ритуал ареста главных заговорщиков. Корнилов без сопротивления сел под домашний арест через четверо суток после того, как заявлял народу: «предпочитаю смерть устранению меня от должности Верховного». Прибывшая в Могилев Чрезвычайная следственная комиссия арестовала, с своей стороны, товарища министра путей сообщения, нескольких офицеров генерального штаба, несостоявшегося дипломата Аладьина, а также весь наличный состав Главного комитета союза офицеров.

В первые часы после победы соглашатели сильно жестикулировали. Даже Авксентьев метал молнии. В течение трех дней мятежники оставляли фронты без всяких указаний! «Смерть изменникам!» кричали чле-

ны Исполкома. Авксентьев шел этим голосам навстречу: да, смертная казнь была введена по требованию Корнилова и его присных, «тем решительнее (она) будет применена к ним самим». Бурные и продолжительные аплодисменты.

Московский Церковный собор, склонившийся две недели тому назад перед Корниловым, как восстановителем смертной казни, теперь телеграфно умолял Правительство, «во имя Божие и Христовой любви к ближнему», сохранить жизнь просчитавшемуся генералу. Пущены были в ход и другие рычаги. Но Правительство вовсе и не помышляло о кровавой расправе. Когда делегация дикой дивизии представлялась Керенскому в Зимнем дворце, и один из солдат, в ответ на общие фразы нового Верховного сказал, что «изменников-командиров должна постигнуть беспощадная кара», Керенский прервал его словами: «Ваше дело теперь повиноваться вашему начальству, а все, что нужно, мы сделаем сами». Положительно этот человек считал, что массы должны появляться на сцену, когда он топнет левой ногой, и исчезать, когда он топнет правой!

«Все, что нужно, мы сделаем сами». Но все, что они делали, казалось массам ненужным, если не подозрительным и гибельным. Массы не ошибались: наверху больше всего были заняты восстановлением того положения, из которого вырос корниловский поход. «После первых же допросов, произведенных членами следственной комиссии, — рассказывает Лукомский, — выяснилось, что все они относятся к нам в высшей степени благожелательно». Это были по существу сообщники и укрыватели. Военный прокурор Шабловский давал обвиняемым консультацию по части обмана юстиции. Фронтовые организации слали протесты. «Генералы и их сообщники содержатся не как преступники перед государством и народом... Мятежники имеют полную свободу сношений с внешним миром». Лукомский подтверждает: «штаб Верховного главнокомандующего осведомлял нас по всем нас интересу-

ющим вопросам». Возмущенные солдаты не раз порывались судить генералов собственным судом, и арестованных спасала от расправы лишь расположенная в Быхове, месте их заключения, контр-революционная польская дивизия.

12 сентября генерал Алексеев написал Милюкову из Ставки письмо, отражавшее справедливое возмущение заговорщиков поведением крупной буржуазии, которая сперва подтолкнула их, а после поражения предоставила собственной участи. «Вы до известной степени знаете, — не без яду писал генерал, — что некоторые круги нашего общества не только знали обо всем, не только сочувствовали идейно, но, как могли, помогали Корнилову»... От имени Союза офицеров Алексеев требовал у Вышнеградского, Путилова в других крупнейших капиталистов, повернувшихся спиной к побежденным, немедленно собрать 300.00 рублей в пользу «голодных семей тех, с которыми они были связаны общностью идеи и подготовки»... Письмо кончалось прямой угрозой: «если честная печать не начнет немедленно энергичного разъяснения дела... генерал Корнилов вынужден будет широко развить перед судом всю подготовку, все переговоры с лицами и кругами, их участие» и пр. О практических результатах этого плачевного ультиматума Деникин сообщает: «Только в конце октября Корнилову привезли из Москвы около 40 тысяч рублей». Милюков в это время вообще отсутствовал на политической арене: согласно официальной кадетской версии, он уехал «отдыхать в Крым». После всех треволнений либеральный лидер действительно нуждался в отдыхе.

Комедия следствия тянулась до большевистского переворота, после чего Корнилов и его сообщники были не только выпущены на свободу, но и снабжены Ставкой Керенского всеми необходимыми документами. Эти беглые генералы и положили начало гражданской войне. Во имя священных целей, которые связывали Корнилова с либералом Милюковым и черносотенцем Римским-Корсаковым, уложены были сотни тысяч на-

роду, разграблены и опустошены юг и восток России, окончательно расшатано хозяйство страны, революции навязан был красный террор. Корнилов, благополучно ушедший от юстиции Керенского, пал вскоре на фронте гражданской войны от большевистского снаряда. Судьба Каледина сложилась не многим иначе. Донское «войсковое правительство» потребовало не только отмены приказа об аресте Каледина, но и восстановления его в должности атамана. Керенский и тут не упустил случая пойти на попятный. Скобелев прибыл в Новочеркасск для извинений перед войсковым кругом. Демократический министр был подвергнут изощренным издевательствам, которыми руководил сам Каледин. Торжество казацкого генерала было, однако, непродолжительным. Теснимый со всех сторон большевистской революцией у себя на Дону, Каледин покончил через несколько месяцев самоубийством. Знамя Корнилова перешло затем в руки генерала Деникина и адмирала Колчака, с именами которых связан главный период гражданской войны. Но все это относится уже к 1918-му и следующим годам.

МАССЫ ПОД УДАРАМИ

Непосредственными причинами событий революции являются измененния в сознании борющихся классов. Материальные отношения общества определяют лишь русло этих процессов. По природе своей изменения коллективного сознания имеют полуподспудный характер; лишь достигнув определенной силы напряжения, новые настроения и мысли прорываются наружу в виде массовых действий, которые устанавливают новое, хотя бы и очень неустойчивое общественное равновесие. Ход революции на каждом новом этапе обнажает проблему власти, чтобы немедленно вслед за этим снова замаскировать ее — впредь до нового обнажения. Такова же механика и контрреволюции с той разницей, что фильма здесь разворачивается в обратном порядке.

То, что происходит на правительственных и советских верхах, совсем не безразлично для хода событий. Но понять действительный смысл политики партии и расшифровать маневры вождей можно только в связи с раскрытием глубоких молекулярных процессов в сознании масс. В июле рабочие и солдаты потерпели поражение, а в октябре они уже посредством непреодолимого штурма овладели властью. Что происходило за эти четыре месяца в их головах? Как переживали они удары, сыпавшиеся на них сверху? С какими идеями и чувствами встретили они откры-

тую попытку захвата власти буржуазией? Читателю придется отойти назад, к июльскому поражению. Нередко приходится отступать, чтоб хорошо прыгнуть. А впереди предстоит октябрьский прыжок.

В официальной советской историографии установилось мнение, превратившееся в своего рода шаблон, будто июльский натиск на партию, — репрессии в сочетании с клеветой, — прошел почти бесследно для рабочих организаций. Это совершенно неверно. Правда, упадок в рядах партии и отлив от нее рабочих и солдат длились недолго, в течение нескольких недель. Возрождение наступило столь скоро и, главное, столь бурно, что наполовину стерло самое воспоминание о днях угнетения и упадка: победы вообще освещают иным светом подготовлявшие их поражения. Но по мере того как публикуются протоколы местных партийных организаций, все с большей резкостью выступает июльское снижение революции, которое в те дни ощущалось тем болезненнее, чем более непрерывный характер имел предшествовавший подъем.

Всякое поражение, вытекая из определенного соотношения сил, в свою очередь изменяет это соотношение к невыгоде для побежденной стороны, ибо у победителя прибавляется самоуверенности, а у побежденного убывает веры в себя. Между тем та или другая оценка собственной силы составляет крайне важный элемент объективного соотношения сил. Непосредственно поражение потерпели рабочие и солдаты Петрограда, которые в своем порыве вперед натолкнулись, с одной стороны, на неясность и противоречивость собственной цели, с другой — на отсталость провинции и фронта. В столице последствия поражения обнаружились поэтому прежде всего и с наибольшей резкостью. Совершенно неверны, однако, столь частые в той же официальной литературе утверждения, будто для провинции июльское поражение прошло почти незаметно. Это и теоретически невероятно и опровергается свидетельством фактов и документов. Когда речь заходила о больших вопросах, вся страна

непроизвольно поворачивала каждый раз голову в сторону Петрограда. Поражение рабочих и солдат столицы должно было как раз на наиболее передовые слои провинции произвести огромное впечатление. Испуг, разочарование, апатия протекали в разных частях страны по разному, но они наблюдались везде.

Снижение революции сказалось прежде всего в чрезвычайном ослаблении сопротивления масс врагам. В то время, как введенные в Петроград войска производили официальные карательные действия по разоружению солдат и рабочих, полудобровольческие банды, под их прикрытием, безнаказанно совершали нападения на рабочие организации. После разрушения редакции «Правды» и типографии большевиков разгромлено помещение союза металлистов. Следующие удары направлены на районные советы. Не пощажены и соглашатели: 10-го подверглось нападению одно из учреждений той партии, которую возглавлял министр внутренних дел Церетели. Дану нужно было немалое самоотвержение, чтобы писать по поводу прибывших войск: «Вместо гибели революции мы теперь являемся свидетелями ее нового торжества». Торжество заходило так далеко, что, по словам меньшевика Прушицкого, над прохожими на улицах, если они похожи на рабочих и подозреваются в большевизме, висела угроза быть жестоко избитыми. Какой безошибочный симптом резкого изменения всей обстановки!

Член петроградского комитета большевиков Лацис, впоследствии известный деятель «Чека», записывал в своем дневнике: «9 июля. В городе разгромлены все наши типографии. Никто не осмеливается печатать наши газеты и листовки. Прибегаем к оборудованию подпольной типографии. Выборгский район стал убежищем для всех. Сюда переехали и Петроградский комитет и преследуемые члены Центрального комитета. В сторожке завода Рено происходит совещание Комитета с Лениным. Стоит вопрос о всеобщей забастовке. У нас в комитете голоса разделились. Я стоял за призыв к забастовке. Ленин, выяснив поло-

жение, предложил от этого отказаться... 12 июля. Контр-революция побеждает. Советы безвластны. Расходившиеся юнкера стали громить уже и меньшевиков. Среди части партии неуверенность. Приостановился приплыв членов... Но бегства из наших рядов еще нет». После июльских дней «на питерских заводах было сильное эсеровское влияние», пишет рабочий Сиско. Изоляция большевиков автоматически повышала вес и самочувствие соглашателей. 16 июля делегат с Васильевского острова докладывает на большевистской городской конференции, что настроение в районе «в общем» бодрое, за исключением нескольких заводов. «На Балтийском заводе эсеры и меньшевики забивают нас». Здесь дело зашло очень далеко: заводский комитет постановил, чтобы большевики шли провожать убитых казаков, что те и выполнили.. Официальная убыль членов партии правда, незначительна: во всем районе из 4000 членов открыто выбыло не более 100. Но гораздо большее число в первые дни молча отошло к стороне. «Июльские дни — вспоминал впоследствии рабочий Миничев — показали нам, что и в наших рядах были лица, которые, боясь за свою шкуру, «жевали» партийные билеты и открещивались от партии. Но таких находилось немного»..., прибавляет он успокоительно. «Июльские события — пишет Шляпников — и вся связанная с ними кампания насилий и клеветы над нашими организациями, прервали тот рост нашего влияния, который достиг к началу июля огромной силы... Сама наша партия была полулегальна и вела оборонительную борьбу, опираясь преимущественно на профессиональные союзы и фабрично-заводские комитеты.

Обвинение большевиков в службе Германии не могло не произвести впечатления даже на петроградских рабочих, по крайней мере на значительную часть их. Кто колебался, тот отшатнулся. Кто готов был примкнуть, тот заколебался. Даже из тех, которые уже примкнули, немало отошло. В июльской демонстрации наряду с большевиками широкое участие принимали

рабочие, принадлежащие к эсерам и меньшевикам. После удара они первыми отскочили под знамена своих партий: им теперь казалось, что, нарушив дисциплину, они действительно совершили ошибку. Широкий слой беспартийных рабочих, попутчиков партии, также отодвинулся от нее под влиянием официально возвещенной и юридически обставленной клеветы.

В этой изменившейся политической атмосфере удары репрессии производили сугубое действие. Ольга Равич, одна из старых и активных деятельниц партии, член Петроградского комитета, говорила впоследствии в своем докладе: «Июльские дни принесли организации такой разгром, что о какой бы то ни было деятельности в течение первых трех недель не могло быть и речи». Равич имеет здесь в виду главным образом открытую деятельность партии. Долго нельзя было наладить выпуск партийной газеты: не находилось типографии, которая соглашалась бы обслуживать большевиков. Не всегда при этом сопротивление исходило от владельцев: в одной типографии рабочие пригрозили прекратить работу в случае печатанья большевистской газеты, и собственник отказался от уже заключенной сделки. В течение некоторого времени Петроград обслуживался кронштадтской газетой.

Крайним левым флангом на открытой арене оказалась в эти недели группа меньшевиков-интернационалистов. Рабочие охотно посещали доклады Мартова, в котором инстинкт борца проснулся в период отступления, когда приходилось не прокладывать для революции новые пути, а бороться за остатки ее завоеваний. Мужество Мартова было мужеством пессимизма. «Над революцией, — говорил он в заседании Исполнительного комитета, — повидимому, поставлена точка... Если дело дошло до того, что... голосу крестьянства и рабочих в русской революции нет места, то сойдем со сцены честно, примем этот вызов не молчаливым отречением, а честным боем». Сойти со сцены с честным боем Мартов предлагал тем своим товарищам

по партии, которые, как Дан и Церетели, победу генералов и казаков над рабочими и солдатами оценивали, как победу революции над анархией. На фоне разнузданной травли против большевиков и низменного пресмыкательства соглашателей перед казачьими лампасами поведение Мартова высоко поднимало его в эти тяжкие недели в глазах рабочих.

Особенно сокрушительно июльский кризис ударил по петроградскому гарнизону. Солдаты политически далеко отставали от рабочих. Солдатская секция Совета оставалась опорою соглашателей в то время, как рабочая уже шла за большевиками. Этому нисколько не противоречил тот фкт, что солдаты проявляли особую готовность потрясать оружием. В демонстрации они играли более агрессивную роль, чем рабочие, но под ударами далеко откатились назад. Волна враждебности к большевикам взметнулась в петроградском гарнизоне очень высоко. «После поражения, — рассказывает бывший солдат Митревич, — не являюсь в свою роту, а то там можно быть убитым, пока пройдет шквал». Как раз в наиболее революционных полках, шедших в передних рядах в июльские дни и попавших поэтому под наиболее свирепые удары, влияние партии так упало, что восстановить в них организацию оказывалось невозможным и через три месяца: от слишком сильного толчка эти части как бы морально искрошились. Военной организации пришлось сильно свернуться. «После июльского поражения, — пишет бывший солдат Миничев, — на Военку посматривали не очень дружелюбно, не только товарищи из верхов нашей партии, но и некоторые районные комитеты.»

В Кронштадте партия не досчитывала двухсот пятидесяти членов. Настроение гарнизона большевистской крепости сильно упало. Реакция докатилась и до Гельсингфорса. Авксентьев, Бунаков, адвокат Соколов прибыли для приведения большевистских судов к раскаянию. Кое-чего они достигли. Арестами руководящих большевиков, использованием официальной клеветы, угрозами удалось добиться изъявления лойяль-

ности даже со стороны большевистского броненосца «Петропавловск». Требование выдачи «зачинщиков» было во всяком случае отвергнуто всеми судами.

Не многим иначе шли дела и в Москве. «Травля буржуазной печати, вспоминает Пятницкий, подействовала панически даже на некоторых членов Московского комитета». Организация после июльских дней численно ослабела. «Никогда не забыть — пишет московский рабочий Ратехин — одного убийственно тяжкого момента. Собирается пленум (замоскворецкого районного совета)... Наших товарищей-большевиков, смотрю, маловато... Вплотную подходит ко мне Стеклов, один из энергичных товарищей, и, чуть выговаривая слова, спрашивает: правда ли, что Ленина привезли с Зиновьевым в запломбированном вагоне? правда ли, что они на немецкие деньги....? Сердце сжималось от боли, слушая эти вопросы. Подходит другой товарищ, Константинов: Где Ленин? — Улетел, говорят... Что теперь будет? и так далее». Эта живая сцена безошибочно вводит нас в тогдашние переживания передовых рабочих. «Появление документов, опубликованных Алексинским, — пишет московский артиллерист Давыдовский, — вызвало страшную сумятицу в бригаде. Наша батарея, самая большевистская, и то зашаталась под напором этой гнусной лжи... Казалось, что мы потеряли всякое доверие».

«После июльских дней, — пишет В. Яковлева, бывшая в то время членом Центрального комитета и руководившая работой в обширной Московской области, — все доклады с мест в один голос отмечали не только резкое падение настроения в массах, но даже определенную враждебность их к нашей партии. Были довольно многочисленные избиения наших ораторов. Число членов сильно уменьшилось, а некоторые из организаций даже вовсе перестали существовать, особенно в южных губерниях». К середине августа еще никакого заметного изменения не произошло. Идет работа в массах за удержание влияния, роста организаций не наблюдается. По Рязанской и Тамбовской

губерниям новых связей не завязывается, ячеек большевистских не возникает; в общем — это вотчины эсеров и меньшевиков.

Евреинов, ведший работу в пролетарской Кинешме, вспоминает, какая тяжелая обстановка создалась после июльских событий, когда на широком совещании всех общественных организаций ставился вопрос об исключении большевиков из Совета. Отлив из партии принимал иногда столь значительные размеры, что лишь после новой регистрации членов организация начинает жить правильной жизнью. В Туле, благодаря предварительному серьезному отбору рабочих, организация не испытала утечки членов, но спайка ее с массами ослабела. В Нижнем Новгороде, после усмирительной кампании, проведенной под руководством полковника Верховского и меньшевика Хинчука, наступил резкий упадок: на выборах в городскую думу партии удалось провести только 4 депутатов. В Калуге большевистская фракция считалась с возможностью своего устранения из Совета. В некоторых пунктах Московской области большевики оказывались вынуждены уходить не только из советов, но и из профессиональных союзов.

В Саратове, где большевики сохраняли с соглашателями очень мирные отношения и еще в конце июня собирались выставить на выборах в городскую думу общий с ними список, солдаты, после июльской грозы, оказались до такой степени натравлены против большевиков, что врывались в избирательные собрания, рвали из рук большевистские бюллетени и избивали агитаторов. «Нам трудно стало — пишет Лебедев — выступать на избирательных собраниях. Нередко нам кричали: германские шпионы, провокаторы!»... В рядах саратовских большевиков нашлось немало малодушных: «многие заявляли об уходе, другие попрятались».

В Киеве, который издавна пользовался славой черносотенного центра, травля против большевиков приняла особенно разнузданный характер и перекинулась вскоре на меньшевиков и эсеров. Упадок рево-

люционного движения чувствовался здесь особенно сильно: на выборах в местную думу большевики получили всего 6% голосов. На общегородской конференции докладчики жаловались, что «повсюду замечается апатия и бездеятельность». Партийная газета оказалась вынуждена с ежедневного выпуска перейти на еженедельный.

Расформирования и перемещения наиболее революционных полков уже сами по себе должны были не только снижать политический уровень гарнизонов, но и угнетающе действовать на местных рабочих, которые чувствовали себя тверже, когда за их спиною стояли дружественные части. Так, вывод из Твери 57-го полка резко изменил политическую обстановку, как в среде солдат, так и в среде рабочих: даже в профессиональных союзах влияние большевиков стало незначительным. Еще в большей мере это обнаружилось в Тифлисе, где меньшевики, рука об руку со штабом, заменили большевистские части совсем серыми полками.

В некоторых пунктах, в зависимости от состава гарнизона, уровня местных рабочих и случайно привходящих причин, политическая реакция принимала парадоксальное выражение. В Ярославле, например, большевики в июле оказались почти полностью вытеснены из рабочего совета, но сохранили преобладающее влияние в совете солдатских депутатов. В отдельных местах июльские события как бы действительно прошли бесследно, не приостановив роста партии. Насколько можно судить, это наблюдалось в тех случаях, когда с общим отступлением совпадало выступление на революционную арену новых, отсталых слоев. Так, в некоторых текстильных районах в июле стал замечаться значительный приток в организации женщин-работниц. Но общая картина отлива этим не нарушается.

Несомненная, даже преувеличенная острота реакции на частичное поражение была своего рода расплатой со стороны рабочих и особенно солдат за слишком легкий, слишком быстрый, слишком безостановочный при-

лив их к большевикам в предшествующие месяцы. Крутой поворот массовых настроений производил автоматический и притом безошибочный отбор в кадрах партии. На тех, которые не дрогнули в эти дни, можно было положиться и в дальнейшем. Они составили ядро в мастерской, в заводе, в районе. Накануне Октября организаторы не раз оглядывались при назначениях и поручениях вокруг себя, припоминая, кто как держал себя в июльские дни.

На фронте, где все отношения обнаженнее, июльская реакция приняла особенно жесткий характер. Ставка использовала события прежде всего для создания особых частей «долга перед свободной родиной». При полках организовались свои ударные команды. «Я видел много раз ударников, — рассказывает Деникин, — и всегда — сосредоточенными, угрюмыми. В полках к ним относились сдержанно или даже злобно». Солдаты не без основания видели в «частях долга» ячейки преторианской гвардии. «Реакция не медлила, рассказывает об отсталом Румынском фронте эсер Дегтярев, примкнувший впоследствии к большевикам. — Много солдат было арестовано, как дезертиры. Офицеры подняли головы и стали пренебрегать войсковыми комитетами; кое-где офицеры пытались вернуться к отданию чести». Комиссары проводили чистку армии. «Чуть ли не в каждой дивизии, — пишет Станкевич, — был свой большевик, с именем, более известным в армии, чем имя начальника дивизии . . . Мы постепенно убирали одну знаменитость за другой». Одновременно по всему фронту шли разоружения непокорных частей. Командиры и комиссары опирались при этом на казаков и ненавистные солдатам специальные команды.

В день падения Риги совещание комиссаров Северного фронта и представителей армейских организаций признало необходимым более систематическое применение суровых репрессий. Были случаи расстрелов за братание с немцами. Многие из комиссаров, подогревая себя смутными образами французской революции,

пытались показать железную руку. Они не понимали, что якобинские комиссары опирались на низы, не щадили аристократов и буржуа и что только авторитет плебейской беспощадности вооружал их для насаждения в армии суровой дисциплины. Комиссары Керенского не имели никакой народной опоры под собою, никакого нравственного ореола над головою. Они были в глазах солдат агентами буржуазии, загонщиками Антанты и — только. Они могли на время запугать армию, — этого они до некоторой степени действительно достигли, — но возродить ее они были бессильны.

В Бюро Исполнительного комитета, в Петрограде, докладывалось в начале августа, что в настроении армии произошел благоприятный поворот, наладились строевые занятия; но, с другой стороны, наблюдается рост бесправия, произвола, зажима. Особенную остроту приобрел вопрос об офицерстве: «оно совершенно изолировано, образует свои замкнутые организации». И другие данные свидетельствуют, что внешне на фронте стало больше порядка, солдаты перестали бунтовать по мелким и случайным поводам. Но тем сосредоточеннее становилось их недовольство положением в целом. В осторожной и дипломатической речи меньшевика Кучина на Государственном совещании из-под нот успокоения звучало тревожное предостережение. «Несомненный перелом есть, есть несомненное спокойствие, но, граждане, есть и другое, есть чувство какого-то разочарования, и этого чувства мы тоже чрезвычайно боимся»... Временная победа над большевиками была прежде всего победой над новыми надеждами солдат, над их верой в лучшее будущее. Массы стали осторожнее, дисциплины как будто прибавилось. Но между правящими и солдатами углубилась пропасть. Что и кого поглотит она завтра?

Июльская реакция как бы пролагает окончательный водораздел между Февральской революцией и Октябрьской. Рабочие, тыловые гарнизоны, фронт, отчасти даже, как видно будет дальше, крестьяне подались назад, отпрянули, как бы от удара в грудь. Удар

имел на самом деле гораздо более психический, чем физический характер, но от того не становился менее действительным. Четыре первых месяца все массовые процессы имели одно направление: влево. Большевизм рос, крепнул, смелел. Но вот движение наткнулось на порог. На самом деле обнаружилось, что на путях Февральской революции дальше двигаться некуда. Многим казалось, что революция вообще исчерпала себя. На самом деле исчерпала себя до дна Февральская революция. Этот внутренний кризис массового сознания, в сочетании с репрессией и клеветой, привел к замешательству и отступлениям, в некоторых случаях паническим. Противники осмелели. В самой массе всплыло наверх все отсталое, косное, недовольное потрясениями и лишениями. Эти обратные волны в потоке революции обнаруживают непреодолимую силу: кажется, что они подчиняются законам социальной гидродинамики. Одолеть такую встречную волну грудью невозможно, — остается не поддаваться ей, не дать себя захлестнуть, продержаться, пока волна реакции исчерпает себя, и готовить в то же время опорные пункты для нового наступления.

Наблюдая отдельные полки, которые 3 июля выступали под большевистскими плакатами, а через неделю требовали грозных кар для агентов кайзера, образованные скептики могли, казалось, праздновать победу: таковы ваши массы, такова их устойчивость и способность понимания! Но это дешевый скептицизм. Если бы массы, действительно, меняли свои чувства и мысли под влиянием случайных обстоятельств, то необъяснимой была бы могучая закономерность, которая характеризует развитие великих революций. Чем глубже захвачены миллионы народа, тем планомернее развитие революции, тем с большей уверенностью можно предсказать последовательность дальнейших этапов. Надо лишь не забывать при этом, что политическое развитие масс происходит не по прямой линии, а по сложной кривой: но такова, ведь, в сущности, орбита каждого материального процесса. Объективные

условия властно толкали рабочих, солдат и крестьян под знамя большевиков. Но массы становились на этот путь в борьбе со своим собственным прошлым, со своими вчерашними и отчасти сегодняшними верованиями. На трудном повороте, в момент неудачи и разочарования, старые, еще не перегоревшие предрассудки, всплывают наверх, и противники естественно хватаются за них, как за якорь спасения. Все, что было в большевиках неясного, непривычного, загадочного, — новизна мыслей, дерзновенье, непризнанье всех старых и новых авторитетов, — все это теперь нашло сразу одно простое, убедительное в самой своей нелепости объяснение: немецкие шпионы! Выдвинутое против большевиков обвинение было по существу ставкой на рабское прошлое народа, на наследие тьмы, варварства, суеверий, — и эта ставка не была пустой. Великая патриотическая ложь в течение июля и августа оставалась политическим фактором первостепенного значения, образуя аккомпанимент ко всем вопросам дня. Круги клеветы расходились по стране вместе с кадетской печатью, охватывая провинцию, окраины, проникая в медвежьи углы. В конце июля иваново-вознесенская организация большевиков все еще требовала открытия более энергичной кампании против травли! Вопрос об удельном весе клеветы в политической борьбе цивилизованного общества еще ждет своего социолога.

И все же реакция в среде рабочих и солдат, нервная и бурная, не была ни глубокой, ни прочной. Передовые заводы в Петрограде стали оправляться уже в течение ближайших дней после разгрома, протестовали против арестов и клеветы, стучались в двери Исполнительного комитета, восстановляли связи. На Сестрорецком оружейном заводе, подвергшемся штурму и разоружению, рабочие скоро снова взяли руль в свои руки: общее собрание 20 июля постановило уплатить рабочим за дни демонстрации с тем, чтоб плата пошла целиком на литературу для фронта. Открытая агитационная работа большевиков в Петрограде возобновляется, по свидетельству Ольги Равич, в 20 числах

июля. На митингах, охватывающих не более двухсот-трехсот душ, выступают в разных частях города три лица: Слуцкий, убитый позже белыми в Крыму, Володарский, убитый эсерами в Петрограде, и Евдокимов, петроградский металлист, один из выдающихся ораторов революции. В августе агитационная деятельность партии принимает более широкие размеры. По записи Раскольникова, Троцкий, арестованный 23 июля, дал в тюрьме такую картину положения в городе: «Меньшевики и эсеры... продолжают исступленную травлю большевиков. Аресты наших товарищей продолжаются. Но в партийных кругах нет уныния. Напротив, все с надеждой смотрят вперед, считая, что репрессии только укрепят популярность партии... В рабочих кварталах также не замечается упадка духа». Действительно, вскоре собрание рабочих 27 предприятий Петергофского района вынесло резолюцию протеста против безответственного правительства и его контр-революционной политики. Пролетарские районы оживали.

В то время, как на верху, в Зимнем и Таврическом дворцах, строили новую коалицию, сходились, разрывали и снова склеивали, в эти самые дни и даже часы, 21—22 июля, в Петрограде происходило крупнейшее событие, в официальном мире вряд-ли замеченное, но знаменовавшее укрепление иной, более солидной коалиции: петроградских рабочих и солдат действующей армии. В столицу стали прибывать делегаты-фронтовики с протестами от своих частей против удушения революции на фронте. Несколько дней они понапрасну стучались в двери Исполнительного комитета. Их не допускали, отваживали, от них отделывались. За это время прибывали новые делегаты и проделывали тот же путь. Отвергнутые наталкивались друг на друга в коридорах и приемных, жаловались, ругались, искали совместно выхода. Им в этом помогали большевики. Делегаты решили обменяться мыслями со столичными рабочими, солдатами, матросами, которые встретили их с распростертыми объятиями, приютили, накормили. На совещании, которого никто сверху не созы-

вал, которое выросло снизу, участвовали представители от 29 полков с фронта, 90 петроградских заводов, от кронштадтских моряков и окрестных гарнизонов. В центре совещания стояли окопные ходоки; среди них было и несколько младших офицеров. Питерские рабочие слушали фронтовиков с жадностью, стараясь не проронить ни слова. Те рассказывали, как наступление и его последствия пожирали революцию. Серые солдаты, совсем не агитаторы, изображали в незамысловатых докладах будни фронтового быта. Эти подробности потрясали, ибо наглядно показывали, как вползает назад все старое, дореволюционное, ненавистное. Контраст между недавними надеждами и сегодняшней действительностью ударил по сердцам и настроил на один тон. Несмотря на то, что среди фронтовиков преобладали, повидимому, эсеры, резкая большевистская резолюция прошла почти единогласно: только четыре человека воздержалось. Принятая резолюция не останется мертвой буквой: разъехавшись, делегаты расскажут правду о том, как их отталкивали соглашательские вожди, и как их принимали рабочие, — своим докладчикам окопы поверят, эти не обманут.

В самом петроградском гарнизоне начало перелома обозначилось к концу месяца, особенно после митингов, с участием представителей с фронта. Правда, наиболее тяжело пострадавшие полки все еще не могли оправиться от апатии. Зато в тех частях, которые дольше оставались на патриотической позиции и пронесли дисциплину через первые месяцы революции, влияние партии заметно возростало. Начала оправляться Военная организация, особенно жестоко пострадавшая от разгрома. Как всегда после поражений, в партийных кругах на руководителей военной работы поглядывали неблагожелательно, ставя им в счет действительные и мнимые ошибки и увлечения. Центральный комитет ближе подтянул к себе Военную организацию, установил над ней, через Свердлова и Дзержинского, более непосредственный контроль, и ра-

бота стала разворачиваться снова, медленнее, чем раньше, но более надежно.

К концу июля положение большевиков на петроградских заводах было уже восстановлено: рабочие сплотились под тем же знаменем, но это были уже другие рабочие, более зрелые, т. е. более осторожные, но и более решительные. «На заводах мы пользуемся колоссальным, неограниченным влиянием», докладывал Володарский 27 июля съезду большевиков. Партийная работа выполняется главным образом самими рабочими... Организация выросла снизу, и поэтому мы имеем полное основание думать, что она не распадется». Союз молодежи насчитывал в это время до 50 000 членов и все больше подпадал под влияние большевиков. 7 августа рабочая секция Совета принимает резолюцию об отмене смертной казни. В знак протеста против Государственного совещания путиловцы отчисляют однодневный заработок на рабочую печать. На конференции фабрично-заводских комитетов единогласно вынесена резолюция, объявляющая Московское совещание «попыткой организации контр-революционных сил» . . .

Залечивал свои раны Кронштадт. 20 июля митинг на Якорной площади требует передачи власти советам, отправки на фронт казаков, наравне с жандармами и городовыми, отмены смертной казни, допущения кронштадтских делегатов в Царское Село, чтобы удостовериться, достаточно ли строго содержится Николай II, расформирования батальонов смерти, конфискации буржуазных газет и т. д. В то же время новый адмирал Тырков, вступив в командование крепостью, приказал спустить на военных судах красные флаги и поднять Андреевские. Офицеры и часть солдат надели погоны. Кронштадтцы протестовали. Правительственная комиссия для расследования событий 3—5 июля принуждена была из Кронштадта безрезультатно вернуться в Петроград: ее встретили свистками, протестами и даже угрозами.

Сдвиг происходил во всем флоте. «В конце июля и начале августа, — пишет один из финляндских руково-

дителей, Залежский, — ясно чувствовалось, что внешней реакции не только не удалось сломить революционные силы Гельсингфорса, но — наоборот — здесь наметился весьма резкий сдвиг влево и широкий рост симпатий к большевикам». Матросы были, в значительной мере, вдохновителями июльского выступления, помимо и отчасти против партии, которую они подозревали в умеренности и почти в соглашательстве. Опыт вооруженного выступления показал им, что вопрос власти не решается так просто. Полуанархические настроения уступали место доверию к партии. Очень интересен на этот счет доклад гельсингфорсского делегата в конце июля: « На мелких судах преобладает влияние эсеров, на боевых же крупных судах, крейсерах, броненосцах, все матросы — или большевики или сочувствующие. Таково было (и раньше) настроение матросов на «Петропавловске» и «Республике», а после 3—5 июля к нам перешли «Гангут», «Севастополь», «Рюрик», «Андрей Первозванный», «Диана», «Громобой», «Индия». Таким образом у нас в руках громадная боевая сила . . . События 3—5 июля многому научили матросов, показав, что одного настроения еще недостаточно для достижения цели.»

Отставая от Петрограда, Москва идет тем же путем. «Постепенно угар начал спадать, — рассказывает артиллерист Давыдовский, — солдатская масса начинает приходить в себя, и мы снова переходим в наступление по всему фронту. Эта ложь, на время задержав левение массы, только усилила после этого приток ее к нам». Под ударами теснее скреплялась дружба заводов и казарм. Московский рабочий Стрелков рассказывает о тесных отношениях, которые установились постепенно между заводом Михельсона и соседним полком. Рабочий и солдатский комитеты нередко разрешали на совместных заседаниях практические вопросы жизни завода и полка. Рабочие устраивали для солдат культурно-просветительные вечера, покупали для них большевистские газеты и всячески вообще приходили им на помощь. «Поставят кого-нибудь под ружье, —

рассказывает Стрелков, — сейчас бегут к нам жаловаться... Во время уличных митингов, если где-либо обидят михельсоновца, достаточно узнать хотя одному солдату, то сейчас же бегут целыми группами на выручку. А обид тогда было много, травили германским золотом, изменой и всей соглашательской подлой ложью».

Московская конференция фабрично-заводских комитетов в конце июля начала с умеренных тонов, но сильно сдвинулась влево за неделю своих работ и под конец приняла резолюцию, явно окрашенную большевизмом. В те же дни московский делегат Подбельский докладывал на съезде партии: «6 районных советов из 10-ти находятся в наших руках... При теперешней организованной травле нас спасает только рабочая масса, которая стойко поддерживает большевизм». В начале августа при выборах на московских заводах вместо меньшевиков и эсеров проходят уже большевики. Рост влияния партии бурно раскрылся во всеобщей стачке накануне Совещания. Официальные московские «Известия» писали: «пора, наконец, понять, что большевики — это не безответственные группы, а один из отрядов организованной революционной демократии, за которым стоят широкие массы, быть может, не всегда дисциплинированные, но зато беззаветно преданные революции».

Июльское ослабление позиций пролетариата придало духу промышленникам. Съезд тринадцати важнейших предпринимательских организаций, в том числе и банковских, создал Комитет защиты промышленности, который взял на себя руководство локаутами и всей вообще политикой наступления на революцию. Рабочие ответили отпором. По всей стране прокатилась волна крупных стачек и других столкновений. Если наиболее опытные отряды пролетариата проявляли осторожность, тем решительнее вступали в борьбу новые, свежие слои. Если металлисты выжидали и готовились, на поле вторгались текстильщики, рабочие резиновой промышленности, писчебумажной, кожевенной.

Поднимались самые отсталые и покорные слои тружеников. Киев был взволнован бурной стачкой дворников и швейцаров: обходя дома, бастующие тушили свет, снимали ключи с подъемных лифтов, открывали двери на улицу и т. п. Каждый конфликт, по какому бы поводу он ни возникал, имел тенденцию расшириться на целую отрасль промышленности и приобресть принципиальный характер. При поддержке рабочих всей страны, кожевники Москвы открыли в августе долгую и упорную борьбу за право фабричных комитетов распоряжаться наймом и увольнением рабочих. Во многих случаях, особенно в провинции, стачки принимали драматический характер, доходя до арестов стачечниками предпринимателей и администрации. Правительство проповедывало рабочим самоограничение, вступало с промышленниками в коалицию, посылало в Донецкий бассейн казаков и повышало вдвое цены на хлеб и на военные заказы. Накаляя негодование рабочих, эта политика не устраивала и предпринимателей. «С прозрением Скобелева, — жалуется Ауэрбах, один из капитанов тяжелой промышленности, — еще не прозрели комиссары труда на местах... В самом министерстве... не доверяли своим провинциальным агентам... Представители рабочих вызывались в Петроград, и в Мраморном дворце их уговаривали, ругали, мирили с промышленниками, инженерами». Но все это не вело ни к чему: «рабочие массы к тому времени уже все более подпадали под влияние более решительных и беззастенчивых в своей демагогии вожаков».

Экономическое пораженчество составляло главное орудие предпринимателей против двоевластия на заводах. На конференции фабрично-заводских комитетов в первой половине августа детально разоблачена была вредительская политика промышленников, направленная на расстройство и приостановку производства. Помимо финансовых махинаций, широко применялось сокрытие материалов, закрытие инструментальных или ремонтных мастерских и пр. О саботаже предпринимателей дает яркие показания Джон Рид, который в

качестве американского корреспондента. имел доступ в самые разнообразные круги, пользовался доверительными сведениями дипломатических агентов Антанты и выслушивал откровенные признания русских буржуазных политиков. «Секретарь петроградского отдела кадетской партии, пишет Рид, говорил мне, что экономическая разруха является частью кампании, проводимой для дискредитирования революции. Союзный дипломат, имя которого я дал слово не упоминать, подтверждал это на основании собственных сведений. Мне известны угольные копи близ Харькова, подожженные или затопленные владельцами. Мне известны московские текстильные фабрики, где инженеры, бросая работу, приводили машины в негодность. Мне известны железнодорожные служащие, которых рабочие ловили на порче локомотивов». Такова была жестокая экономическая реальность. Она отвечала не соглашательским иллюзиям, не политике коалиции, а подготовке корниловского восстания.

На фронте священное единение так же плохо прививалось, как и в тылу. Аресты отдельных большевиков, — жалуется Станкевич, — не разрешали вопроса. «Преступность носилась в воздухе, ее контуры не были отчетливыми, потому что ею была заражена вся масса». Если солдаты стали сдержаннее, то лишь потому, что научились до некоторой степени дисциплинировать свою ненависть. Но когда их прорывало, тем ярче обнаруживались их действительные чувства. Одна из рот Дубенского полка, которую приказано было расформировать за отказ признать вновь назначенного ротного, взбунтовала еще несколько рот, затем весь полк, и когда командир полка сделал попытку восстановить порядок силою оружия, его убили прикладами. Это произошло 31 июля. Если в других полках дело до этого не доходило, то, по внутреннему чувству командного состава, всегда могло дойти.

В середине августа генерал Щербачев доносил в Ставку: «настроение пехотных частей, за исключением баталионов смерти, весьма неустойчиво, —

иногда в течение всего нескольких дней настроение некоторых пехотных частей резко изменялось в диаметрально противоположную сторону». Среди комиссаров многие стали понимать, что июльские методы не дают выхода. «Практика применения военно-революционных судов на Западном фронте, — докладывал 22 августа комиссар Ямандт, — вносит страшный разлад между командным составом и массой населения, дискредитируя самую идею этих судов»... Корниловская программа спасения уже до восстания Ставки была достаточно испробована и привела в тот же тупик.

Больше всего пугались имущие классы признаков разложения казачества: здесь грозило крушение последнего оплота. Казачьи полки в Петрограде выдали в феврале монархию без сопротивления. Правда, у себя, в Новочеркасске, казачьи власти попытались было скрыть телеграмму о перевороте и с обычной торжественностью служили 1 марта панихиду по Александре Втором. Но в конце концов без царя казачество готово было обойтись и даже открыло в своем прошлом республиканские традиции. Но дальше этого итти не хотело. Казаки с самого начала отказались послать своих депутатов в петроградский Совет, чтоб не равняться с рабочими и солдатами, и образовали Совет казачьих войск, объединивший вокруг себя все двенадцать казачеств, в лице их тыловых верхов. Буржуазия стремилась, и не без успеха, опереться на казаков против рабочих и крестьян.

Политическая роль казачества определялась его особым положением в государстве. Казачество искони представляло своеобразное низшее привиллегированное сословие. Казак не платил никаких налогов и располагал значительно большим земельным наделом, чем крестьянин. В трех соседних областях, Донской, Кубанской и Терской, три миллиона казачьего населения имели в своих руках 23 миллиона десятин земли, тогда как на 4,3 миллиона душ крестьянского населения приходилось в тех же об-

ластях лишь 6 миллионов десятин: на казачью душу в среднем в пять раз больше, чем на крестьянскую. Среди самого казачества земля распределялась, разумеется, крайне неравномерно. Здесь были свои помещики и свои кулаки, более мощные, чем на севере; была и своя беднота. Каждый казак обязан был являться по первому требованию государства на своем коне и при своем снаряжении. Богатые казаки с избытком покрывали этот расход свободой от налогов. Низы сгибались под бременем казачьей повинности. Эти основные данные достаточно объясняют противоречивое положение казачества. Низшими своими слоями оно близко соприкасалось с крестьянством, верхами — с помещиками. В то же время верхи и низы объединялись сознанием своей особливости, избранности и привыкли смотреть свысока не только на рабочего, но и на крестьянина. Это и делало среднего казака столь пригодным для роли усмирителя.

В годы войны, когда молодые поколения были на фронтах, в станицах верховодили старики, носители консервативных традиций, тесно связанные со своим офицерством. Под видом возрождения казачьей демократии, казаки-помещики в течение первых месяцев революции собрали так называемые войсковые круги, которые избрали атаманов, своего рода президентов, и при них — «войсковые правительства». Официальные комиссары и советы не-казачьего населения не имели власти в казачьих областях, ибо казаки были крепче, богаче и лучше вооружены. Эсеры пытались создать общие советы крестьянских и казачьих депутатов, но казаки не шли навстречу, не без основания опасаясь, что аграрная революция отхватит у них часть земли. Недаром Чернов, в качестве министра земледелия, обронил фразу: «казакам придется потесниться на своих землях». Еще важнее было то, что местные крестьяне и солдаты пехотных полков все чаще говорили по адресу казаков: «доберемся до вашей земли, довольно вам царствовать». Так выглядело дело в тылу, в станице, отчасти и в петроград-

ском гарнизоне, в средоточии политики. Этим объясняется и поведение казачьих полков в июльской демонстрации.

На фронте положение было существенно иное. Всего летом 1917 года состояло в действующих казачьих войсках 162 полка и 171 отдельная сотня. Оторванные от своих станиц фронтовые казаки разделяли со всей армией испытания войны и, хоть со значительным отставанием, проделывали эволюцию пехоты, теряли веру в победу, ожесточались против безалаберщины, роптали против начальства, тосковали по миру и по дому. На несение полицейской службы на фронте и в тылу отвлечено было постепенно 45 полков и до 65 сотен! Казаки опять превращались в жандармов. Солдаты, рабочие, крестьяне роптали против них, напоминая им их палаческую работу в 1905 году. У многих казаков, начавших было гордиться своим поведением в феврале, скребли на сердце кошки. Казак стал проклинать свою нагайку и не раз отказывался брать ее в наряд. Дезертиров среди донцев и кубанцев было мало: боялись своих стариков в станице. В общем, казачьи части значительно дольше оставались в руках начальства, чем пехота.

С Дона, с Кубани приходили на фронт вести, что казачьи верхи вместе со стариками посадили свою власть, не спросясь фронтового казака. Это пробуждало дремавшие социальные антагонизмы: «вернемся домой, мы им покажем», не раз говаривали фронтовики. Казачий генерал Краснов, один из вождей донской контр-революции, живописно изображал, как расползались на фронте крепкие казачьи части: «Начались митинги с вынесением самых диких резолюций. Казаки перестали чистить и регулярно кормить лошадей. О каких бы то ни было занятиях нельзя было и думать. Казаки украсились алыми бантами, вырядились в красные ленты и ни о каком уважении к офицерам не хотели и слышать». Прежде, однако, чем окончательно притти в такое состояние, казак долго колебался, чесал голову, искал, в какую сторону повер-

нуться. В критическую минуту нелегко было, поэтому, предугадать заранее, как поведет себя та или иная казачья часть.

8 августа Войсковой круг на Дону заключил блок с кадетами для выборов в Учредительное собрание. Слух об этом немедленно проник в армию. «Среди казаков, — пишет казачий офицер Янов, — блок был встречен весьма отрицательно. Партия кадетов корней в армии не имела». На самом деле армия ненавидела кадетов, отождествляя их со всем тем, что душит народные массы. «Продали вас старики кадетам», — дразнили солдаты. «Мы им покажем!» возражали казаки. На Юго-западном фронте казачьи части в особом постановлении объявили кадетов «заклятыми врагами и поработителями трудового народа» и потребовали исключения из Войскового круга всех тех, которые осмелились заключить соглашение с кадетами.

Корнилов, сам казак, сильно рассчитывал на помощь казачества, особенно донского, и укомплектовал казачьими частями отряд, предназначенный для переворота. Но казаки не тронулись на помощь «сыну крестьянина». Станичники готовы были у себя на месте яростно оборонять свои земли, но втягиваться в чужую драку не имели охоты. Третий конный корпус тоже не оправдал надежд. Если к братанию с немцами казаки относились недружелюбно, то на петроградском фронте охотно пошли навстречу солдатам и матросам: этим братанием план Корнилова оказался сорван без пролития крови. Так, в лице казачества слабела и рушилась последняя опора старой России.

Тем временем далеко за пределами страны, на территории Франции, проделан был в лабораторном масштабе опыт «возрождения» русских войск, вне досягаемости большевиков, и потому тем более убедительный. Летом и осенью в русскую печать проникли, но остались в вихре событий почти незамеченными сообщения о вспыхнувшем в русских войсках во Франции вооруженном мятеже. Солдаты двух русских бригад во Франции, по словам офицера Лисовского, уже к

январю 1917 года, следовательно до революции, «твердо исповедывали убеждение, что все они проданы французам за снаряды». Солдаты не столь уж ошибались. К хозяевам-союзникам они не питали «ни малейших симпатий», а к своим офицерам — ни малейшего доверия. Весть о революции застигла экспортные бригады как бы политически подготовленными, — и все же врасплох. От офицеров объяснений переворота ждать не приходилось: растерянность оказывалась тем сильнее, чем старше был офицер по служебному положению. В лагерях появились демократические патриоты из эмигрантов. «Не раз приходилось наблюдать — пишет Лисовский — как некоторые дипломаты и офицеры гвардейских полков ... услужливо придвигали бывшим эмигрантам стулья». В полках возникли выборные учреждения, причем во главе комитета стал быстро выделившийся солдат-латыш. И здесь нашелся, следовательно, свой «инородец». Первый полк, формировавшийся в Москве и состоявший почти целиком из рабочих, приказчиков, конторщиков, вообще пролетарских и полупролетарских элементов, первым вступил на землю Франции год назад и в течение зимы хорошо сражался на полях Шампани. Но — «болезнь разложения постигла первым делом этот же самый полк». Второй полк, имевший в своих рядах большой процент крестьян, дольше оставался спокойным. Вторая бригада, почти целиком состоявшая из крестьян-сибиряков, казалась вполне надежной. Уже вскоре после февральского переворота первая бригада вышла из повиновения. Она не хотела сражаться ни за Эльзас, ни за Лотарингию. Она не хотела умирать за прекрасную Францию. Она хотела попробовать жить в новой России. Бригаду отвели в тыл и разместили в центре Франции, в лагере Ла-Куртин. «Среди буржуазных селений, рассказывает Лисовский, в громадном лагере зажили совершенно особою, необычною жизнью около десяти тысяч мятежных вооруженных русских солдат, не имевших при себе офицеров и не желавших подчиняться никому решительно». Кор-

нилову представился исключительный случай применить свои методы оздоровления при содействии столь горячо сочувствовавших ему Пуанкаре и Рибо. Главковерх приказал по телеграфу привезти куртинцев «к повиновению» и отправить в Салоники. Но мятежники не сдавались. К 1-му сентября подвезена была тяжелая артиллерия, а внутри лагеря расклеены плакаты, с грозной телеграммой Корнилова. Но тут как раз в ход событий врезалось новое осложнение: во французских газетах появилось известие о том, что сам Корнилов объявлен изменником и контр-революционером. Солдаты-мятежники окончательно решили, что у них нет основания умирать в Салониках, да еще по приказу генерала-изменника. Проданные за снаряды рабочие и крестьяне решили постоять за себя. Они отказывались с кем бы то ни было посторонним разговаривать. Ни один солдат не выходил более из лагеря.

Вторая русская бригада была двинута против первой. Артиллерия заняла позиции на ближайших горных склонах, пехота, по всем правилам инженерного искусства, рыла окопы и подступы к Ла-Куртин. Окрестности были крепко оцеплены альпийскими стрелками, дабы ни один француз не проник на театр войны двух русских бригад. Так военные власти Франции инсценировали на своей территории русскую гражданскую войну, предусмотрительно окружив ее изгородью штыков. Это была репетиция. В дальнейшем правящая Франция организовывала гражданскую войну на территории самой России, окружив ее колючим кольцом блокады.

«Правильный, методичный обстрел лагеря начался». Из лагеря вышло несколько сот солдат, готовых сдаться. Их приняли и тут же возобновили артиллерийский огонь Так длилось четверо суток. Куртинцы сдавались по частям. 6-го сентября оставалось всего около двухсот человек, решивших не сдаваться живьем. Во главе их стоял украинец Глоба, баптист, фанатик: в России его называли бы большевиком.

Под прикрытием орудийной, пулеметной и ружейной стрельбы, слившейся в один общий гул, начался настоящий штурм. В конце концов мятежники были раздавлены. Количество жертв так и осталось неизвестным. Порядок был, во всяком случае, восстановлен. Но уже через несколько недель вторая бригада, которая расстреливала первую, оказалась охвачена той же самой болезнью....

Страшную заразу русские солдаты привезли с собою через моря в своих холщевых мешках, в складках своих шинелей и в тайниках своих душ. Тем и замечателен этот драматический эпизод в Ла-Куртин, что он представляет собою как бы сознательно построенный идеальный опыт, почти под колоколом воздушного насоса, для изучения внутренних процессов в русской армии, подготовленных всем прошлым страны.

ПРИБОЙ

Сильнодействующее средство клеветы оказалось обоюдоострым оружием. Если большевики — немецкие шпионы, то почему же весть об этом исходит главным образом от людей, наиболее ненавистных народу? Почему именно кадетская печать, которая приписывает рабочим и солдатам по всякому поводу самые низменные побуждения, громче и решительнее всех обвиняет большевиков? Почему реакционный инженер или мастер, притаившийся со времени переворота, теперь сразу воспрянул и открыто проклинает большевиков? Почему осмелили в полках наиболее реакционные офицеры и почему, обличая Ленина и компанию, они размахивают кулаками перед самым носом у солдат, как еслибы изменниками были именно солдаты?

На каждом заводе были свои большевики. «Похож я на немецкого шпиона, ребята, а?» спрашивал слесарь или токарь, вся подноготная которого была известна рабочим. Нередко сами соглашатели в борьбе с натиском контр-революции заходили дальше, чем хотели, и, не желая того, прокладывали дорогу большевикам. Солдат Пирейко рассказывает, как военный врач Маркович, сторонник Плеханова, отверг на солдатском митинге обвинение Ленина в шпионстве, чтоб тем решительнее разбить его политические взгляды, как несостоятельные и пагубные. Тщетно! «Раз Ленин умный и не шпион, не предатель и хочет заключить мир, то

мы и пойдем за ним», — говорили солдаты после собрания.

Временно задержанный в своем росте большевизм снова начинал уверенно расправлять свои крылья. «Возмездие не медлит, — писал Троцкий в середине августа. — Гонимая, преследуемая, оклеветанная, наша партия никогда не росла так быстро, как в последнее время. И этот процесс не замедлит перекинуться из столиц на провинцию, из городов на деревни и на армию... Все трудящиеся массы страны научатся в новых испытаниях связывать свою судьбу с судьбой нашей партии».

Петроград шел попрежнему впереди. Казалось, всесильная метла работает по заводам, выметая из всех углов и закоулков влияние соглашателей. «Падают последние твердыни оборончества... — сообщала большевистская газета. — Давно ли безраздельно господствовали господа оборонцы на громадном Обуховском заводе?.. теперь им туда нельзя и показываться». На выборах петроградской городской думы 20 августа подано было около 550 тысяч голосов, значительно меньше, чем на июльских выборах в районные думы. Потеряв больше 375 тысяч, эсеры все еще собрали свыше 200 тысяч голосов, или 37% общего числа. На долю кадетов пришлась пятая часть. «Жалкие 23 тысячи голосов — пишет Суханов — собрал наш меньшевистский список». Неожиданно для всех большевики получили почти 200 тысяч голосов, около трети общего числа.

На областной конференции профессиональных союзов Урала, происходившей в середине августа и объединившей полтораста тысяч рабочих, по всем вопросам вынесены решения большевистского характера. В Киеве на конференции фабзавкомов 20 августа резолюция большевиков принята большинством 161 голоса против 35, при 13 воздержавшихся. На демократических выборах в городскую думу Иваново-Вознесенска, как раз в момент восстания Корнилова, большевики из 102 мест получили 58, эсеры — 24, меньшевики —

4. В Кронштадте председателем Совета избран большевик Брекман, а городским головой большевик Покровский. Далеко не везде столь ярко, кое-где отставая, большевизм растет, в течение августа, на протяжении почти всей страны.

Восстание Корнилова дает радикализации масс могущественный толчок. Слуцкий напомнил по этому поводу слова Маркса: революция нуждается временами в том, чтоб ее подстегнула контр-революция. Опасность пробуждала не только энергию, но и проницательность. Коллективная мысль заработала под высоким напряжением. Недостатка в материале для выводов не было. Коалицию объявляли необходимой для защиты революции, между тем союзник по коалиции оказался на стороне контр-революции. Московское совещание провозглашалось смотром национального единства. Только Центральный комитет большевиков предупреждал: «Совещание . . . неминуемо превратится в орган заговора контр-революции». События принесли проверку. Теперь и Керенский заявлял: «Московское совещание . . . это пролог к 27 августа . .. Здесь производится подсчет сил . . . Здесь впервые был представлен России ее будущий диктатор Корнилов» . . . Как будто не Керенский был инициатором, организатором и председателем этого Совещания и как будто не он представлял Корнилова, как «первого солдата» революции. Как будто не Временное правительство вооружало Корнилова смертной казнью против солдат и как будто предупреждения большевиков не объявлялись демагогией.

Петроградский гарнизон вспоминал, далее, что за два дня до восстания Корнилова большевики выразили на заседании солдатской секции подозрение, не выводятся ли передовые полки из столицы с контр-революционными целями? На это представители меньшевиков и эсеров отвечали грозным требованием: не входить в обсуждение боевых приказов генерала Корнилова. В этом духе проведена была резолюция. «Большевики, видно, слов на ветер не бросают!» вот

что должен был теперь сказать себе беспартийный рабочий или солдат.

Если генералы-заговорщики, по запоздалому обвинению самих соглашателей, были повинны не только в сдаче Риги, но и в июльском прорыве, за что же травили большевиков и расстреливали солдат? Если военные провокаторы пытались вызвать на улицы рабочих и солдат 27 августа, не сыграли ли они своей роли и в кровавых столкновениях 4-го июля? Каково, далее, место Керенского во всей этой истории? Против кого он вызывал третий конный корпус? Почему он назначил Савинкова генерал-губернатором, а Филоненко — помощником? И кто такой Филоненко, кандидат в директорию? Неожиданно раздается ответ броневого дивизиона: Филоненко, служивший у них поручиком, подвергал солдат худшим унижениям и издевательствам. Откуда взялся темный делец Завойко? Что вообще означает этот подбор проходимцев на самой верхушке?

Факты были просты, ясны, в памяти у многих, доступны всем, неотразимы и убийственны. Эшелоны дикой дивизии, развороченные рельсы, взаимообвинения Зимнего дворца и Ставки, показания Савинкова и Керенского говорили сами за себя. Какой неопровержимый обвинительный акт против соглашателей и их режима! Смысл травли большевиков стал окончательно ясен: она входила необходимым элементом в подготовку государственного переворота.

Прозревшими рабочими и солдатами овладевало острое чувство стыда за себя. Значит, Ленин скрывается только потому, что его подло оклеветали? Значит, другие содержатся в тюрьме в угоду кадетам, генералам, банкирам, дипломатам Антанты? Значит, большевики не гонятся за местечками, и их ненавидят наверху именно за то, что они не хотят примкнуть к акционерному товариществу, которое называется коалицией! Вот что поняли труженики, простые люди, угнетенные. И из этих настроений, вместе с чувством

вины перед большевиками, выросли несокрушимая преданность партии и доверие к ее вождям.

До самых последних дней старые солдаты, кадровые элементы армии, артиллеристы, унтер-офицерский состав крепились изо всех сил. Они не хотели ставить крест на своих боевых трудах, подвигах, жертвах: неужели все это было растрачено без смысла? Но когда последняя опора оказалась выбита у них из-под ног, они круто — налево кругом! — повернулись лицом к большевикам. Теперь они полностью вошли в революцию, со своими унтер-офицерскими нашивками, со своим закалом старых солдат и с крепко стиснутыми челюстями: они просчитались на войне, зато на этот раз они доведут работу до конца.

В донесениях местных властей, военных и гражданских, большевизм становится тем временем синонимом всякого вообще массового действия, решительного требования, отпора эксплоатации, продвижения вперед, словом, другим именем революции. Значит, это и есть большевизм? говорят себе стачечники, протестующие матросы, недовольные солдатские жены, бунтующие мужики. Массы как бы вынуждались сверху отождествлять свои задушевные мысли и требования с лозунгами большевизма. Так революция обращала себе на службу оружие, направленное против нее. В истории не только разумное становится бессмысленным, но, когда это нужно по ходу развития, и бессмысленное становится разумным.

Перемена политической атмосферы очень наглядно обнаружилась в объединенном заседании Исполнительных комитетов, 30 августа, когда делегаты Кронштадта потребовали предоставить им место в этом высоком учреждении. Мыслимо ли? Здесь, где необузданные кронштадтцы подвергались лишь осуждениям и отлучениям, будут отныне заседать их представители? Но как отказать? Вчера только прибыли на защиту Петрограда кронштадские моряки и солдаты. Матросы «Авроры» несут караулы Зимнего дворца. Пошушукавшись между собою, вожди предложили кронштадт-

цам четыре места с совещательным голосом. Уступка была принята сухо, без излияний признательности.

«После выступления Корнилова — рассказывает Чиненов, солдат московского гарнизона — уже все части приобрели большевистскую окраску . . . Все были поражены, как сбылись слова (большевиков)..., что генерал Корнилов скоро будет у стен Петрограда». Митревич, солдат броневого дивизиона, вспоминает о тех героических легендах, которые переходили из уст в уста после победы над восставшими генералами: «Только и рассказов было, что о храбрости и подвигах, и что вот, еслибы такая храбрость, то можно было бы драться со всем светом. Тут ожили большевики».

Выпущенный из тюрьмы в дни корниловского похода Антонов-Овсеенко сразу выехал в Гельсингфорс. «Громадный перелом совершился в массах». На Областном финляндском съезде советов правые эсеры оказались в ничтожном числе, руководили большевики в коалиции с левыми эсерами. Председателем Областного комитета советов избран был Смилга, состоявший, несмотря на крайнюю молодость, членом Центрального комитета большевиков, сильно тянувший влево и уже в апрельские дни обнаруживший склонность тряхнуть Временным правительством. Председателем гельсингфорсского Совета, опиравшегося на гарнизон и русских рабочих, выбран был большевик Шейнман, будущий директор советского Государственного банка, человек осторожного и бюрократического склада, но шедший в то время в ногу с другими руководителями. Временное правительство запретило финляндцам созывать сейм, распущенный им. Областной комитет предложил сейму собраться, взяв на себя его охрану. Приказы Временного правительства о вызове различных воинских частей из Финляндии Комитет отказался выполнять. На деле большевики установили диктатуру советов в Финляндии.

В начале сентября большевистская газета пишет: «Из целого ряда российских городов приходят изве-

стия о том, что организации нашей партии за последний период сильно возросли. Но что имеет еще большую важность, так это рост нашего влияния в самых широких демократических массах рабочих и солдат». «Даже в тех предприятиях, где вначале нас не хотели слушать, — пишет екатеринославский большевик Аверин, — в дни корниловщины рабочие были на нашей стороне». «Когда пошли слухи о том, что Каледин мобилизует казаков против Царицына и Саратова, — пишет Антонов, один из руководящих саратовских большевиков, — когда эти слухи подтвердились и подкрепились восстанием генерала Корнилова, масса в несколько дней изжила свои прежние предрассудки».

Киевская большевистская газета сообщает 19 сентября: «При перевыборах представителей в совет от арсенала избраны 12 товарищей — все большевики. Все кандидаты-меньшевики были провалены; то же происходит и в целом ряде других заводов». Подобные сообщения встречаются отныне ежедневно на страницах рабочей печати; враждебные газеты тщетно пытаются замолчать или преуменьшить рост большевизма. Воспрянувшие массы как бы стремятся наверстать время, упущенное вследствие прошлых колебаний, заминок и временных отступлений. Идет общий, упорный, неудержимый прибой.

Член ЦК большевиков, Варвара Яковлева, от которой мы слышали в июле-августе о крайнем ослаблении большевиков во всей московской области, свидетельствует теперь о резком повороте. «Во второй половине сентября — докладывает она конференции — работники Областного бюро объезжали область... Впечатления их были совершенно тождественны: всюду, во всех губерниях, происходил процесс поголовной большевизации масс. И все отмечали также, что деревня требовала большевика» . . . В тех местах, где после июльских дней организации партии распались, они ныне вновь возродились и быстро растут. В районах, куда не пускали большевиков, теперь самопроизвольно возникают большевистские ячейки. Даже в отсталых

Тамбовской и Рязанской губерниях, в этих твердынях эсеров и меньшевиков, куда большевики во время прежних объездов, за полной безнадежностью, редко заглядывали, совершается теперь настоящий переворот: влияние большевиков крепнет с каждым днем, соглашательские организации разваливаются.

Доклады делегатов на большевистской конференции Московской области, через месяц после корниловского восстания, за месяц до восстания большевиков, дышат уверенностью и подъемом. В Нижнем-Новгороде после двух месяцев упадка партия снова зажила полной жизнью. Рабочие эсеры сотнями переходят в ряды большевиков. В Твери широкая партийная работа развернулась только после корниловских дней. Соглашатели проваливаются, их не слушают, их гонят. Во Владимирской губернии большевики настолько укрепились, что на губернском съезде советов меньшевиков отыскалось всего 5 человек, эсеров — 3 человека. В Иваново-Вознесенске, русском Манчестере, на большевиков, как на полновластных хозяев, свалилась вся работа в советах, думе и земстве.

Растут организации партии, но неизмеримо быстрее растет ее притягательная сила. Несоответствие между техническими рессурсами большевиков и их политическим удельным весом находит свое выражение в малом сравнительно числе членов партии при грандиозном росте ее влияния. События так быстро и властно захватывают массы в свой водоворот, что рабочим и солдатам некогда организоваться в партию. Им не хватает времени даже на то, чтобы понять необходимость особой партийной организации. Они впитывают в себя большевистские лозунги так же естественно, как вдыхают воздух. Что партия есть сложная лаборатория, где эти лозунги вырабатываются коллективным опытом, им еще неясно. За советами стоит свыше 20 миллионов душ. Партия, даже накануне октябрьского переворота насчитывавшая в своих рядах не более 240 тысяч, через профсоюзы, завкомы, советы все более уверенно ведет за собой миллионы.

В потрясенной до дна необъятной стране, с неисчерпаемым разнообразием местных условий и политических уровней, происходят повседневно какие-нибудь выборы: в думы, земства, советы, завкомы, профсоюзы, воинские или земельные комитеты. И через все эти выборы красной нитью проходит один неизменный факт: рост большевиков. Выборы в районные думы Москвы особенно поразили страну резким поворотом настроения масс. «Великая» партия эсеров из 375 тысяч, которые она собрала в июне, удержала к концу сентября только 54 тысячи. Меньшевики с 76 тысяч упали до 16. Кадеты сохранили 101 тысячу, потеряв всего около 8 тысяч. Зато большевики с 75 тысяч поднялись до 198. Если в июне эсеры собрали около 58% голосов, то в сентябре большевики объединили вокруг себя около 52%. Гарнизон на 90% голосовал за большевиков, в некоторых частях — более чем на 95 процентов: в мастерских тяжелой артиллерии из 2347 голосов большевики получили 2286. Значительный абсентеизм избирателей приходился главным образом на тот мелкий городской люд, который в чаду первых иллюзий примкнул к соглашателям, чтоб вскоре снова вернуться в небытие. Меньшевики растаяли совершенно. Эсеры собрали в два раза меньше голосов, чем кадеты. Кадеты — в два раза меньше, чем большевики. Сентябрьские голоса большевиков были завоеваны в жесточайшей борьбе со всеми другими партиями. Это были крепкие голоса. На них можно было положиться. Вымывание промежуточных групп, значительная устойчивость буржуазного лагеря и гигантский рост наиболее ненавидимой и преследуемой пролетарской партии — все это были безошибочные симптомы революционного кризиса. «Да, большевики работали усердно и неустанно,—пишет Суханов, сам принадлежавший к разбитой партии меньшевиков. — Они были в массах, у станков, повседневно, постоянно . . . Они стали своими, потому что всегда были тут, — руководя и в мелочах и в важном всей жизнью завода и казармы . . . Масса

жила и дышала вместе с большевиками. Она была в руках партии Ленина и Троцкого».

Политическая карта фронта отличалась наибольшей пестротой. Были полки и дивизии, которые никогда еще не слышали и не видели большевика; многие из них искренне удивлялись, когда их самих обвиняли в большевизме. С другой стороны, встречались части, которые принимали собственные анархические настроения с налетом черносотенства за чистейший большевизм. Настроения фронта выравнивались в одну сторону. Но в грандиозном политическом потоке, руслом которому служили окопы, попадались нередко встречные течения, водовороты и немало мути.

В сентябре большевики прорвали кордон и получили доступ к фронту, от которого оставались не на шутку отрезаны в течение двух месяцев. Запрет официально не снимался и теперь. Соглашательские комитеты делали все, чтоб помешать проникновению большевиков в свои части; но все усилия оставались тщетны. Солдаты столько наслышались про свой собственный большевизм, что все без исключения жаждали повидать и послушать живого большевика. Формальные препятствия, оттяжки и проволочки, измышлявшиеся комитетчиками, смывались напором солдат, как только до них доходила весть о приехавшем большевике. Старая революционерка Евгения Бош, ведшая большую работу на Украине, оставила яркие воспоминания о своих смелых экскурсиях в первобытную солдатскую чащу. Тревожные предостережения искренних и фальшивых друзей оказывались каждый раз опровергнуты. В дивизии, которую характеризовали, как ожесточенно-враждебную большевикам, оратор, очень осторожно подходивший к своей теме, скоро убеждался, что слушатели с ним. «Ни харканья, ни кашля, ни сморканья, первых признаков утомления солдатской аудиторіи, — полная тишина и порядок». Собрание закончилось бурным апофеозом в честь смелого агитатора. Вся вообще поездка Евгении Бош по тылам фронта была своего рода триумфальным шествием. Менее героически, ме-

нее эффектно, но однородно по существу шло дело и у агитаторов меньшего калибра.

Новые или по новому убедительные идеи, лозунги, обобщения врывались в застоявшуюся жизнь окопов. Миллионы солдатских голов перемалывали события, подводя итоги политическому опыту. «...Дорогие товарищи рабочие и солдаты, — пишет фронтовик в редакцию газеты, — не дайте воли этой злой букве К, которая предала весь мир кровавой бойне. Это первый убивец Колька (Николай II), Керенский, Корнилов, Каледин, кадеты и все на одну букву К. Казаки тоже опасные для нас люди... Сидор Николаев». Не надо тут искать суеверия: это лишь прием политической мнемоники.

Восстание, вышедшее из Ставки, не могло не потрясти каждый солдатский фибр. Внешняя дисциплина, на восстановление которой потрачено было столько усилий и жертв, снова поползла по всем швам. Военный комиссар Западного фронта Жданов докладывает: «Настроение в общем нервное..., подозрительное к офицерам, выжидательное; неисполнение приказов объяснялось тем, что им отдают корниловские приказы, которые исполнять не надо». В том же духе пишет Станкевич, сменивший Филоненко на посту Верховного комиссара: «Солдатская масса... почувствовала себя со всех сторон окруженной изменой... Тот, кто разубеждал ее в этом, — казался ей тоже предателем».

Для кадрового офицерства крушение корниловской авантюры означало крушение последних надежд. Самочувствие командного состава и до этого не было блестящим. Мы наблюдали в конце августа военных заговорщиков в Петрограде, пьяных, хвастливых, безвольных. Теперь офицерство окончательно почувствовало себя отверженным и обреченным. «Эта ненависть, эта травля — пишет один из них, — полное безделие и вечное ожидание ареста и позорной смерти гнало офицеров в рестораны, в кабинеты, в гостиницы... В этом пьяном угаре потонули офицеры». В противовес этому солдаты и матросы жили более трезво, чем ког-

да бы то ни было: они были охвачены новой надеждой.

Большевики, по словам Станкевича, «подняли головы и почувствовали себя полными хозяевами в армии... Низшие комитеты стали превращаться в большевистские ячейки. Всякие выборы в армии давали изумительный прирост большевистских голосов. При этом нельзя не отметить, что лучшая, наиболее подтянутая армия не только на Северном фронте, но, быть может, на всем руском фронте, 5-ая, первая дала большевистский армейский комитет».

Еще ярче, отчетливее, красочнее большевизировался флот. Балтийцы подняли 8-го сентября на всех судах боевые флаги, как выражение своей готовности бороться за переход власти в руки пролетариата и крестьянства. Флот требовал немедленного перемирия на всех фронтах, передачи земли в распоряжение крестьянских комитетов и установления рабочего контроля над производством. Через три дня Центральный комитет Черноморского флота, более отсталого и умеренного, поддержал балтийцев, выдвинув лозунг передачи власти советам. За тот же лозунг в середине сентября поднимают свой голос 23 пехотных сибирских и латышских полка XII армии. За ними следуют все новые части. Требование власти советов не сходит больше с порядка дня армии и флота.

«Матросские собрания, рассказывает Станкевич, состояли на девять десятых из одних большевиков». Новому комиссару при Ставке довелось защищать в Ревеле перед моряками Временное правительство. С первых же слов он почувствовал всю тщету своих попыток. При одном слове «правительство» зал враждебно смыкался: «волны негодования, ненависти и недоверия сразу захватывали всю толпу. Это было ярко, сильно, страстно, непреодолимо и сливалось в единодушный вопль: «*Долой!*» Нельзя не отдать справедливости повествователю, который не забывает отметить красоту напора смертельно враждебных ему масс.

Вопрос мира, загнанный на два месяца в подполье,

выступает теперь на поверхность с удесятеренной силой. На заседании петербургского Совета прибывший с фронта офицер Дубасов заявил: «Что бы вы здесь ни говорили, солдаты больше воевать не будут». Послышались возгласы: «Этого не говорят и большевики!» . . . Но офицер, не большевик, отпарировал: «Я передаю то, что я знаю, и что передать вам мне поручили солдаты». Другой фронтовик, угрюмый солдат, в шинели, пропитанной грязью и вонью окопов, заявил в те же сентябрьские дни петроградскому Совету, что солдатам нужен мир, какой угодно, хоть бы «какой-нибудь пахабный». Эти терпкие солдатские слова обдали Совет оторопью. Вот как далеко, значит, зашло дело! Солдаты на фронте не были малыми ребятами. Они отлично понимали, что, при наличной «карте войны», мир может быть только насильническим. И для этого своего понимания окопный делегат нарочно выбрал самое грубое слово, выражавшее всю силу его отвращения к гогенцоллернскому миру. Но именно этой обнаженностью оценки солдат заставил своих слушателей понять, что другого пути нет, что война вымотала у армии душу, что мир необходим немедленно и во что бы то ни стало. Слова окопного оратора со злорадством подхватила буржуазная печать, приписав их большевикам. Фраза о пахабном мире не сходила отныне с порядка дня, как крайнее выражение одичалости и развращенности народа!

* * *

По общему правилу, соглашатели отнюдь не склонны были, подобно политическому дилетанту Станкевичу, любоваться великолепием прибоя, грозившего смыть их с революционной арены. С изумлением и ужасом убеждались они каждый день, что не обладают никакой силой сопротивления. В сущности, под доверием масс к соглашателям с первых часов революции скрывалось недоразумение, исторически неизбежное, но недолговечное: на раскрытие его понадобилось всего

несколько месяцев. Соглашатели вынуждены были разговаривать с рабочими и солдатами совсем другим языком, чем в Исполнительном комитете и особенно в Зимнем дворце. Ответственные вожди эсеров и меньшевиков с каждой неделей все меньше отваживались выходить на открытую площадь. Агитаторы второго и третьего ряда приспособлялись к социальному радикализму народа при помощи двусмысленных оборотов или же искренне заражались настроениями заводов, шахт и казарм, говорили их языком и отрывались от собственных партий.

Матрос Ховрин показывает в своих воспоминаниях, как моряки, причислявшие себя к эсерам, на деле боролись за большевистскую платформу. Это наблюдалось везде и всюду. Народ знал, чего хочет, но не знал, как назвать это по имени. «Недоразумение», внутренне присущее Февральской революции, имело массовый, общенародный характер, особенно в деревне, где оно длилось дольше, чем в городе. Внести порядок в хаос мог только опыт. События, большие и малые, неутомимо перетряхивали массовые партии, приводя их состав в соответствие с их политикой, а не с вывеской.

Замечательный образец qui pro quo между соглашателями и массами представляет клятва, которую в начале июля дали 2000 донецких горняков, коленопреклонных и с непокрытыми головами, в присутствии пятитысячной толпы и с ее участием. «Мы клянемся своими детьми, богом, небом и землею и всем святым, что есть для нас на земле, что мы никогда не упустим добытую 28 февраля 1917 года кровью свободу; веря в эсеров и меньшевиков, клянемся никогда не слушать ленинцев, потому что они, большевики-ленинцы, ведут своей агитацией Россию к гибели, тогда как эсеры и меньшевики совместно, в одном союзе, говорят: земля народу, земля без выкупа, капиталистический строй после войны должен рухнуть, а вместо капитализма должен быть строй социалистический... Мы даем клятву следовать вперед за этими партиями, не останавливаясь перед смертью». Направленная против

большевиков, клятва горнорабочих вела в действительности прямо к большевистскому перевороту. Февральская оболочка и октябрьское ядро выступают в этой наивной и пламенной хартии с такой наглядностью, что исчерпывают по своему проблему перманентной революции.

В сентябре донецкие горняки, не изменяя ни себе, ни своей клятве, уже повернулись к соглашателям спиною. То же самое проделали и самые отсталые отряды уральских горняков. Член Исполнительного комитета эсер Ожегов, представитель Урала, посетил в начале августа свой Ижевский завод. «Я был страшно поражен — пишет он в своем горестном отчете — резкими изменениями, какие произошли в мое отсутствие: та организация партии социалистов-революционеров, которая как по численности (8 000 человек), так и по деятельности своей была известна всей Уральской области..., разложена и обессилена до 500 человек, по милости безответственных агитаторов».

Доклад Ожегова не принес Исполнительному комитету ничего неожиданного: та же картина наблюдалась и в Петрограде. Если после июльского разгрома эсеры на заводах временно воспрянули и даже кой-где расширили свое влияние, то тем неудержимее стал их дальнейший закат. «Правда, правительство Керенского тогда победило, — писал позже эсер В. Зензинов, — демонстранты-большевики были рассеяны, и главари большевиков арестованы, но это была Пиррова победа». Совершенно правильно: как и эпирский царь, соглашатели одержали победу ценою своей армии. «Если раньше, до 3-5 июля, — пишет петроградский рабочий Скоринко, — меньшевики и эсеры могли появляться кое-где к рабочим, не рискуя быть освистанными, то сейчас такой гарантии у них не было»... Гарантий у них уже вообще не оставалось.

Партия эсеров не только теряла свое влияние, но и меняла свой социальный состав. Революционные рабочие либо уже успели перейти к большевикам, либо, на отлете, переживали внутренний кризис. Наоборот,

укрывавшиеся на заводах во время войны сыновья лавочников, кулаков и мелких чиновников успели убедиться, что их место как раз в эсеровской партии. Но в сентябре и они уже не решались больше именоваться эсерами, по крайней мере в Петрограде. Партию покидали рабочие, солдаты, в некоторых губерниях уже и крестьяне, в ней оставались консервативные чиновничьи и мещанские слои.

Когда пробужденные переворотом массы отдавали свое доверие эсерам и меньшевикам, обе партии не уставали славить высокую сознательность народа. Когда те же массы, пройдя через школу событий, стали резко поворачиваться в сторону большевиков, ответственность за свое крушение соглашатели возложили на темноту народа. Но массы не соглашались считать, что стали темнее, наоборот, им казалось, что они теперь понимают то, чего не понимали раньше.

Линяя и слабея, эсеровская партия раскалывалась к тому же по социальным швам, причем члены ее отбрасывались во враждующие лагери. В полках, в деревнях оставались те эсеры, которые, заодно с большевиками и обычно под их руководством, оборонялись от ударов, наносимых правительственными эсерами. Обострение борьбы флангов вызвало к жизни промежуточную группировку. Под руководством Чернова она пыталась спасти единство между преследователями и преследуемыми, путалась, попадала в безвыходные, нередко смехотворные противоречия и еще более компрометировала партию. Чтоб открыть себе возможность выступления перед массовой аудиторией, ораторам-эсерам приходилось настойчиво рекомендоваться «левыми», интернационалистами, не имеющими ничего общего с кликой «мартовских эсеров». После июльских дней левые эсеры перешли в открытую оппозицию, не порывая еще формально с партией, но перенимая с запозданием аргументы и лозунги большевиков. 21 сентября Троцкий, не без задней педагогической мысли, заявил на заседании петроградского Совета, что большевикам становится «все легче и легче столковываться

с левыми эсерами». В конце концов они отделились в виде самостоятельной партии, чтобы вписать в книгу революции одну из самых причудливых ее страниц. Это была последняя вспышка самодовлеющего интеллигентского радикализма, и от нее через несколько месяцев после Октября осталась лишь небольшая куча пепла.

Дифференциация глубоко захватила также и меньшевиков. Их петроградская организация находилась в резкой оппозиции к Центральному комитету. Основное ядро, руководимое Церетели, не имея крестьянских резервов, как эсеры, таяло еще быстрее последних. Промежуточные социал-демократические группы, не примыкавшие к двум главным лагерям, все еще покушались объединить большевиков с меньшевиками: они донашивали иллюзии марта, когда даже Сталин считал желательным объединение с Церетели и надеялся, что «внутри партии мы будем изживать мелкие разногласия». В двадцатых числах августа состоялось объединение меньшевиков с самими объединителями. Значительный перевес на объединительным съезде выпал на долю правого крыла, и резолюция Церетели за войну и коалицию с буржуазией прошла 117 голосами против 79. Победа Церетели в партии ускоряла поражение партии в рабочем классе. Петроградская организация рабочих-меньшевиков, крайне немногочисленная, шла за Мартовым, толкая его вперед, раздражаясь его нерешительностью и готовясь перейти к большевикам. К середине сентября Васильеостровская организация чуть не полностью вступила в большевистскую партию. Это ускорило брожение в других районах и в провинции. Вожди разных течений меньшевизма на совместных заседаниях яростно обвиняли друг друга в крушении партии. Газета Горького, примыкавшая к левому флангу меньшевиков, сообщала в конце сентября, что петроградская организация партии, еще недавно насчитывавшая около 10 тысяч членов, «перестала фактически существовать... Послед-

няя общегородская конференция не могла собраться из-за отсутствия кворума».

Плеханов нападал на меньшевиков справа: «Церетели и его друзья, сами того не желая и не сознавая, прокладывали путь для Ленина». Политическое состояние самого Церетели в дни сентябрьского прибоя ярко запечатлено в воспоминаниях кадета Набокова: «Самой характерной чертой его тогдашнего настроения был страх перед растущей мощью большевизма. Я помню, как он, в беседе со мною глаз на глаз, говорил о возможности захвата власти большевиками. «Конечно, — говорил он, — они продержатся не более двух-трех недель, но подумайте только, какие будут разрушения... Этого надо было избежать во что бы то ни стало». В его голосе звучала неподдельная паническая тревога»... Перед Октябрем Церетели переживал те самые настроения, которые Набокову были хорошо известны уже в дни Февраля.

* * *

Той ареной, где большевики действовали бок-о-бок с эсерами и меньшевиками, хотя и в постоянной с ними борьбе, являлись советы. Изменения в относительной силе советских партий, правда, не сразу, с неизбежными отставаниями и искусственными промедлениями, находили свое выражение в составе советов и в их общественной функции.

Многие провинциальные советы являлись уже до июльских дней органами власти, — в Иваново-Вознесенске, Луганске, Царицыне, Херсоне, Томске, Владивостоке, если не формально, то фактически, если не непрерывно, то эпизодически. Красноярский Совет совершенно самостоятельно ввел карточную систему на предметы личного потребления. Соглашательский Совет в Саратове вынужден был вмешиваться в экономические конфликты, прибегать к аресту предпринимателей, конфисковать трамвай у бельгийцев, вводить рабочий контроль и организовывать производство на брошенных заводах. На Урале, где с 1905 г. преобладаю-

щим политическим влиянием пользовался большевизм, советы часто сами творили над гражданами суд и расправу, создали на некоторых заводах свою милицию, выплачивая ей средства из заводской кассы, организовали рабочий контроль, который запасал для заводов сырье и топливо, следил за сбытом фабрикатов и устанавливал тарифные ставки. В некоторых районах Урала советы отобрали у помещиков земли под общественные запашки. На Симских горных заводах советами организовано было Окружное заводоуправление, подчинившее себе всю администрацию, кассу, бухгалтерию и прием заказов. Этим актом была вчерне проведена национализация Симского горного округа. «Еще в июле месяце — пишет Б. Эльцин, у которого мы заимствуем эти данные, — на уральских заводах не только все было в руках большевиков, но большевики уже давали наглядные уроки разрешения политических, земельных и хозяйственных вопросов». Эти уроки были примитивны, не сведены в систему, не освещены теорией, но они во многом предопределяли будущие пути.

Июльский перелом гораздо непосредственнее ударил по советам, чем по партии или профессиональным союзам, ибо в борьбе тех дней дело прежде всего шло о жизни и смерти советов. Партия и профессиональные союзы сохраняют свое значение и в «мирные» периоды и во время тяжкой реакции: меняются задачи и методы, но не основные функции. Советы же могут держаться только на основе революционной ситуации и исчезают вместе с нею. Объединяя большинство рабочего класса, они ставят его лицом к лицу с задачей, которая возвышается над всеми частными, групповыми и цеховыми нуждами, над программой заплат, поправок и реформ вообще, т. е. с задачей завоевания власти. Лозунг «вся власть советам» казался, однако, разбитым вместе с июльской демонстрацией рабочих и солдат. Поражение, ослабившее большевиков в советах, неизмеримо более ослабило советы в государстве. «Правительство спасения» означало возрождение неза-

висимости бюрократии. Отказ советов от власти означал их принижение перед комиссарами, хирение, увядание.

Упадок значения Центрального исполнительного комитета нашел себе яркое внешнее выражение: правительство предложило соглашателям очистить Таврический дворец, как требующий ремонта для нужд Учредительного собрания. Советам отведено было во второй половине июля здание Смольного института, где воспитывались до тех пор дочери благородного дворянства. Буржуазная пресса писала теперь о передаче советам дома «белых голубиц» таким же почти тоном, как ранее о захвате дворца Кшесинской большевиками. Различные революционные организации, в том числе и профессиональные союзы, занимавшие реквизированные здания, подверглись одновременной атаке по линии жилищного вопроса. Дело шло ни о чем другом, как о вытеснении рабочей революции из захваченных ею в буржуазном обществе слишком просторных квартир. Кадетская печать не знала границ возмущению, правда, запоздалому, по поводу вандальских вторжений народа в права частной и государственной собственности. Но в конце июля раскрыт был, через типографских рабочих, неожиданный факт: партии, группирующиеся вокруг пресловутого Комитета государственной думы, давно уже, оказывается, захватили для своих нужд богатейшую Государственную типографию, экспедицию и ее права на пересылку литературы. Агитационные брошюры кадетской партии не только бесплатно печатались, но и бесплатно рассылались, целыми тоннами, притом вне очереди, по всей стране. Исполнительный комитет, поставленный в необходимость проверить обвинение, оказался вынужден подтвердить его. У кадетской партии нашелся, правда, новый повод для негодования: разве можно, в самом деле, хоть на минуту ставить на одну доску захваты государственных зданий с разрушительными целями и использование государственного имущества в целях защиты высших ценностей? Словом, если эти господа и

обкрадывали слегка государство, то в его же собственных интересах. Но этот довод не всем казался убедительным. Строительные рабочие упрямо считали, что имеют больше прав на помещение для своего союза, чем кадеты — на Государственную типографию. Разногласие не было случайным: оно-то и вело ведь ко второй революции. Кадетам пришлось, во всяком случае, слегка прикусить язык.

Один из инструкторов Исполнительного комитета, объезжавший во второй половине августа советы юга России, где большевики были значительно слабее, чем на севере, доносил о своих неутешительных наблюдениях: «Политическое настроение заметно меняется... В верхушках масс нарастает революционное настроение, вызванное сдвигом политики Временного правительства... В массе чувствуется усталость и равнодушие к революции. Замечается сильное охлаждение к советам... Функции советов понемногу сокращаются»... Что массы устали от шатаний демократических посредников, совершенно бесспорно. Но охладевали они не к революции, а к эсерам и меньшевикам. Положение становилось особенно невыносимым в тех местах, где власть, вопреки всем программам, сосредоточивалась в руках соглашательских советов: связанные окончательной капитуляцией Исполнительного комитета перед бюрократией, они не смели больше делать из своей власти употребление и лишь компрометировали советы в глазах масс. Значительная часть повседневной, будничной работы отходила, к тому же, от советов к демократическим муниципалитетам. Еще большая часть — к профессиональным союзам и фабрично-заводским комитетам. Все менее ясным становилось: выживут ли советы? и что ожидает их завтра?

В первые месяцы своего существования советы, далеко опередившие все другие организации, брали на себя задачу строительства профсоюзов, завкомов, клубов и руководства их работой. Но успевшие стать на собственные ноги рабочие организации все больше подпадали под руководство большевиков. «Фабрично-

заводские комитеты... — писал Троцкий в августе — создаются не на летучих митингах. В их состав масса выдвигает тех, которые на месте, в повседневной жизни завода, доказали свою стойкость, деловитость и преданность интересам рабочих. И вот эти заводские комитеты... в подавляющем большинстве состоят из большевиков.» Об опеке над завкомами и профсоюзами со стороны соглашательских советов не могло быть больше и речи, наоборот, здесь открывалось поле ожесточенной борьбы. В тех вопросах, где массы бывали захвачены за живое, советы все менее оказывались способны противостоять профсоюзам и заводским комитетам. Так, московские союзы провели всеобщую стачку против решения Совета. В менее яркой форме подобные конфликты происходили повсеместно, и не советы выходили из них обычно победителями.

Загнанные собственным курсом в тупик, соглашатели оказались вынуждены «придумывать» для советов побочные занятия, переводить их на путь культурничества, в сущности развлекать их. Тщетно: советы были созданы для борьбы за власть; для других задач существовали другие, более приспособленные организации. «Вся работа, катившаяся по меньшевистско-эсеровскому каналу, — пишет саратовский большевик Антонов, — потеряла смысл... На заседании Исполкома мы до неприличия зевали от скуки: мелка и пуста была эсеро-меньшевистская говорильня».

Чахнущие советы все меньше могли служить опорой для своего петроградского центра. Переписка между Смольным и местами приходила в упадк: не о чем писать, нечего предлагать, не осталось ни перспектив, ни задач. Оторванность от масс приняла крайне ощутительную форму финансового кризиса. Соглашательские советы на местах сами оставались без средств и не могли оказывать поддержку своему штабу в Смольном; левые советы демонстративно отказывали в фи-

нансовой помощи Исполнительному комитету, запятнавшему себя соучастием в работе контр-революции.

Процесс увядания советов пересекался, однако, с процессами другого, отчасти противоположного порядка. Пробуждались далекие окраины, отсталые уезды, глухие углы и строили советы, которые на первых порах проявляли революционную свежесть, пока не подпадали под разлагающее влияние центра или под репрессии правительства. Общее число советов быстро росло. К концу августа канцелярия Исполнительного комитета насчитывала до 600 советов, за которыми числилось 23 миллиона избирателей. Официальная советская система поднималась над человеческим океаном, который мощно колыхался и гнал свои волны влево.

Политическое возрождение советов, совпадавшее с их большевизацией, начиналось снизу. В Петрограде первыми подняли голос районы. 21 июля делегация Межрайонного совещания советов предъявила Исполнительному комитету свиток требований: распустить Государственную думу, подтвердить неприкосновенность армейских организаций декретом Правительства, восстановить левую печать, приостановить разоружение рабочих, прекратить массовые аресты, обуздать правую печать, приостановить расформирование полков и смертные казни на фронте. Снижение политических требований по сравнению с июльской демонстрацией совершенно очевидно; но это был лишь первый шаг выздоравливающего. Урезывая лозунги, районы стремились расширить базу. Руководители Исполнительного комитета дипломатично приветствовали «чуткость» районных советов, но свели речь к тому, что все беды проистекают от июльского восстания. Стороны расстались вежливо, но холодно.

На программе районных советов открывается внушительная кампания. «Известия» изо дня в день печатают резолюции советов, профсоюзов, заводов, военных кораблей, воинских частей с требованием роспуска Государственной думы, прекращения репрессий против

большевиков и устранения поблажек контр-революции. На этом основном фоне поднимаются более радикальные голоса. 22 июля Совет московской губернии, значительно обогнав Совет самой Москвы, вынес резолюцию за передачу власти советам. 26 июля Иваново-Вознесенский совет «клеймит презрением» способ борьбы с партией большевиков и посылает привет Ленину, «славному вождю революционного пролетариата».

Перевыборы, происходившие в конце июля и первой половине августа во многих пунктах страны, приводили, по общему правилу, к усилению большевистских фракций в советах. В разгромленном и ославленном на всю Россию Кронштадте новый совет насчитывал 100 большевиков, 75 левых эсеров, 12 меньшевиков-интернационалистов, 7 анархистов, свыше 90 беспартийных, из которых ни один не решался открыто признать свои симпатии к соглашателям. На областном съезде советов Урала, открывшемся 18 августа, большевиков оказалось 86, эсеров — 40, меньшевиков — 23. Предметом особой ненависти буржуазной печати становится Царицын, где не только Совет успел стать большевистским, но и городским головой выбран вождь местных большевиков Минин. Против Царицына, который был бельмом на глазу у донского атамана Каледина, послана Керенским, без всякого серьезного предлога, карательная экспедиция с единственной целью: разорить революционное гнездо. В Петрограде, Москве, во всех промышленных районах за большевистские предложения поднимается каждый раз все больше рук.

Конец августа подверг советы проверке. Под ударом опасности внутренняя перегруппировка произошла очень быстро, повсеместно и с небольшими, сравнительно, трениями. В провинции, как и в Петрограде, на первый план выдвинулись большевики, пасынки официальной советской системы. Но и в составе соглашательских партий «мартовские» социалисты, политики министерских и чиновничьих передних, временно оттеснялись назад более боевыми элементами

подпольного закала. Для новой группировки сил понадобилась новая организационная форма. Нигде руководство революционной обороной не сосредоточивалось в руках исполнительных комитетов: в том виде, в каком их застигло восстание, они мало были пригодны для боевых действий. Везде создавались особые комитеты обороны, революционные комитеты, штабы. Они опирались на советы, отчитывались перед ними, но представляли собою новый подбор элементов и новые методы действия в соответствии с революционным характером задачи.

Московский Совет, как и в дни Государственного совещания, создал боевую шестерку, которая одна имела право распоряжаться вооруженными силами и производить аресты. Открывшийся в конце августа киевский областной съезд предложил местным советам не останавливаться перед смещением ненадежных представителей власти, как военных, так и гражданских, и принять меры к немедленному аресту контрреволюционеров и вооружению рабочих. В Вятке советский комитет присвоил себе исключительные полномочия, вплоть до распоряжения военной силой. В Царицыне вся власть перешла к советскому штабу. В Нижнем-Новгороде революционный комитет установил свои караулы на почте и телеграфе. Красноярский совет сосредоточил в своих руках гражданскую и военную власть.

С теми или другими отклонениями, иногда существенными, эта картина воспроизводилась почти всюду. И это отнюдь не было простым подражанием Петрограду: массовой характер советов придавал чрезвычайную закономерность их внутренней эволюции, вызывая однородную реакцию с их стороны на большие события. В то время, как между двумя частями коалиции прошел фронт гражданской войны, советы действительно собрали вокруг себя все живые силы нации. Ударившись об эту стену, генеральское наступление рассыпалось прахом. Более показательного урока нельзя было и требовать. «Несмотря на все усилия

власти оттеснить и обессилить советы, — гласила по этому поводу декларация большевиков, — советы обнаружили всю несокрушимость... мощи и инициативы народных масс в период подавления корниловского мятежа... После этого нового испытания, которого ничто более не вытравит из сознания рабочих, солдат и крестьян, клич, поднятый в самом начале революции нашей партией, — «вся власть советам» — стал голосом всей революционной страны».

Городские думы, пытавшиеся соперничать с советами, в дни опасности померкли и стушевались. Петроградская дума смиренно посылала делегацию в Совет «для выяснения общего положения и установления контакта». Казалось бы, что советы, избранные частью городского населения, должны иметь меньше влияния и силы, чем думы, избранные всем населением. Но диалектика революционного процесса показала, что в известных исторических условиях часть неизмеримо больше целого. Как и в Правительстве, соглашатели в Думе шли в блоке с кадетами против большевиков, и этот блок парализовал Думу, как и Правительство. Наоборот, Совет оказался естественной формой оборонительного сотрудничества соглашателей с большевиками против наступления буржуазии.

После корниловских дней открылась для советов новая глава. Хотя у соглашателей все еще оставалось немало гнилых местечек, особенно в гарнизоне, но петроградский Совет обнаружил столь резкий большевистский крен, что удивил оба лагеря: и правый и левый. В ночь на 1-ое сентября, под председательством все того же Чхеидзе, Совет проголосовал за власть рабочих и крестьян. Рядовые члены соглашательских фракций почти сплошь поддержали резолюцию большевиков. Конкурирующее предложение Церетели собрало полтора десятка голосов. Соглашательский президиум не верил своим глазам. Справа потребовали поименного голосования, которое затянулось до трех часов ночи. Чтоб не голосовать открыто против своих партий, многие делегаты ушли. И все же, несмотря на все сред-

ства давления, резолюция большевиков получила, при окончательном голосовании, 279 голосов против 115. Это был большой факт. Это было начало конца. Оглушенный президиум заявил о сложении полномочий.

2 сентября на объединенном заседании русских советских органов в Финляндии принята была, 700 голосами против 13 при 36 воздержавшихся, резолюция за власть советов. 5-го московский Совет пошел по пути петроградского: 355 голосами против 254 он не только выразил недоверие Временному правительству, как орудию контр-революции, но и осудил коалиционную политику Исполнительного комитета. Возглавляемый Хинчуком президиум заявил, что выходит в отставку. Открывшийся 5 сентября в Красноярске съезд советов Средней Сибири весь прошел под знаменем большевизма. 8-го резолюция большевиков принята в киевском совете рабочих депутатов большинством 130 голосов против 66, несмотря на то, что в официальной большевистской фракции числилось только 95 членов. На открывшемся 10-го Съезде советов Финляндии 150 тысяч матросов, солдат и русских рабочих были представлены 69 большевиками, 48 левыми эсерами и несколькими беспартийными. Совет крестьянских депутатов петроградской губернии выбрал делегатом на Демократическое совещание большевика Сергеева. Еще раз обнаружилось, что в тех случаях, где партии удается, через рабочих или солдат, связаться с деревней непосредственно, крестьянство охотно становится под ее знамя.

Господство большевистской партии в петроградском Совете драматически закрепилось в историческом заседании 9 сентября. Все фракции усиленно созывали своих членов: «дело идет о судьбе Совета». Собралось около тысячи рабочих и солдатских депутатов. Было ли голосование 1-го сентября простым эпизодом, порожденным случайным составом собрания, или же оно знаменует полную перемену политики Совета? — так был поставлен вопрос. Опасаясь не со-

брать большинства против президиума, в который входили все соглашательские вожди: Чхеидзе, Церетели, Чернов, Гоц, Дан, Скобелев, большевистская фракция предложила выбрать президиум на началах пропорциональности: это предложение, смазывавшее до некоторой степени принципиальную остроту столкновения и вызвавшее поэтому резкое осуждение со стороны Ленина, имело то тактическое преимущество, что обеспечивало поддержку колеблющихся элементов. Но Церетели отверг компромисс. Президиум хочет знать, действительно ли Совет переменил направление: «проводить тактику большевиков мы не можем». Проект резолюции, предложенной справа, гласил, что голосование 1-го сентября не соответствует политической линии Совета, который по прежнему доверяет своему президиуму. Большевикам не оставалось ничего другого, как принять вызов, и они это сделали с полной готовностью. Троцкий, впервые появившийся в Совете после освобождения из тюрьмы и горячо встреченный значительной частью собрания (обе стороны мысленно взвешивали аплодисменты: большинство или не большинство?), потребовал перед голосованием разъяснения: входит ли по прежнему в президиум Керенский? Дав после минутного колебания утвердительный ответ, президиум, и без того отягощенный грехами, сам привесил к своим ногам тяжелое ядро. Противнику этого только и нужно было. «Мы были глубоко убеждены, — заявил Троцкий, — ... что Керенский в составе президиума состоять не может. Мы заблуждались. Сейчас между Даном и Чхеидзе сидит призрак Керенского ... Когда вам предлагают одобрить политическую линию президиума, не забывайте, что вам предлагают тем самым одобрить политику Керенского». Заседание проходило при предельном напряжении. Порядок поддерживался стремлением всех и каждого не довести до взрыва. Все хотели скорее подсчитать друзей и противников. Все понимали, что решается вопрос о власти, о войне, о судьбе револю-

ции. Решено голосовать путем выхода в двери. Выходить предложили тем, кто принимает отставку президиума: меньшинству легче выходить, чем большинству. Во всех концах зала идет страстная агитация, но в полголоса. Старый президиум или новый, коалиция или советская власть? К дверям потянулось много народу, слишком много, на взгляд президиума. Вожди большевиков считали, с своей стороны, что им не хватит около сотни голосов для большинства: «и то будет прекрасно», утешали они себя заранее. Рабочие и солдаты тянутся и тянутся к дверям. Сдержанный гул голосов, короткие вспышки споров. С одной стороны прорывается голос: «корниловцы», с другой: «июльские герои». Процедура длится около часа. Колеблются чаши невидимых весов. Президиум в едва сдерживаемом волнении остается все время на эстраде. Наконец, подсчитан и возвещен результат: за президиум и коалицию — 414 голосов, против — 519, воздержалось — 67! Новое большинство бурно, восторженно, неистово рукоплещет. Оно имеет на это право: победа оплачена не дешево. Добрая часть дороги осталась позади.

Не успев оправиться от удара, низложенные вожди с вытянутыми лицами сходят с эстрады. Церетели не может воздержаться от грозного пророчества. — «Мы сходим с этой трибуны, — кричит он, полуобернувшись на ходу, — в сознании, что мы полгода держали высоко и достойно знамя революции. Теперь это знамя перешло в ваши руки. Мы можем только выразить пожелание, чтобы вы так же продержали его хотя бы половину этого срока!» Церетели жестоко ошибся насчет сроков, как и насчет всего остального.

Петроградский Совет, родоначальник всех других советов, стал отныне под руководство большевиков, вчера еще «ничтожной кучки демагогов». Троцкий напомнил с трибуны президиума, что с большевиков не снято еще обвинение в службе немецкому штабу. «Пусть Милюковы и Гучковы день за днем расскажут

о своей жизни. Они этого не сделают, а мы каждый день готовы дать отчет в своих действиях, нам нечего скрывать от русского народа»... Петроградский Совет в особом постановлении «заклеймил презрением авторов, распространителей и пособников клеветы».

Большевики вступали в права наследства. Оно оказалось и грандиозным и чрезвычайно скудным. Центральный исполнительный комитет заблаговременно отнял у петроградского Совета обе созданные им газеты, все отделы управления, все денежные и технические средства, включая пишущие машинки и чернильницы. Многочисленные автомобили, поступившие с февральских дней в распоряжение Совета, оказались все до одного переведены в распоряжение соглашательского Олимпа. У новых руководителей не было ни кассы, ни газеты, ни канцелярского аппарата, ни средств передвиженья, ни ручек, ни карандашей. Ничего, кроме голых стен и — пламенного доверия рабочих и солдат. Этого оказалось вполне достаточно.

После коренного перелома в политике Совета ряды соглашателей стали таять еще быстрее. 11 сентября, когда Дан защищал перед петроградским Советом коалицию, а Троцкий выступал за власть советов, коалиция была отвергнута всеми голосами против 10, при 7 воздержавшихся! В этот же день московский Совет единогласно осудил репрессии по отношению к большевикам. Соглашатели вскоре увидели себя отброшенными на узенький сектор справа, подобный тому, какой большевики занимали в начале революции слева. Но какая разница! Большевики всегда были сильнее в массах, чем в советах. Соглашатели, наоборот, все еще сохраняли в советах больше места, чем в массах. У большевиков в период их слабости было будущее. У соглашателей оставалось только прошлое, которым у них не было основания гордиться.

Вместе с изменением курса петроградский Совет изменил и свой внешний облик. Соглашательские вожди совсем исчезли с горизонта, окопавшись в

Исполнительном комитете; их заменили в Совете звезды второй и третьей величины. Вместе с Церетели, Черновым, Авксентьевым, Скобелевым перестали показываться друзья и почитатели демократических министров, радикальные офицеры и дамы, полусоциалистические писатели, образованные и именитые люди. Совет стал однороднее, серее, сумрачнее, серьезнее.

БОЛЬШЕВИКИ И СОВЕТЫ

Средства и орудия большевистской агитации представляются, при ближайшем рассмотрении, не только совершенно не соответствующими политическому влиянию большевизма, но прямо-таки поражают своей незначительностью. До июльских дней у партии был 41 печатный орган, считая еженедельники и ежемесячники, с общим тиражом всего-на-всего в 330 тысяч; после июльского разгрома тираж уменьшился вдвое. В конце августа центральный орган партии печатался в количестве 50 тысяч экземпляров. В те дни, когда партия овладевала петроградским и московским советами, наличность кассы Центрального комитета составляла около 30 тысяч бумажных рублей.

Интеллигенция к партии почти совсем не притекала. Широкий слой так называемых «старых большевиков», из числа студентов, приобщившихся к революции 1905 года, превратился в преуспевающих инженеров, врачей, чиновников и бесцеремонно показывал партии враждебные очертания спины. Даже в Петрограде на каждом шагу не хватало журналистов, ораторов, агитаторов. Провинция оставалась совсем обделенной. Нет руководителей, нет политически грамотных людей, которые могли бы разъяснить народу, чего хотят большевики! — такой вопль идет из сотен глухих углов и особенно с фронта. В деревне большевистских ячеек почти нет совсем. Почтовые связи в полном расстройстве: предоставленные самим себе, местные ор-

ганизации подчас не без основания упрекали ЦК в том, что он руководит только Петроградом.

Как же при таком слабом аппарате и ничтожном тираже прессы идеи и лозунги большевизма могли овладеть народом? Разгадка очень проста: лозунги, которые отвечают острой потребности класса и эпохи, создают себе тысячи каналов. Накаленная революционная среда отличается высокой идеепроводностью. Большевистские газеты читались вслух, зачитывались до дыр, важнейшие статьи заучивались, пересказывались, переписывались, а где возможно перепечатывались. «Типография штаба, — рассказывает Пирейко, — сослужила большую службу делу революции: сколько у нас в типографии было перепечатано отдельных статей из «Правды» и мелких брошюр, очень близких и доступных солдатам! И все это быстро отправлялось на фронт при помощи летучей почты, самокатчиков и мотоциклистов»... Одновременно буржуазная печать, бесплатно доставлявшаяся на фронт в миллионах экземпляров, не находила читателя. Тяжелые тюки оставались нераспакованными. Бойкот «патриотической» печати принимал нередко демонстративные формы. Представители 18-й Сибирской дивизии постановили призвать буржуазные партии прекратить присылку литературы, так как она «бесплодно уходит на кипячение котелков с чаем». Совсем иное применение имела большевистская пресса. Оттого коэффициент ее полезного или, если угодно, вредного действия был неизмеримо выше.

Обычное объяснение успехов большевизма сводится к ссылке на «простоту» его лозунгов, шедших навстречу желаниям масс. В этом есть часть правды. Целостность политики большевиков определялась тем, что, в противоположность «демократическим» партиям, они были свободны от невысказанных или полувысказанных заповедей, сводящихся в последнем счете к ограждению частной собственности. Однако, одно это различие не исчерпывает вопроса. Если справа от большевиков стояла «демократия», то слева пытались от-

теснить их то анархисты, то максималисты, то левые эсеры. Однако же, все эти группы не вышли из состояния бессилия. Отличие большевизма состояло в том, что субъективную цель: защиту интересов народных масс, он подчинил законам революции, как объективно обусловленного процесса. Научное вскрытие этих законов, прежде всего тех, которые управляют движением народных масс, составляло основу большевистской стратегии. В своей борьбе трудящиеся руководствуются не только своими потребностями, но и своим жизненным опытом. Большевизму было абсолютно чуждо аристократическое презрение к самостоятельному опыту масс. Наоборот, большевики из него исходили и на нем строили. В этом было одно из их великих преимуществ.

Революции всегда многословны, и от этого закона не ушли и большевики. Но в то время, как агитация меньшевиков и эсеров имела рассеянный, противоречивый, чаще всего уклончивый характер, агитация большевиков отличалась продуманностью и сосредоточенностью. Соглашатели отбалтывались от трудностей, большевики шли им навстречу. Постоянный анализ обстановки, проверка лозунгов на фактах, серьезное отношение к противнику, даже мало серьезному, придавали особую силу и убедительность большевистской агитации.

Печать партии не преувеличивала успехов, не искажала соотношения сил, не пыталась брать криком. Школа Ленина была школой революционного реализма. Данные большевистской печати за 1917 год оказываются, в свете документов эпохи и исторической критики, неизмеримо более правдивыми, чем данные всех остальных газет. Правдивость вытекала из революционной силы большевиков, но в то же время и укрепляла их силу. Отречение от этой традиции стало впоследствии одной из самых злокачественных черт эпигонства.

«Мы не шарлатаны, — говорил Ленин сейчас по приезде, — мы должны базироваться только на со-

знательности масс. Если даже придется остаться в меньшинстве, — пусть... не надо бояться остаться в меньшинстве... Мы ведем работу критики, дабы избавить массы от обмана... Наша линия окажется правильной. К нам придет всякий угнетенный... Иного выхода ему нет». Понятая до конца большевистская политика предстает пред нами, как прямая противоположность демагогии и авантюризма!

Ленин в подполье. Он напряженно следит за газетами, читает, как всегда, между строк и в немногочисленных личных беседах ловит отголоски недодуманных мыслей и невысказанных намерений. В массах отлив. Мартов, защищающий большевиков от клевет, в то же время скорбно иронизирует по адресу партии, которая «ухитрилась» сама себе нанести поражение. Ленин догадывается, — вскоре до него доходят об этом прямые слухи, — что и кое- каким большевикам не чужды ноты покаяния и что впечатлительный Луначарский не одинок. Ленин пишет о хныканье мелких буржуа и о «ренегатстве» тех большевиков, которые проявляют отзывчивость к хныканьям. Большевики в районах и в провинции одобрительно подхватывают эти суровые слова. Они еще крепче убеждаются: «старик» не растеряется, не падет духом, не поддастся случайным настроениям.

Член ЦК большевиков — не Свердлов ли? — пишет в провинцию: «Мы временно без газет... Организация не разбита... Сезд не откладывается». Ленин внимательно, насколько ему позволяет его вынужденная изолированность, следит за подготовкой партийного съезда и намечает его основные решения: дело идет о плане дальнейшего наступления. Съезд заранее назван объединительным, так как на нем предстоит включение в партию некоторых автономных революционных групп, прежде всего петроградской межрайонной организации, к которой принадлежат: Троцкий, Иоффе, Урицкий, Рязанов, Луначарский, Покровский, Мануильский, Карахан, Юренев и некоторые другие революционеры, известные по прошлому или еще только шедшие навстречу известности.

2 июля, как раз накануне демонстрации, происходила конференция межрайонцев, представлявшая около 4000 рабочих. «Большинство — пишет присутствовавший в числе публики Суханов — были неизвестные мне рабочие и солдаты... Работа велась лихорадочно, и ее успехи осязались всеми. Мешало одно: чем вы отличаетесь от большевиков и почему вы не с ними?» Чтоб ускорить объединение, которое пытались оттянуть отдельные руководители организации, Троцкий опубликовал в «Правде» заявление: «Никаких принципиальных или тактических разногласий между межрайонной и большевистской организацией, по моему мнению, не существует в настоящее время. Стало быть, нет таких мотивов, которые оправдывали бы раздельное существование этих организаций».

26 июля открылся Объединительный съезд, по существу VI съезд большевистской партии, который протекал полулегально, укрываясь попеременно в двух рабочих районах. 175 делегатов, в том числе 157 с решающим голосом, представляли 112 организаций, объединявших 176 750 членов. В Петрограде насчитывалось 41 000 членов: 36 000 в большевистской организации, 4000 у межрайонцев, около 1000 в Военной организации. В Центральной промышленной области, с Москвой, как центром, партия имела 42 тысячи членов, на Урале — 25 тысяч, в Донецком бассейне — около 15 тысяч. На Кавказе крупные большевистские организации существовали в Баку, Грозном и Тифлисе: первые две были почти чисто рабочими, в Тифлисе преобладали солдаты.

Личный состав съезда нес в себе дореволюционное прошлое партии. Из 171 делегата, заполнивших анкеты, 110 просидели в тюрьме 245 лет, 10 человек провели 41 год на каторге, 24 оставались на поселении 73 года, всего было в ссылке 55 человек в течение 127 лет; 27 человек оставались в эмиграции в течение 89 лет; 150 человек подвергались аресту 549 раз.

«На этом съезде — вспоминал позже Пятницкий, один из нынешних секретарей Коминтерна — не присутствовали ни Ленин, ни Троцкий, ни Зиновьев, ни Каменев... Хотя вопрос о программе партии был снят с порядка дня, все же съезд прошел без вождей партии деловито и хорошо»... В основу работ были положены тезисы Ленина. Докладчиками выступали Бухарин и Сталин. Доклад Сталина недурно отмеряет расстояние, пройденное самим докладчиком, вместе со всеми кадрами партии, за четыре месяца со времени приезда Ленина. Теоретически неуверенно, но политически решительно Сталин пытается перечислить те черты, которые определяют «глубокий характер социалистической, рабочей революции». Единодушие съезда, по сравнению с апрельской конференцией, сразу бросается в глаза.

По поводу выборов Центрального комитета протокол съезда сообщает: «Оглашаются имена четырех членов ЦК, получивших наибольшее число голосов: Ленин — 133 голоса из 134, Зиновьев — 132, Каменев — 131, Троцкий — 131; кроме них в состав ЦК выбраны: Ногин, Коллонтай, Сталин, Свердлов, Рыков, Бухарин, Артем, Иоффе, Урицкий, Милютин, Ломов». Этот состав ЦК надо заметить: под его руководством будет произведен октябрьский переворот.

Мартов приветствовал съезд письмом, в котором снова выражал «глубокое возмущение против клеветнической кампании», но в основных вопросах останавливался у порога действия. «Не должна быть допущена, — писал он, — подмена задачи завоевания власти большинством революционной демократии задачей завоевания власти в борьбе с этим большинством и против него»... Под большинством революционной демократии Мартов по прежнему понимал официальное советское представительство, терявшее почву под ногами. «Мартова связывает с социал-патриотами не пустая фракционная традиция, — писал Троцкий тогда же, — а глубоко оппортунистическое отношение к со-

циальной революции, как к далекой цели, которая не может определять постановку сегодняшних задач. И это самое отделяет его от нас».

Только небольшая часть левых меньшевиков, во главе с Лариным, окончательно приблизилась в этот период к большевикам. Юренев, будущий советский дипломат, в качестве докладчика на съезде по вопросу об объединении интернационалистов, пришел к выводу, что придется объединиться с «меньшинством меньшинства меньшевиков»... Широкий прилив бывших меньшевиков в партию начался лишь после октябрьского переворота: присоединяясь не к пролетарскому восстанию, а к вышедшей из него власти, меньшевики обнаруживали основное качество оппортунизма: преклонение перед сегодняшней силой. Крайне чутко относившийся к вопросу о составе партии Ленин выдвинул вскоре требование изгнать 99% вступивших в нее после октябрьского переворота меньшевиков. Достигнуть этого ему далеко не удалось. Впоследствии двери перед меньшевиками и эсерами были широко открыты, и бывшие соглашатели стали одной из опор сталинского партийного режима. Но все это относится уже к позднейшему времени.

Свердлов, практический организатор съезда, докладывал: «Троцкий уже до съезда вошел в редакцию нашего органа, но заключение в тюрьме помешало его фактическому участию». Только на июльском съезде Троцкий формально вступил в большевистскую партию. Подведен был итог годам разногласий и фракционной борьбы. Троцкий пришел к Ленину, как к учителю, силу и значение которого он понял позже многих других, но, может быть, полнее их. Раскольников, близко соприкасавшийся с Троцким со времени его прибытия из Канады и затем проведший с ним бок о бок несколько недель в тюрьме, писал в своих воспоминаниях: «С огромным уважением относился Троцкий к Владимиру Ильичу (Ленину). Он ставил его выше всех современников, с которыми ему приходилось встречаться в России и за границей. В

том тоне, которым Троцкий говорил о Ленине, чувствовалась преданность ученика: к тому времени Ленин насчитывал за собой 30-летний стаж служения пролетариату, а Троцкий — 20-летний. Отзвуки былых разногласий довоенного периода совершенно изгладились. Между тактической линией Ленина и Троцкого не существовало различий. Это сближение, наметившееся уже во время войны, совершенно отчетливо определилось с момента возвращения Льва Давыдовича (Троцкого) в Россию; после его первых же выступлений мы все, старые ленинцы, почувствовали, что он — наш». Уже одно число голосов, поданных за Троцкого при выборах его в Центральный комитет, показало, что никто в большевистской среде не смотрел на него, в самый момент его вступления в партию, как на чужака.

Незримо присутствуя на съезде, Ленин вносил в его работы дух ответственности и отваги. Создатель и воспитатель партии не терпел неряшливости в теории, как и в политике. Он знал, что неправильная экономическая формула, как и невнимательное политическое наблюдение, жестоко мстят за себя в час действия. Отстаивая свое придирчиво-внимательное отношение к каждому партийному тексту, даже и второстепенному, Ленин говорил не раз: «Это не мелочи, нужна точность: наш агитатор заучит и не собьется»... «У нас партия хорошая», — прибавлял он, имея в виду именно это серьезное, требовательное отношение рядового агитатора к тому, что сказать и как сказать.

Смелость большевистских лозунгов не раз вызывала впечатление фантастичности: так были встречены апрельские тезисы Ленина. На самом деле в революционную эпоху фантастичнее всего крохоборчество; наоборот, реализм немыслим вне политики дальнего прицела. Мало сказать, что большевизму чужда была фантастика: партия Ленина была единственной партией политического реализма в революции.

В июне и начале июля рабочие-большевики не раз говорили, что им приходиться частенько играть

по отношению к массам роль пожарной кишки, притом не всегда с успехом. Июль, вместе с поражением, принес дорого оплаченный опыт. Массы стали гораздо внимательнее к предупреждениям партии, улавливая их тактический расчет. Июльский съезд партии подтвердил: «пролетариат не должен поддаваться на провокацию буржуазии, которая очень желала бы в данный момент вызвать его на преждевременный бой». Весь август, особенно вторая его половина, окрашен постоянными предупреждениями со стороны партии по адресу рабочих и солдат: не выходить на улицу. Большевистские вожди сами подшучивали нередко над сходством своих предупреждений с политическим лейтмотивом старой немецкой социал-демократии, которая удерживала массы от всякой серьезной борьбы, неизменно ссылаясь на опасность провокации и необходимость накопления сил. На самом деле сходство было мнимое. Большевики отлично понимали, что силы накопляются в борьбе, а не в пассивном уклонении от нее. Изучение действительности было для Ленина только теоретической разведкой в интересах действия. При оценке обстановки он всегда видел в самом центре ее партию, как активную силу. С особой враждебностью, вернее сказать с отвращением, он относился к австро-марксизму (Отто Бауэр, Гильфердинг и пр.), для которого теоретический анализ есть лишь ученый комментарий пассивности. Осторожность — тормаз, а не двигатель. На тормазе никто еще не совершал путешествий, как на осторожности никто еще не строил ничего великого. Но большевики в то же время хорошо знали, что борьба требует учета сил; что нужно быть осторожным, чтоб иметь право быть смелым.

Резолюция VI съезда, предупреждавшая против преждевременных столкновений, указывала в то же время, что бой надо будет принять, «когда общенациональный кризис и глубокий массовый подъем создадут благоприятные условия для перехода бедноты города и деревни на сторону рабочих». При темпах ре-

волюции дело шло не о десятилетиях и не о годах, а о немногих месяцах.

Поставив в порядке дня разъяснение массам необходимости готовиться к вооруженному восстанию, съезд решил в то же время снять центральный лозунг предшествующего периода: переход власти к советам. Одно было связано с другим. Смену лозунгов Ленин подготовил своими статьями, письмами и личными беседами.

Переход власти к советам означал непосредственно переход власти к соглашателям. Это могло совершиться мирно, путем простого увольнения буржуазного правительства, которое держалось на доброй воле соглашателей и на остатках доверия к ним масс. Диктатура рабочих и солдат была фактом, начиная с 27 февраля. Но рабочие и солдаты не отдавали себе в этом факте необходимого отчета. Они доверяли власть соглашателям, которые, в свою очередь, передавали ее буржуазии. Расчет большевиков на мирное развитие революции покоился не на том, что буржуазия добровольно передаст власть рабочим и солдатам, а на том, что рабочие и солдаты своевременно помешают соглашателям переуступать власть буржуазии.

Сосредоточение власти в советах, при режиме советской демократии, открывало бы большевикам полную возможность стать большинством в советах, а следовательно и создать правительство на основах своей программы. Вооруженного восстания для этой цели не нужно было. Смена партий у власти могла бы совершиться мирным путем. Все усилия партии с апреля по июль направлялись на то, чтоб обеспечить мирное развитие революции через советы. «Терпеливо разъяснять» — таков был ключ большевистской политики.

Июльские дни радикально изменили положение. Из советов власть перешла в руки военных клик, сомкнувшихся с кадетами и посольствами и лишь до поры до времени терпевших Керенского, в качестве демократической фирмы. Еслиб Исполнительный коми-

тет вздумал теперь вынести постановление о переходе в его руки власти, результат получился бы совсем не тот, что три дня тому назад: в Таврический дворец вступил бы, вероятно, казачий полк вместе с юнкерскими школами и попытался бы по просту арестовать «узурпаторов». Лозунг «власть советам» предполагал отныне вооруженное восстание против Правительства и стоящих за его спиной военных клик. Но поднимать восстание во имя власти советов, которые этой власти не хотят, было бы явной бессмыслицей.

С другой стороны, отныне стало сомнительным, — некоторые считали даже маловероятным, — смогут ли большевики завоевать большинство в этих безвластных советах, посредством мирных перевыборов: связавши себя с июльским разгромом рабочих и крестьян, меньшевики и эсеры будут, разумеется, и дальше прикрывать насилия над большевиками. Оставаясь соглашательскими, советы превратятся в безвольную оппозицию при контр-революционной власти, чтоб вскоре совсем прекратить свое существование.

О мирном переходе власти в руки пролетариата при таких условиях не могло быть больше и речи. Для большевистской партии это значило: надо готовиться к вооруженному восстанию. Под каким лозунгом? Под открытым лозунгом завоевания власти пролетариатом и крестьянской беднотой. Надо поставить революционную задачу в ее обнаженном виде. Из-под двусмысленной советской формы надо высвободить классовое существо. Это не был отказ от советов, как таковых. Овладев властью, пролетариат должен будет организовать государство по советскому типу. Но это будут другие советы, выполняющие историческую работу, прямо противоположную охранительной функции соглашательских советов.

«Лозунг перехода власти к советам — писал Ленин под первые раскаты травли и клеветы — звучал бы теперь, как донкихотство или как насмешка. Этот лозунг, объективно, был бы обманом народа, внушением ему иллюзии, будто советам и теперь достаточно

пожелать взять власть или постановить это для получения власти, — будто в Совете находятся еще партии, не запятнавшие себя пособничеством палачам, — будто можно бывшее сделать небывшим».

Отказаться от требования перехода власти к советам? В первый момент эта мысль поразила партию, вернее сказать, ее агитаторские кадры, которые за предшествующие три месяца до такой степени сжились с популярным лозунгом, что почти отождествляли с ним все содержание революции. В партийных кругах открылась дискуссия. Многие видные работники партии, как Мануильский, Юренев и другие, доказывали, что снятие лозунга «власть советам» порождает опасность изоляции пролетариата от крестьянства. Это возражение подменяло классы учреждениями. Фетишизм организационной формы представляет, как это ни странно на первый взгляд, весьма частую болезнь именно в революционной среде. «Поскольку мы остаемся в составе этих советов, — писал Троцкий, — ... мы будем стремиться к тому, чтобы советы, отражающие вчерашний день революции, сумели подняться на высоту задач завтрашнего дня. Но как ни важен вопрос о роли и судьбе советов, он для нас целиком подчинен вопросу о борьбе пролетариата и полупролетарских масс города, армии и деревни за политическую власть, за революционную диктатуру».

Вопрос о том, какая массовая организация должна будет послужить партии для руководства восстанием, не допускал априорного, тем более категорического решения. Служебными органами восстания могли стать заводские комитеты и профессиональные союзы, уже стоявшие под руководством большевиков, также и советы, в отдельных случаях, поскольку они вырывались из ярма соглашателей. Ленин говорил, например, Орджоникидзе: «Нам надо перенести центр тяжести на фабзавкомы. Органами восстания должны стать фабзавкомы».

После того, как массы столкнулись в июле с советами, сперва, как с пассивным противником, затем,

как с активным врагом, перемена лозунга нашла в их сознании почву вполне подготовленной. В этом и состояла всегдашняя забота Ленина: с предельной простотой выразить то, что, с одной стороны, вытекает из объективных условий, а, с другой, оформляет субъективный опыт масс. Не церетелевским советам теперь надо преподносить власть, — так чувствовали передовые рабочие и солдаты, — нам самим надо ее взять в руки!

Московская стачечная демонстрация против Государственного совещания не только развернулась против воли Совета, но и не выдвигала требования власти советов. Массы успели усвоить урок, преподанный событиями и истолкованный Лениным. В то же время московские большевики ни на минуту не поколебались занять боевые позиции, как только возникла опасность, что контр-революция попытается раздавить соглашательские советы. Революционную непримиримость большевистская политика всегда сочетала с высшей гибкостью и именно в этом сочетании почерпала свою силу.

События на театре войны вскоре подвергли очень острому испытанию политику партии под углом зрения ее интернационализма. После падения Риги вопрос о судьбе Петрограда захватил за живое рабочих и солдат. На собрании фабрично-заводских комитетов в Смольном меньшевик Мазуренко, офицер, недавно руководивший разоружением петроградских рабочих, сделал доклад об опасности, угрожающей Петрограду, и выдвинул практические вопросы обороны. «О чем вы можете с нами говорить, — воскликнул один из ораторов-большевиков . . . Наши вожди сидят в тюрьмах, а вы зовете нас для обсуждения вопросов, связанных с обороной столицы». Как промышленные рабочие, как граждане буржуазной республики, пролетарии выборжского района совсем не собирались саботировать оборону революционной столицы. Но как большевики, как члены партии, они не хотели ни на минуту делить с правящими ответственность за войну перед русским

народом и перед народами других стран. Опасаясь, что оборонческие настроения превратятся в оборонческую политику, Ленин писал: «Мы станем оборонцами лишь после перехода власти к пролетариату... Ни взятие Риги, ни взятие Питера не сделают нас оборонцами. До тех пор — мы за пролетарскую революцию, мы против войны, мы не оборонцы». «Падение Риги — писал Троцкий из тюрьмы — жестокий удар. Падение Петербурга было бы несчастьем. Но падение интернациональной политики русского пролетариата было бы гибелью». Доктринерство фанатиков? Но в эти самые дни, когда большевистские стрелки и матросы погибали под Ригой, Правительство снимало войска для разгрома большевиков, а Верховный главнокомандующий готовился к войне с Правительством. За эту политику, на фронте, как и в тылу, за оборону, как и за наступление, большевики не смели и не хотели нести и тени ответственности. Еслиб они поступили иначе, они не были бы большевиками.

Керенский и Корнилов означали два варьянта одной и той же опасности; но эти варьянты, затяжной и острый, оказались в конце августа враждебно противопоставлены друг другу. Надо было прежде всего отбить острую опасность, чтоб затем справиться с затяжной. Большевики не только вошли в Комитет обороны, хотя осуждены были в нем на положение маленького меньшинства, но и заявили, что в борьбе с Корниловым готовы заключить «военно-технический союз» даже и с Директорией. По этому поводу Суханов пишет: «Большевики проявили чрезвычайный такт и политическую мудрость... Правда, идя на несвойственный им компромисс, они преследовали некие особые цели, непредвидимые их союзниками. Но тем более велика была их мудрость в этом деле». Ничего «несвойственного» большевизму в этой политике не было: наоборот, она как нельзя лучше отвечала всему характеру партии. Большевики были революционерами дела, а не жеста, существа, а не формы. Их политика определялась реальной группировкой сил, а не симпа-

тиями и антипатиями. Травимый эсерами и меньшевиками Ленин писал: «Глубочайшей ошибкой было бы думать, что революционный пролетариат способен, так сказать, из «мести» эсерам и меньшевикам за их поддержку разгрома большевиков, расстрелов на фронте и разоружение рабочих отказаться «поддерживать» их против контр-революции».

Поддерживать технически, но не политически. Против политической поддержки Ленин решительно предостерегал в одном из своих писем в ЦК: «Поддерживать правительство Керенского мы даже теперь не должны. Это беспринципность. Спросят: неужели не биться против Корнилова? Конечно, да. Но это не одно и то же, тут есть грань; ее переходят иные большевики, впадая в «соглашательство», давая увлечь себя потоку событий».

Ленин умел улавливать оттенки политических настроений издалека. 29 августа на заседании киевской городской думы один из местных большевистских руководителей, Г. Пятаков, заявил: «В этот грозный час мы должны забыть все старые счеты . . . объединиться со всеми революционными партиями, которые стоят за решительную борьбу против контр-революции. Я призываю к единству» и пр. Это и был тот фальшивый политический тон, против которого Ленин предостерегал. «Забывать старые счеты» значило открывать новые кредиты кандидатам в банкроты. «Мы будем воевать, мы воюем с Корниловым, — писал Ленин, — но мы не поддерживаем Керенского, а разоблачаем его слабость. Это разница... С фразами... о поддержке Временного правительства и пр. и пр. надо бороться беспощадно, именно как с фразами».

Рабочие не делали себе никаких иллюзий относительно характера своего «блока» с Зимним дворцом. «Борясь с Корниловым, пролетариат будет бороться не за диктатуру Керенского, а за все завоевания революции», так высказывался завод за заводом, в Петрограде, в Москве, в провинции. Не делая ни малейших политических уступок соглашателям, не смешивая ни

организаций, ни знамен, большевики были, как всегда, готовы согласовать свои действия с противником и врагом, если это давало возможность нанести удар другому врагу, более опасному в данный момент.

В борьбе с Корниловым большевики преследовали свои «особые цели». Суханов намекает на то, что они ставили себе уже в это время задачей превратить Комитет обороны в орудие пролетарского переворота. Что революционные комитеты корниловских дней стали до известной степени прообразом тех органов, которые руководили впоследствии восстанием пролетариата, это бесспорно. Но Суханов приписывает все же большевикам чрезмерную дальнозоркость, когда думает, что они заранее предвидели этот организационный момент. «Особые цели» большевиков состояли в том, чтобы разгромить контр-революцию, оторвать, если удастся, соглашателей от кадетов, сплотить как можно большие массы под своим руководством, вооружить как можно большее число революционных рабочих. Из этих своихъ целей большевики не делали никакой тайны. Преследуемая партия спасала правительство репрессий и клеветы; но она спасала его от военного разгрома, чтоб тем вернее убить его политически.

Последние дни августа снова произвели резкую передвижку в соотношении сил, на этот раз справа налево. Призванные к борьбе массы без усилия восстановили то положение, какое советы имели до июльского кризиса. Отныне судьба советов снова в их собственных руках. Власть может быть взята советами без боя. Для этого соглашателям нужно лишь закрепить то, что сложилось в действительности. Весь вопрос в том, захотят ли они?.. Сгоряча соглашатели заявляют, что коалиция с кадетами немыслима более. Если так, то она немыслима вообще, Отказ от коалиции не может, однако, означать ничего иного, кроме перехода власти к соглашателям.

Ленин сейчас же схватывает существо новой обстановки, чтоб сделать из него необходимые выводы. 3-го сентября он пишет замечательную статью «О компро-

миссах». Роль советов снова изменилась, констатирует он: в начале июля они были органами борьбы с пролетариатом, в конце августа они стали органами борьбы с буржуазией. Советы опять получили в свое распоряжение войска. История снова приоткрывает возможность мирного развития революции. Это исключительно редкая и ценная возможность: надо сделать попытку осуществить ее. Ленин высмеивает попутно тех фразеров, которые считают недопустимыми какие бы то ни было компромиссы: задача в том, чтоб «через все компромиссы, поскольку они неизбежны», провести свои цели и задачи. «Компромиссом является, с нашей стороны, — говорит он, — наш возврат к до-июльскому требованию: вся власть советам, ответственное перед советами Правительство из эсеров и меньшевиков. Теперь, и только теперь, может быть всего в течение нескольких дней или одной-двух недель, такое Правительство могло бы создаться и упрочиться вполне мирно». Этот короткий срок должен был характеризовать всю остроту положения: у соглашателей считанные дни, чтоб сделать свой выбор между буржуазией и пролетариатом.

Соглашатели поспешили отмахнуться от ленинского предложения, как от коварной ловушки. На самом деле в предложении не было и намека на хитрость: уверенный в том, что его партия призвана стать во главе народа, Ленин сделал открытую попытку смягчить борьбу, ослабив сопротивление врагов пред лицом неизбежности.

Смелые повороты Ленина, всегда вытекающие из изменения самой обстановки и неизменно сохраняющие в себе единство стратегического замысла, образуют неоценимую академию революционной стратегии. Предложение компромисса имело значение предметного урока прежде всего для самой большевистской партии. Оно показало, что, несмотря на опыт с Корниловым, для соглашателей поворота на путь революции более нет. Партия большевиков окончательно почувствовала себя после этого единственной партией революции.

Соглашатели отказались играть роль трансмиссии, передающей власть из рук буржуазии в руки пролетариата, как они в марте сыграли роль трансмиссии, передвигавшей власть из рук пролетариата в руки буржуазии. Но этим самым лозунг «власть советам» снова повисал в воздухе. Однако, не надолго: уже в ближайшие дни большевики получили большинство в петроградском Совете, затем в ряде других. Лозунг «власть советам» не был, поэтому, вторично снят с порядка дня, но получил новый смысл: вся власть *большевистским* советам. В этом своем виде лозунг окончательно переставал быть лозунгом мирного развития. Партия становится на путь вооруженного восстания, через советы и во имя советов.

Для понимания дальнейшего хода развития необходимо поставить вопрос: каким образом соглашательские советы вернули себе в начале сентября власть, которую они утратили в июле? Через резолюции VI съезда красной нитью проходит утверждение, будто в результате июльских событий двоевластие оказалось ликвидировано, сменившись диктатурой буржуазии. Новейшие советские историки переписывают из книги в книгу эту мысль, даже не пытаясь оценить ее заново в свете последовавших событий. При этом они совсем не задаются вопросом: если в июле власть перешла полностью в руки военной клики, то почему той же военной клике пришлось в августе прибегать к восстанию? На рискованный путь заговора становится не тот, кто имеет власть, а тот, кто хочет завладеть ею.

Формула VI съезда была, по меньшей мере, неточна. Если мы именовали двоевластием тот режим, при котором в руках официального Правительства была в сущности фикция власти, реальная же сила — в руках Совета, то нет никакого основания утверждать, что двоевластие ликвидировано с того момента, как часть реальной власти перешла от Совета к буржуазии. С точки зрения боевых задач момента можно и должно было переоценивать сосредоточение власти в руках контр-революции. Политика — не математика. Прак-

тически неизмеримо опаснее было преуменьшить значение происшедшей перемены, чем преувеличить ее. Но исторический анализ не нуждается в преувеличениях агитации.

Упрощая мысль Ленина, Сталин говорил на съезде: «Положение ясно. Теперь о двоевластии никто не говорит. Если ранее советы представляли реальную силу, то теперь это лишь органы сплочения масс, не имеющие никакой власти». Некоторые делегаты возражали в том смысле, что в июле восторжествовала реакция, но не победила контр-революция. Сталин отвечал на это неожиданным афоризмом: «во время революции реакции не бывает». На самом деле революция побеждает только через ряд перемежающихся реакций: она всегда делает шаг назад после двух шагов вперед. Реакция относится к контр-революции, как реформа — к перевороту. Победами реакции можно назвать такие изменения в режиме, которые приближают его к потребностям контр-революционного класса, не меняя, однако, носителя власти. Победа же контр-революции немыслима без перехода власти в руки другого класса. Такого решающего перехода в июле не произошло.

«Если июльское восстание было полувосстанием, — справедливо писал несколько месяцев спустя Бухарин, не сумевший, однако, из собственных слов сделать необходимые выводы, — то в известной степени и победа контр-революции была полупобедой». Но полупобеда не могла доставить буржуазии власть. Двоевластие перестроилось, преобразилось, но не исчезло. На заводе, по прежнему, ничего нельзя было сделать против воли рабочих. Крестьяне сохранили власти настолько, чтоб не давать помещику пользоваться правами собственности. Командиры чувствовали себя неуверенно перед солдатами. Но что такое власть, если не материальная возможность распоряжаться военной силой и собственностью? 13 августа Троцкий писал по поводу происшедших сдвигов: «Дело не в том только, что рядом с правительством стоял Совет, который выполнял

целый ряд правительственных функций... Суть в том, что за Советом и за правительством стояли два разных режима, опиравшихся на разные классы... Насаждаемый сверху режим капиталистической республики и формировавшийся снизу режим рабочей демократии парализовали друг друга».

Совершенно бесспорно, что Центральный исполнительный комитет утратил львиную долю своего значения. Но было бы ошибочно думать, что буржуазия получила все, что утратили соглашательские верхи. Последние теряли не только направо, но и налево, не только в пользу военных клик, но и в пользу заводских и полковых комитетов. Власть децентрализовалась, распылилась, отчасти скрылась под землю, как и то оружие, какое рабочие припрятали после июльского поражения. Двоевластие перестало быть «мирным», контактным, урегулированным. Оно стало более подспудным, децентрализованным, более полярным и взрывчатым. В конце августа скрытое двоевластие снова превратилось в действенное. Мы увидим, какое значение этот факт приобрел в октябре.

ПОСЛЕДНЯЯ КОАЛИЦИЯ

Верное своей традиции: не выдерживать ни одного серьезного толчка, Временное правительство развалилось, как мы помним, ночью 26 августа. Вышли кадеты, чтоб облегчить работу Корнилова. Вышли социалисты, чтоб облегчить работу Керенского. Открылся новый кризис власти. Прежде всего стал вопрос о самом Керенском: глава Правительства оказался соучастником заговора. Возмущение против него было так велико, что при упоминании его имени соглашательские вожди то и дело прибегали к большевистскому словарю. Чернов, только что выскочивший из министерского поезда на полном ходу, писал в центральном органе своей партии о той «неразберихе», в которой не поймешь, где кончается Корнилов и начинается Филоненко с Савинковым, где кончается Савинков и начинается Временное правительство, как таковое». Намек был достаточно ясен: «Временное правительство, как таковое» — это ведь и был Керенский, принадлежавший к одной партии с Черновым.

Но отведя душу в крепких выражениях, соглашатели решили, что без Керенского им не обойтись. Если они помешали Керенскому амнистировать Корнилова, то сами они поспешили амнистировать Керенского. В виде компенсации, он согласился пойти на уступку по вопросу об образе правления России. Еще вчера считалось, что разрешить этот вопрос может только Учредительное Собрание. Теперь юридические препятствия

сразу посторонились. Смещение Корнилова в заявлении Правительства объяснялось необходимостью «спасения родины, свободы и республиканского строя». Чисто словесная и притом запоздалая подачка влево нисколько, разумеется, не укрепляла авторитета власти, тем более, что и Корнилов объявлял себя республиканцем.

30 августа Керенскому пришлось уволить Савинкова, которого через несколько дней исключили даже из всеобъемлющей партии эсеров. Но на должность генерал-губернатора тут же назначен был политически равноценный Савинкову Пальчинский, который начал с того, что закрыл газету большевиков. Исполнительные комитеты протестовали. «Известия» назвали этот акт «грубой провокацией». Пальчинского пришлось убрать через 3 дня. Как мало Керенский собирался вообще менять курс своей политики, показывает тот факт, что уже 31-го он формировал новое правительство с участием кадетов. Даже эсеры не могли пойти на это: они пригрозили отозвать своих представителей. Новый рецепт власти найден был Церетели: «Сохранить идею коалиции и отмести все элементы, которые тяжелым грузом повисли на правительстве». «Идея коалиции окрепла — подпевал Скобелев, — но в составе Правительства не может быть места той партии, которая была связана с заговором Корнилова». Керенский с этим ограничением не соглашался и по своему был прав.

Коалиция с буржуазией, но с исключением руководящей буржуазной партии, была явной бессмыслицей. На это указал Каменев, который на объединенном заседании Исполнительных комитетов, в свойственном ему тоне увещания, делал выводы из свежих событий. «Вы хотите нас бросить на еще более опасный путь коалиции с безответственными группами. Но вы забыли о коалиции, собранной и укрепленной грозными событиями минувших дней, — о коалиции между революционным пролетариатом, крестьянством и революционной армией». Большевистский оратор напомнил

слова, сказанные Троцким 26 мая в защиту кронштадтцев от обвинений Церетели: «когда контр-революционный генерал попытается накинуть на шею революции петлю, кадеты будут намыливать веревку, а кронштадтские матросы явятся, чтоб бороться и умирать вместе с нами». Напоминание попадало не в бровь, а в глаз. На разглагольствования об «единстве демократии» и о «честной коалиции» Каменев отвечал: «Единство демократии зависит от того, пойдете ли вы или не пойдете в коалицию в Выборгским районом. Всякая другая коалиция бесчестна». Речь Каменева произвела несомненное впечатление, которое Суханов регистрирует в словах: «Очень умно и тактично говорил Каменев». Но дальше впечатления дело не пошло. Пути обеих сторон были предопределены.

Разрыв соглашателей с кадетами в сущности с самого начала имел чисто показной характер. Либеральные корниловцы сами понимали, что им в ближайшие дни лучше держаться в тени. За кулисами решено было, по явному соглашению с кадетами, создать правительство, в такой степени возвышающееся над всеми реальными силами нации, чтоб его временный характер не вызывал ни у кого сомнения. Кроме Керенского пятичленная Директория включала министра иностранных дел Терещенко, который уже стал несменяемым, благодаря связи с дипломатией Антанты; московского командующего округом Верховского, поспешно произведенного для этой цели из полковников в генералы; адмирала Вердеревского, поспешно освобожденного для этой цели из тюрьмы; наконец, сомнительного меньшевика Никитина, которого его партия признала вскоре достаточно созревшим для исключения из ее рядов.

Победив Корнилова чужими руками, Керенский, казалось, зоботился только о том, чтобы провести в жизнь его программу. Корнилов хотел соединить власть верховного главнокомандующего с властью главы правительства. Керенский это осуществил. Корнилов намеревался единоличную диктатуру прикрыть

пятичленной директорией. Керенский это выполнил. Чернова, отставки которого требовала буржуазия, Керенский выставил из Зимнего дворца. Генерала Алексеева, героя кадетской партии и ее кандидата на пост министра-президента, он назначил начальником штаба Ставки, т. е. фактическим главою армии. В приказе по армии и флоту Керенский требовал прекращения политической борьбы в войсках, т. е. восстановления исходного положения. Из своего подполья Ленин характеризовал положение на верхушке со свойственной ему предельной простотой: «Керенский — корниловец, рассорившийся с Корниловым случайно и продолжающий быть в интимнейшем союзе с другими корниловцами». Одна беда: победа над контр-революцией одержана гораздо более глубокая, чем нужно было для личных планов Керенского.

Директория поспешила освободить из тюрьмы бывшего военного министра Гучкова, считавшегося одним из вдохновителей заговора. На кадетских вдохновителей юстиция вообще не поднимала руки. Держать дальше большевиков под замком становилось, при этих условиях, все труднее. Правительство нашло выход: не снимая обвинения, выпускать большевиков под залог. Петроградский совет профессиональных союзов взял на себя «честь внести залог за достойного вождя революционного пролетариата»: 4 сентября Троцкий был освобожден под скромный, в сущности фиктивный, залог в 3.000 рублей. В своей «Истории русской смуты» генерал Деникин пишет патетически: «1 сентября был подвергнут аресту генерал Корнилов, а 4-го сентября тем же Временным правительством отпущен на свободу Бронштейн-Троцкий. Эти две даты должны быть памятны России». Освобождение большевиков на поруки продолжалось в течение ближайших дней. Выпускаемые из тюрем не теряли времени даром: массы ждали и звали, партии нужны были люди.

В день освобождения Троцкого, Керенский издал приказ, в котором, признавая, что Комитеты оказали «весьма существенную помощь правительственной вла-

сти», повелевал этим комитетам прекратить дальнейшую деятельность. Даже «Известия» признали, что автор приказа обнаружил «довольно слабое понимание» обстановки. Межрайонное совещание советов в Петрограде постановило: «революционных организаций по борьбе с контр-революцией не распускать». Напор снизу был так силен, что соглашательский Военно-революционный комитет решил не признавать распоряжения Керенского и призвал свои местные органы «в виду продолжающегося тревожного состояния работать с прежней энергией и выдержкой». Керенский смолчал: ничего другого и не оставалось.

Всемогущему главе Директории приходилось на каждом шагу убеждаться, что обстановка изменилась, что сопротивление возросло и что приходится кое-что менять, по крайней мере, на словах. 7-го сентября Верховский заявил для печати, что программа оздоровления армии, выработанная до корниловского мятежа, в настоящий момент должна быть отвергнута, ибо «при данном психологическом состоянии армии» она привела бы лишь к еще большему разложению ее. В ознаменование новой эры военный министр выступил перед Исполнительным комитетом. Пусть не беспокоятся: генерал Алексеев уйдет и вместе с ним уйдут все, кто так или иначе примыкал к корниловскому восстанию. Здоровые начала армии нужно прививать «не пулеметами и нагайками, а путем внушения идей права, справедливости и строгой дисциплины». Это совсем пахло весенними днями революции. Но на дворе стоял сентябрь, надвигалась осень. Алексеев был через несколько дней действительно смещен, и его место занял генерал Духонин: преимущество этого генерала состояло в том, что его не знали.

В возмещение за уступки военный и морской министры требовали от Исполнительного комитета немедленной помощи: офицеры ходят под дамокловым мечом, хуже всего дело обстоит в Балтийском флоте, нужно утихомирить матросов. После долгих прений решено было, как всегда, послать во флот делегацию, причем

соглашатели настаивали на том, чтоб в нее вошли большевики и, прежде всего, Троцкий: только при этом условии делегация может рассчитывать на успех. «Мы решительно отвергаем, возразил Троцкий, ту форму сотрудничества с Правительством, которую защищал Церетели . . . Правительство ведет в корне ложную противонародную и бесконтрольную политику; а когда эта политика упирается в тупик или приводит к катастрофе, на революционные организации возлагается черная работа по улажению неизбежных последствий . . . Одной из задач этой делегации, как вы формулируете, является расследование в составе гарнизонов «темных сил», то-есть провокаторов и шпионов . . . Неужели вы забыли, что я сам привлекаюсь по 108 статье ? . . В борьбе с самосудами мы идем своими путями . . . не рука об руку с прокурором и контр-разведчикам, а как революционная партия, которая убеждает, организует и воспитывает».

Созыв Демократического совещания был решен в дни корниловского восстания. Оно должно было еще раз показать силу демократии, внушить уважение к ней противникам справа и слева и — не последняя из задач — обуздать зарвавшегося Керенского. Соглашатели серьезно намеревались подчинить Правительство какому-либо импровизованному представительству до созыва Учредительного собрания. Буржуазия заранее отнеслась к Совещанию враждебно, усматривая в нем попытку закрепить позиции, которые демократия вернула себе победой над Корниловым. «Затея Церетели — пишет Милюков в своей «Истории — являлась по существу полной капитуляцией перед планами Ленина и Троцкого». Как раз наоборот: затея Церетели была направлена на то, чтоб парализовать борьбу большевиков за власть советов. Демократическое совещание противопоставлялось съезду советов. Соглашатели создавали для себя новую базу, пытаясь задавить советы искусственным сочетанием всякого рода организаций. Демократы распределяли голоса по собственному усмотрению, руководствуясь одной заботой: обеспе-

чить себе бесспорное большинство. Верхушечные организации оказались представлены несравненно полнее, чем низшие. Органы самоуправления, в том числе и недемократизованные земства, получили огромный перевес над советами. Кооператоры оказались в роли вершителей судеб.

Не занимавшие раньше в политике никакого места, кооператоры выдвинулись на политическую арену впервые в дни московского Совещания и с этого времени начали выступать не иначе, как от 20 миллионов своих членов или, еще проще, от «половины населения России». Корнями своими кооперация уходила в деревню через верхние ее слои, которые одобряли «справедливую» экспроприацию дворян под условием, чтоб их собственные участки, нередко весьма значительные, получили не только защиту, но и приращение. Вожди кооперации вербовались из либерально-народнической, отчасти либерально-марксистской интеллигенции, создававшей естественный мост между кадетами и соглашателями. К большевикам кооператоры относились с той же ненавистью, с какой кулак относится к непокорному батраку. Соглашатели с жадностью уцепились за сбросивших маску нейтральности кооператоров, чтоб подкрепить себя против большевиков. Ленин жестоко клеймил поваров демократической кухни. «Десять убежденных солдат или рабочих из отсталой фабрики — писал он — стоят в тысячу раз больше, чем сотни подтасованных... делегатов». Троцкий доказывал в петроградском Совете, что чиновники кооперации так же мало выражают политическую волю крестьян, как врач — политическую волю своих пациентов, или почтовый чиновник — взгляды отправителей и получателей писем. «Кооператоры должны быть хорошими организаторами, купцами, бухгалтерами, но защиту классовых прав крестьяне, как и рабочие, передают своим Советам». Это не помешало кооператорам получить полтораста мест и, вместе с переформированными земствами и всякими другими притянутыми за волосы

организациями, совершенно исказить характер представительства масс.

Петроградский Совет включил в список своих делегатов на Совещание Ленина и Зиновьева. Правительство отдало распоряжение арестовать обоих при входе в здание театра, но не в самом зале заседания: таков был, очевидно, компромисс между соглашателями и Керенским. Но дело ограничилось политической демонстрацией Совета: ни Ленин, ни Зиновьев не собирались являться на Совещание. Ленин считал, что большевикам там вообще нечего делать.

Совещание открылось 14 сентября, ровно через месяц после Государственного, в зрительной зале Александринского театра. Число допущенных представителей доходило до 1775. Около 1200 присутствовало при открытии. Большевики, разумеется, были в меньшинстве. Но, несмотря на все ухищрения избирательной системы, они представляли очень внушительную группу, которая по некоторым вопросам собирала вокруг себя свыше трети всего состава.

Достойно ли сильного Правительства выступать перед каким-то «частным» Совещанием? Этот вопрос составлял предмет больших колебаний в Зимнем дворце и отраженных волнений в Александринке. В конце концов глава Правительства решил показаться демократии. «Встреченный аплодисментами, — рассказывает Шляпников о появлении Керенского, — он направился к президиуму, чтобы пожать руки сидевшим за столом. Доходит очередь до нас (большевиков), сидевших неподалеку друг от друга. Мы переглянулись и быстро условились не подавать ему руки. Театральный жест через стол, — я отодвинулся от предложенной мне руки, и Керенский с протянутой рукой, не встретив наших рук, прошел далее». Такое же отношение глава Правительства встречал и на противоположном фланге: у корниловцев. А кроме большевиков и корниловцев уже не оставалось реальных сил.

Вынужденный всей обстановкой представить объяснения по поводу своей роли в заговоре, Керенский,

и на этот раз слишком понадеялся на импровизацию. «Я знаю, чего они хотели, — проговорился он, — потому что они, прежде чем искать Корнилова, приходили ко мне и мне предлагали этот путь». Слева кричат: «Кто приходил?.. Кто предлагал?» Испуганный резонансом собственных слов, Керенский уже успел замкнуться. Но политическая подоплека заговора раскрылась и наименее мудрым. Украинский соглашатель Порш докладывал, по возвращении, киевской Раде: «Керенскому не удалось доказать свою непричастность к корниловскому восстанию». Но глава Правительства нанес себе в своей речи и другой, не менее тяжкий удар. Когда в ответ на всем надоевшие фразы — «в момент опасности все придут и объяснятся» и пр., ему кричали. «а смертная казнь?» — оратор, потеряв равновесие, совершенно неожиданно для всех, как, вероятно, и для самого себя, воскликнул: «подождите сначала, когда хотя бы один смертный приговор будет подписан мной, верховным главнокомандующим, и я тогда позволю вам проклинать меня». К эстраде приближается солдат и кричит в упор: «вы — горе родины». Вот как! Он, Керенский, готов был забыть то высокое место, которое он занимает, чтоб объясниться с Совещанием, как человек. «Но человека не все здесь понимают». Поэтому он скажет языком власти: «каждый, кто осмелится»... Увы, это уже слышали в Москве, и Корнилов все-таки осмелился.

«Если смертная казнь была необходима, — спрашивал в своей речи Троцкий, — то как он, Керенский, решается сказать, что не сделает из нее употребления? А если он считает возможным обязаться перед демократией не применять смертную казнь, то... он превращает ее восстановление в акт легкомыслия, стоящий за пределами преступности». С этим соглашался весь зал, одни молча, другие бурно. «Керенский своим признанием и себя, и Временное правительство сильно в то время дискредитировал», говорит его коллега и почитатель, товарищ министра юстиции Демьянов.

Ни один из министров не мог рассказать, что соб-

ственно делало Правительство помимо разрешения вопросов собственного существования. Хозяйственные мероприятия? Нельзя назвать ни одного. Политика мира? «Я не знаю, — говорил бывший министр юстиции Зарудный, наиболее откровенный, — делало ли Временое правительство в этом отношении что-нибудь, я не видел этого». Зарудный недоуменно жаловался на то, что «вся власть оказалась в руках одного человека», по намеку которого министры приходили и уходили. Церетели неосторожно подхватил эту тему: «пусть сама демократия пеняет на себя, если на высоте у ее представителя закружилась голова». Но как-раз Церетели полнее всего воплощал в себе те черты демократии, которые порождали бонапартистские тенденции власти. «Почему Керенский занял то место, которое он занимает теперь? — возражал Троцкий: вакансия на Керенского была открыта слабостью и нерешительностью демократии . . . Я здесь не слышал ни одного оратора, который бы взял на себя мало завидную честь защищать Директорию или ее председателя» . . . После взрыва протестов оратор продолжает: «Я очень жалею, это та точка зрения, которая сейчас находит в зале такое бурное выражение, не нашла своего членораздельного выражения на этой трибуне. Ни один оратор не вышел сюда и не сказал нам: зачем вы спорите о прошлой коалиции, зачем задумываетесь о будущей? У нас есть Керенский и этого довольно . . .» Но большевистская постановка вопроса почти автоматически сплачивает Церетели с Зарудным и их обоих — с Керенским. Об этом метко писал Милюков: Зарудный мог жаловаться на самовластие Керенского, Церетели мог намекать на то, что у главы Правительства закружилась голова, — «это были слова»; когда же Троцкий констатировал, что в Совещании никто не взял на себя открытой защиты Керенского, «собрание сразу почувствовало, что это говорит общий враг».

О власти люди, ее представлявшие, говорили не иначе, как о бремени и несчастьи. Борьба за власть?

Министр Пешехонов поучал: «Власть представляется теперь такой вещью, от которой все открещиваются». Так ли? Корнилов не открещивался. Но совсем свежий урок был уже наполовину забыт. Церетели негодовал на большевиков, которые сами власти не берут, а толкают к власти советы. Мысль Церетели подхватили другие. Да, большевики должны взять власть! говорилось вполголоса за столом президиума. Авксентьев обратился к сидевшему поблизости Шляпникову: «возьмите власть, за вами идут массы». Отвечая соседу в тон, Шляпников предложил положить сперва власть на стол президиума. Полуиронические вызовы по адресу большевиков, проходившие и через речи с трибуны и через кулуарные беседы, были отчасти издевательством, отчасти разведкой. Что думают делать дальше эти люди, ставшие во главе петроградского, московского и многих провинциальных советов? Неужели же они действительно посмеют захватить власть? Этому не верили. За два дня до вызывающего выступления Церетели, «Речь» писала, что лучшим способом на долгие годы освободиться от большевизма было бы вручение его вождям судеб страны; но «сами эти печальные герои дня отнюдь не стремятся на самом деле к захвату всей полноты власти . . . практически их позиция не может ни с какой точки зрения быть принята в расчет». Это горделивое заключение было, по меньшей мере, поспешно.

Громадное преимущество большевиков, до сих пор еще, пожалуй, неоцененное, как следует быть, состояло в том, что они прекрасно понимали своих противников, можно сказать, видели их насквозь. Им помогали в этом и материалистический метод, и ленинская школа ясности и простоты, и острая настороженность людей, решившихся итти до конца. Наоборот, либералы и соглашатели сами выдумывали для себя большевиков, в зависимости от потребностей момента. Иначе и не могло быть: партии, которым развитие не оставило выхода, никогда не обнаруживали способности

глядеть в лицо действительности, как безнадежно больной не способен глядеть в лицо своей болезни.

Но не веря в восстание большевиков, соглашатели боялись его. Это лучше всего выразил Керенский. «Не ошибитесь, — вдруг выкрикнул он в своей речи, — не думайте, что если меня травят большевики, то за мной нет сил демократии. Не думайте, что я вишу в воздухе. Имейте в виду, что если вы что-нибудь устроите, то остановятся дороги, не будут передаваться депеши . . .» Часть зала рукоплещет, часть смущенно молчит, большевистская часть откровенно смеется. Плоха диктатура, вынужденная доказывать, что она не висит в воздухе!

На иронические вызовы, обвинения в трусости и нелепые угрозы большевики ответили в своей декларации: «Борясь за власть во имя осуществления своей программы, наша партия никогда не стремилась и не стремится овладеть властью против организованной воли большинства трудящихся масс страны». Это означало: мы возьмем власть, как партия советского большинства. Слова об «организованной воле трудящихся» относились к предстоящему съезду советов. «Только те решения и предложения настоящего Совещания . . . — говорила декларация, — могут найти себе путь к осуществлению, которые встретят признание со стороны Всероссийского съезда советов» . . .

Во время оглашения Троцким декларации большевиков упоминание о необходимости немедленного вооружения рабочих вызвало со скамей большинства настойчивые возгласы: «Зачем, зачем?» Это была все та же нота тревоги и провокации. Зачем? «Чтобы создать действительный оплот против контр-революции», отвечает оратор. Но не только для этого. «Я вам говорю от имени нашей партии и идущих за ней пролетарских масс, что вооруженные рабочие . . . будут защищать страну революции от войск империализма с таким героизмом, какого не знала еще русская история»... Церетели охарактеризовал это обещание, рез-

ко разделившее зал, как пустую фразу. История Красной армии впоследствии опровергала его.

Те горячие часы, когда соглашательские главари отвергали коалицию с кадетами, остались позади: без кадетов коалиция оказалась невозможна. Не брать же, в самом деле, власть самим! «Захватить власть мы могли бы еще 27 февраля, — мудрствовал Скоболев, — но... мы всю силу своего влияния употребили на то, чтобы помочь буржуазным элементам оправиться от смущения... и притти к власти». Почему же эти господа помешали взять власть оправившимся от смущенья корниловцам? Чисто буржуазная власть, разъяснял Церетели, еще невозможна: это вызвало бы гражданскую войну. Корнилова надо было разбить, чтобы своей авантюрой он не мешал буржуазии притти к власти через несколько этапов. «Теперь, когда революционная демократия вышла победительницей, момент особенно благоприятен для коалиции».

Политическую философию кооперации выразил ее глава Беркенгейм: «хотим ли мы или не хотим, буржуазия является тем классом, которому будет принадлежать власть». Старый революционер-народник Минор умолял Совещание вынести единодушное решение в пользу коалиции. Иначе «нечего себя обманывать: мы будем резать». — Кого? кричали с левых мест. «Мы будем резать друг друга», окончил Минор при зловещем молчании. Но ведь по мысли кадетов, правительственный блок нужен был для борьбы против «анархического хулиганства» большевиков: «в этом собственно и заключалась сущность идеи коалиции», пояснял Милюков с полной откровенностью. В то время, как Минор надеялся, что коалиция позволит не резать друг друга, Милюков, наоборот, твердо рассчитывал на то, что коалиция даст возможность общими силами резать большевиков.

Во время прений о коалиции Рязанов огласил ту передовицу «Речи» от 29 августа, которую Милюков снял в последний момент, оставив в газете белое пятно: «Да, мы не боимся сказать, что генерал Корнилов

преследовал те же цели, какие мы считаем необходимыми для спасения родины». Цитата произвела впечатление. «О, они спасут!» несется из левой половины собрания. Но у кадетов есть свои защитники: ведь передовица не была напечатана! К тому же не все кадеты стояли за Корнилова, надо уметь отличать грешников от праведников.

«Говорят, что нельзя обвинять всю кадетскую партию в том, что она была соучастницей корниловского мятежа, — отвечал Троцкий. — Здесь Знаменский не в первый уже раз говорил нам, большевикам: вы протестовали, когда мы делали ответственной всю вашу партию за движение 3—5 июля; не повторяйте тех же ошибок, не делайте ответственными всех кадетов за мятеж Корнилова. Но в этом сравнении, по-моему, есть маленький недочет: когда обвиняли большевиков в том, что они вызвали движение 3—5 июля, то речь шла не о том, чтобы приглашать их в министерство, а в том, чтобы приглашать ихъ в «Кресты». Разницы, надеюсь, не будет отрицать и (министр юстиции) Зарудный. Мы тоже говорим: если вы желаете тащить кадетов в тюрьму за корниловское движение, то не делайте этого оптом, а каждаго отдельного кадета расследуйте со всех сторон. (Смех; голоса: «браво!»). Если же речь идет о введении кадетской партии в министерство, то решающим является не то обстоятельство, что тот или иной кадет находился в закулисном соглашении с Корниловым, — не то, что Маклаков стоял у телеграфного аппарата, когда Савинков вел переговоры с Корниловым; не то, что Родичев ездил на Дон и вел политические разговоры с Калединым, не в этом суть; суть в том, что *вся* буржуазная печать либо открыто приветствовала Корнилова, либо осторожно отмалчивалась, выжидая победы Корнилова... Вот почему я говорю, что у вас нет контр-агентов для коалиции!»

На другой день представитель Гельсингфорса и Свеаборга, матрос Шишкин, говорил на ту же тему короче и внушительнее: «Коалициононое министерство

у моряков Балтфлота и гарнизона Финляндии ни доверием, ни поддержкой пользоваться не будет... Против создания коалиционного министерства матросы подняли боевые флаги». Аргументы от разума не действовали. Матрос Шишкин выдвинул аргумент от морских орудий. Его вполне одобрили другие матросы, стоявшие на часах у входов в зал заседания. Бухарин рассказывал позже, как «матросы, поставленные Керенским для охраны Демократического совещания от нас, большевиков, обращаются к Троцкому и спрашивают, потрясая штыками: — а скоро ли этой штукой можно будет поработать?» Это было лишь повторением вопроса, который матросы «Авроры» ставили на свидании в «Крестах». Но теперь сроки приблизились.

Если отвлечься от оттенков, то в Совещании легко установить три группировки: обширный, но крайне неустойчивый центр, который не смеет брать власти, соглашается на коалицию, но не хочет кадетов; слабое правое крыло, которое стоит за Керенского и коалицию с буржуазией без всяких ограничений; вдвое более сильное левое крыло, которое стоит за власть советов или за социалистическое правительство. На собрании советских делегатов Демократического совещания Троцкий выступал за передачу власти Советам, Мартов — за однородное социалистическое министерство. Первая формула собрала 86 голосов, вторая — 97. Формально лишь около половины рабочих и солдатских советов возглавлялось в этот момент большевиками, другая половина колебалась между большевиками и соглашателями. Но большевики говорили от имени мощных советов наиболее промышленных и культурных центров страны; в советах они были неизмеримо сильнее, чем на Совещании, а в пролетариате и армии — неизмеримо сильнее, чем в советах. Отсталые советы непрерывно подтягивались к передовым.

За коалицию голосовало на Совещании 766 депутата против 688 при 38 воздержавшихся. Оба лагеря почти уравновесились! Поправка, исключавшая каде-

тов из коалиции, собрала большинство: 595 голосов против 493 при 72 воздержавшихся. Но устранение кадетов делало коалицию беспредметной. Поэтому резолюция в целом была провалена большинством 813 голосов, т. е. блоком крайних флангов, решительных сторонников и непримиримых противников коалиции, против центра, растаявшего до 183 голосов при 80 воздержавшихся. Это было самое дружное из всех голосований; но оно было так же пусто, как и идея коалиции без кадетов, которую оно отвергало. «По коренному вопросу ... — справедливо пишет Милюков, — Совещание осталось, таким образом, без мнения и без формулы».

Что оставалось делать вождям? Попрать волю «демократии», которая отвергла их собственную волю. Созывается президиум с представителями партий и групп для перерешения вопроса, уже разрешенного пленумом. Результат: 50 голосов за коалицию, 60 — против. Теперь, кажется, ясно? Вопрос об ответственности Правительства перед постоянным органом Декратического совещания принимается тем же расширенным президиумом единогласно. За дополнение этого органа представителями буржуазии поднимается 56 рук против 48, при 10 воздержавшихся. Появляется Керенский, чтобы заявить: в однородном правительстве он участвовать отказывается. После этого задача сводится к тому, чтоб отправить злополучное Совещание по домам, заменив его таким учреждением, в котором сторонники безусловной коалиции были бы в большинстве. Чтоб достигнуть необходимого результата, нужно лишь знание правил арифметики. От имени президиума Церетели вносит на Совещание резолюцию в том духе, что представительный орган призван «содействовать созданию власти» и что Правительство должно «санкционировать этот орган»: мечты об обуздании Керенского, таким образом, сданы в архив. Пополненный в надлежащей пропорции представителями буржуазии будущий Совет республики, или Предпарламент, будет иметь своей задачей санкционировать

коалиционное Правительство с кадетами. Резолюция Церетели означает прямо противоположное тому, чего хотело Совещание и только что постановил президиум. Но развал, распад и деморализация так велики, что собрание принимает предложенную ему слегка замаскированную капитуляцию 829 голосами против 106 при 69 воздержавшихся. «Итак, пока что вы победили, господа соглашатели и господа кадеты, — писала газета большевиков. — Делайте вашу игру. Приступайте к новому опыту. Он будет последним — за это мы вам ручаемся».

«Демократическое совещание — говорит Станкевич — поразило даже самих инициаторов чрезвычайным разбродом мысли». В соглашательских партиях — «полный разлад»; справа, в среде буржуазии, «ропот ворчания, передаваемая шопотом клевета, медленное разъедание последних остатков авторитета власти... И лишь слева — консолидация сил и настроения». Это говорит противник, это свидетельствует враг, который в октябре еще будет стрелять по большевикам. Петроградский парад демократии оказался для соглашателей тем, чем для Керенского — московский парад национального единства: публичной исповедью несостоятельности, смотром политического маразма. Если Государственное совещание дало толчок восстанию Корнилова, то Демократическое совещание окончательно расчистило дорогу для восстания большевиков.

Прежде чем разъехаться, Совещание выделило из себя постоянный орган путем делегирования в него каждой из групп 15% своего состава, всего — около 350 делегатов. Учреждения имущих классов должны были получить, сверх того, 120 мест. Правительство от себя прибавило 20 мест казакам. Все вместе должно было составить Совет республики, или Предпарламент, которому предстояло представлять нацию до созыва Учредительного собрания.

Отношение к Совету республики сразу превратилось для большевиков в острую тактическую задачу:

итти или не итти? Бойкот парламентских учреждений со стороны анархистов и полуанархистов продиктован стремлением не подвергать свое бессилие проверке со стороны масс и сохранить тем свое право на пассивное высокомерие, от которого врагам не холодно, а друзьям не тепло. Повернуться спиною к парламенту революционная партия может лишь в том случае, если ставит себе непосредственной целью опрокинуть существующий режим. В годы между двумя революциями Ленин с большой глубиной разрабатывал проблемы революционного парламентаризма.

Самый цензовый парламент может являться и не раз в истории являлся выражением действительного соотношения классов: таковы были, например, государственные думы после разбитой революции 1905-1907 годов. Бойкотировать такие парламенты значит бойкотировать действительное соотношение сил, вместо того, чтоб изменять его в пользу революции. Но Предпарламент Церетели-Керенского ни в малейшей мере не отвечал соотношению сил. Он был порожден бессилием и хитростью верхов, верой в мистику учреждений, фетишизмом формы, надеждой подчинить этому фетишизму неизмеримо более сильного врага и тем дисциплинировать его.

Чтоб заставить революцию, согнув спину и втянув голову, покорно пройти под ярмом Предпарламента, нужно было предварительно если не разбить революцию, то, по крайней мере, нанести ей серьезное поражение. В действительности же поражение понес три недели тому назад авангард буржуазии. Революция, наоборот, испытывала приток сил. Она ставила своей целью не буржуазную республику, а республику рабочих и крестьян, и ей незачем было проползать под ярмом Предпарламента, когда она все шире развертывалась в советах.

20 сентября Центральный комитет большевиков созвал партийное совещание в составе большевистских делегатов Демократического совещания, членов самого ЦК и петроградского Комитета. В качестве докладчика

от ЦК, Троцкий выдвинул лозунг бойкота по отношению в Предпарламенту. Предложение встретило решительное сопротивление одних (Каменев, Рыков, Рязанов) и сочувствие других (Свердлов, Иоффе, Сталин). Центральный комитет, разделившийся по спорному вопросу пополам, увидел себя вынужденным, вразрез с уставом и традицией партии, передать вопрос на разрешение совещания. Два докладчика: Троцкий и Рыков, выступали, как представители противоположных точек зрения. Могло казаться, и большинству казалось, что горячие прения имеют чисто тактический характер. На самом деле спор возрождал апрельские разногласия и подготовлял октябрьские. Вопрос шел о том, приспособляет ли партия свои задачи к развитию буржуазной республики, или же действительно ставит себе целью завоевание власти. Большинством 77 голосов против 50 партийное совещание отвергло лозунг бойкота. 22 сентября Рязанов получил возможность заявить Демократическому совещанию от имени партии, что большевики посылают своих представителей и Предпарламент для того, чтобы «в этой новой крепости соглашательства обличать всякие попытки новой коалиции с буржуазией». Это звучало радикально. Но по существу это значило политику революционного действия подменить политикой оппозиционного обличения.

Апрельские тезисы Ленина формально усвоены были всей партией; но на каждом большом вопросе из-под них всплывали мартовские настроения, еще очень сильные в верхнем слое партии, который во многих пунктах страны только теперь отделялся от меньшевиков. Ленин мог вмешаться в спор только задним числом. 23 сентября он писал: «Надо бойкотировать Предпарламент. Надо уйти в советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, уйти в профессиональные союзы, уйти вообще к массам. Надо их звать на борьбу. Надо им дать правильный и ясный лозунг: разогнать бонапартистскую банду Керенского с его поддельным Предпарламентом... Меньшевики и эсеры

не приняли, даже после корниловщины, нашего компромисса . . . Беспощадная борьба с ними. Беспощадное изгнание их из всех революционных организаций . . . Троцкий был за бойкот. Браво, товарищ Троцкий! Бойкотизм побежден во фракции большевиков, съехавшихся на Демократическое совещание. Да здравствует бойкот!»

Чем глубже вопрос проникал в партию, тем решительнее изменялось соотношение сил в пользу бойкота. Почти во всех местных организациях образовались свое большинство и меньшинство. В киевском комитете, например, сторонники бойкота, во главе с Евгенией Бош, составляли слабое меньшинство, но уже через несколько дней на общегородской конференции подавляющим большинством выносится решение о бойкоте Предпарламента: «нельзя терять время на болтовню и сеянье иллюзий». Партия спешила поправить свои верхи.

Тем временем, отбиваясь от вялых претензий демократии, Керенский изо всех сил стремился показать кадетам твердую руку. 18 сентября он отдал неожиданный приказ о роспуске Центрального комитета военного флота. Матросы ответили: «Приказ о роспуске Центрофлота, как незаконный, считать недействительным и требовать его немедленной отмены». В дело вмешался Исполнительный комитет и доставил Керенскому формальный повод, чтоб через три дня отменить свое постановление. В Ташкенте Совет, в большинстве из эсеров, взял в свои руки власть, сместив старых чиновников. Керенский послал назначенному для усмирения Ташкента генералу телеграмму: «Ни в какие переговоры с мятежниками не вступать... Необходимы самые решительные меры». Прибывшие войска заняли город и арестовали представителей советской власти. Немедленно открылась всеобщая забастовка, с участием 40 профсоюзов, в течение недели не выходили газеты, в гарнизоне пошло брожение. Так, в погоне за призраком порядка, Правительство сеяло бюрократическую анархию.

В тот самый день, когда Совещание вынесло решение против коалиции с кадетами, Центральный комитет кадетской партии предложил Коновалову и Кишкину принять предложение Керенского о вступлении в министерство. Дирижерство, как передавали, исходило от Бьюкенена. Этого, пожалуй, не надо понимать слишком буквально. Если не сам Бьюкенен, то дирижировала его тень: надо было создать правительство, приемлемое для союзников. Московские промышленники и биржевики упрямились, набивали себе цену, ставили ультиматумы. Демократическое совещание протекало в голосованиях, воображая, что они имеют реальное значение. На самом деле вопрос решался в Зимнем дворце, на соединенных заседаниях осколков Правительства с представителями коалиционных партий. Кадеты посылали туда своих наиболее откровенных корниловцев. Все убеждали друг друга в необходимости единства. Церетели, неисчерпаемый кладезь общих мест, открыл, что главное препятствие к соглашению «заключалось до сих пор во взаимном недоверии . . . Это недоверие должно быть устранено». Министр иностранных дел Терещенко подсчитал, что из 197 дней существования революционного Правительства 56 дней ушло на кризисы. На что ушли остальные дни, он не объяснил.

Еще прежде, чем Демократическое совещание проглотило шедшую наперекор его намерениям резолюцию Церетели, корреспонденты английских и американских газет сообщали по телеграфу, что коалиция с кадетами обеспечена, и уверенно называли имена новых министров. С своей стороны московский Совет общественных деятелей, под председательством все того же Родзянко, приветствовал своего сочлена Третьякова, приглашенного в состав Правительства. 9 августа эти господа посылали Корнилову телеграмму: «В грозный час тяжкого испытания вся мыслящая Россия смотрит на вас с надеждой и верою».

Керенский милостиво согласился на существование Предпарламента, при условии «признания, что органи-

зация власти и пополнение состава Правительства принадлежат только Временному правительству». Это унизительное условие продиктовали кадеты. Буржуазия не могла, конечно, не понимать, что состав Учредительного собрания будет для нее гораздо менее благоприятен, чем состав Предпарламента: «выборы в Учредительное собрание должны — по словам Милюкова — дать самый случайный и, быть может, пагубный результат». Если, тем не менее, кадетская партия, недавно еще пытавшаяся подчинить Правительство царской Думе, наотрез отказывала Предпарламенту в законодательных правах, то только и исключительно потому, что не теряла надежды сорвать Учредительное собрание.

«Либо Корнилов, либо Ленин», так определял альтернативу Милюков. Ленин, с своей стороны, писал: «Либо власть советов, либо корниловщина. Середины нет». Постольку Милюков и Ленин совпадали в оценке обстановки, и не случайно: в противовес героям соглашательской фразы, это были два серьезных представителя основных классов общества. Уже московское Государственное совещание наглядно обнаружило, по словам Милюкова, что «страна делится на два лагеря, между которыми не может быть примирения и соглашения по существу». Но где между двумя общественными лагерями не может быть соглашения, там дело решается гражданской войной.

Ни кадеты, ни большевики не снимали, однако, лозунг Учредительного Собрания. Кадетам он нужен был, как высшая апелляционная инстанция против немедленных социальных реформ, против советов, против революции. Той тенью, которую демократия отбрасывала от себя вперед, в виде Учредительного Собрания, буржуазия пользовалась для противодействия живой демократии. Открыто отвергнуть Учредительное Собрание буржуазия могла бы, лишь раздавив большевиков. До этого было далеко. На данном этапе кадеты стремились обеспечить независимость Прави-

тельства от организаций, связанных с массами, дабы тем вернее затем подчинить его полностью себе.

Но и большевики, не видевшие выхода на путях формальной демократии, не отказывались еще от идеи Учредительного Собрания. Они и не могли это сделать, не порывая с революционным реализмом. Создаст ли дальнейший ход событий условия для полной победы пролетариата, этого нельзя было предвидеть с абсолютной уверенностью. Но вне диктатуры советов и до этой диктатуры Учредительное Собрание должно было явиться высшим достижением революции. Точно так же, как большевики защищали соглашательские советы и демократические муниципалитеты от Корнилова, они готовы были защищать Учредительное Собрание от покушений буржуазии.

Тридцатидневный кризис завершился, наконец, созданием нового Правительства. Главную роль, после Керенского, призван был играть в нем богатейший московский промышленник Коновалов, который в начале революции финансировал газету Горького, состоял затем членом первого коалиционного правительства, вышел с протестом в отставку после первого съезда советов, вступил в кадетскую партию, когда она созрела для корниловщины, и теперь вернулся в Правительство, в качестве заместителя председателя и министра торговли и промышленности. Рядом с Коноваловым заняли министерские посты: Третьяков, председатель московского биржевого комитета, и Смирнов, председатель московского военно-промышленного комитета. Киевский сахарозаводчик Терещенко оставался министром иностранных дел. Остальные министры, в том числе и социалисты, были без особых примет, но вполне готовы не нарушать гармонии. Антанта могла быть тем более довольна Правительством, что послом в Лондоне оставался старый дипломатический чиновник Набоков, послом в Париж отправлен был кадет Маклаков, союзник Корнилова и Савинкова, в Берн — «прогрессист» Ефремов: борьба за демократический мир была передана в надежные руки.

Декларация нового Правительства представляла злостную пародию на московскую декларацию демократии. Смысл коалиции был, однако, не в программе преобразований, а в том, чтобы попытаться доделать дело июльских дней: обезглавить революцию, разгромив большевиков. Но здесь «Рабочий путь», одно из перевоплощений «Правды», дерзко напоминал союзникам: «Вы забыли, что большевики — это теперь советы рабочих и солдатских депутатов». Напоминание попадало в больное место. «Само собой — признает Милюков — ставился роковой вопрос: не поздно-ли? Не поздно-ли объявлять войну большевикам?» . . .

Пожалуй, действительно поздно. В день сформирования нового Правительства, в составе 6 буржуазных министров и 10 полусоциалистических, закончено было формирование нового Исполнительного комитета петроградского Совета, в составе 13 большевиков, 6 эсеров и 3 меньшевиков. Правительственную коалицию Совет встретил резолюцией, внесенной его новым председателем Троцким. «Новое правительство . . . войдет в историю революции, как правительство гражданской войны . . . Весть о новой власти встретит со стороны всей революционной демократии один ответ: *в отставку!* . . Опираясь на этот единодушный голос подлинной демократии, всероссийский съезд советов создаст истинно-революционную власть». Противникам хотелось видеть в этой резолюции лишь очередной вотум недоверия. На самом деле это была программа переворота. На ее выполнение понадобится ровно месяц.

Кривая хозяйства продолжала резко клониться вниз. Правительство, Центральный исполнительный комитет, вскоре и вновь созданный Предпарламент регистрировали факты и симптомы упадка, как доводы против анархии, большевиков, революции. Но у них не было и намека на какой-нибудь хозяйственный план. Состоявший при Правительстве для регулирования хозяйства орган не сделал ни одного серьезного шага.

Промышленники закрывали предприятия. Железнодорожное движение сокращалось из-за недостатка угля. В городах замирали электрические станции. Печать вопила о катастрофе. Цены росли. Рабочие бастовали слой за слоем, вопреки предупреждениям партии, советов, профессиональных союзов. Не вступали в конфликты только те слои рабочего класса, которые уже сознательно шли к перевороту. Спокойнее всего оставался, пожалуй, Петроград.

Невниманием к массам, легкомысленным безразличием к их нуждам, вызывающим фразерством в ответ на протесты и крики отчаяния Правительство поднимало против себя всех. Казалось, оно умышленно искало конфликтов. Рабочие и служащие железных дорог почти с февральского переворота требовали повышения заработной платы. Комиссии сменяли друг друга, никто не давал ответа, у железнодорожников выматывали душу. Соглашатели успокаивали, Викжель сдерживал. Но 24-го сентября взрыв разразился. Только тут Правительство спохватилось, железнодорожникам сделаны были кое-какие уступки, и стачка, уже успевшая охватить большую часть сети, прекратилась 27-го сентября.

Август и сентябрь становятся месяцами быстрого ухудшения продовольственного положения. Уже в корниловские дни хлебный паек был сокращен в Москве и Петрограде до полуфунта в день. В Московском уезде стали выдавать не свыше двух фунтов в неделю. Поволжье, юг, фронт и ближайший тыл — все части страны переживают острый продовольственный кризис. В текстильном районе под Москвой некоторые фабрики уже начали голодать в буквальном смысле слова. Рабочие и работницы фабрики Смирнова — владельца как-раз пригласили в эти дни государственным контролером в новую министерскую коалицию — демонстрировали с соседнем Орехове-Зуеве с плакатами: «Мы голодаем», «Наши дети голодают», «Кто не с нами, тот против нас». Рабочие Орехова и солдаты местного военного госпиталя делились с демон-

странтами своими скудными пайками: это была другая коалиция, поднимавшаяся против правительственной.

Газеты ежедневно регистрировали новые и новые очаги столкновений и бунтов. Протестовали рабочие, солдаты, мелкий городской люд. Солдатские жены требовали повышения пособий, квартир, дров на зиму. Черносотенная агитация пыталась найти себе пищу в голоде масс. Московская кадетская газета «Русские Ведомости», в старое время сочетавшая либерализм с народничеством, теперь с ненавистью и отвращением глядела на подлинный народ. «По всей России разлилась широкая волна беспорядков ... — писали либеральные профессора. — Стихийность и бессмысленность погромов ... больше всего затрудняют борьбу с ними ... Прибегать к мерам репрессии, к содействию вооруженной силы ... но именно эта вооруженная сила, в лице солдат местных гарнизонов, играет главную роль в погромах ... Толпа ... выходит на улицу и начинает чувствовать себя господином положения».

Саратовский прокурор доносил министру юстиции Малянтовичу, который в эпоху первой революции причислял себя к большевикам: «Главное зло, против которого нет сил бороться, это солдаты ... Самосуды, самочинные аресты и обыски, всевозможные реквизиции — все это, в большинстве случаев, проделывается или исключительно солдатами, или при их непосредственном участии». В самом Саратове, в уездных городах, в селах «полное отсутствие с чьей-либо стороны помощи судебному ведомству». Прокуратура не успевает регистрировать преступления, которые совершает весь народ.

Большевики не делали себе иллюзий насчет тех трудностей, которые должны будут лечь на них вместе с властью. «Выдвигая лозунг «Вся власть советам!», — говорил новый председатель петроградского Совета, — мы знаем, что он не исцелит мгновенно все язвы. Нам нужна власть, созданная на подобие правления профессионального союза, которое дает стачечникам

все, что может, ничего не скрывает, а когда не может дать, — открыто в этом сознается»...

Одно из первых заседаний Правительства было посвящено «анархии» на местах, особенно в деревне. Снова признано было необходимым «не останавливаться перед самыми решительными мерами». Попутно Правительство открыло, что причиной безуспешности борьбы с беспорядками является «недостаточная популярность» правительственных комиссаров в массах крестьянского населения. Чтоб помочь делу, решено во всех губерниях, охваченных беспорядками, срочно организовать «особые комитеты Временного правительства». Отныне крестьянство должно будет встречать карательные отряды приветственными кликами.

Непреодолимые исторические силы влекли правящих книзу. Никто не верил серьезно в успех нового Правительства. Изолированность Керенского была непоправима. Его измену Корнилову имущие классы забыть не могли. «Кто готов был драться против большевиков, — пишет казачий офицер Каклюгин, — тот не хотел этого делать во имя и в защиту власти Временного правительства». Цепляясь за власть, сам Керенский боялся сделать из нее какое-либо употребление. Возростающая мощь сопротивления парализовала в конец его волю. Он уклонялся от каких бы то ни было решений и избегал Зимнего дворца, где положение обязывало его к действиям. Почти немедленно вслед за образованием нового Правительства он подкинул председательство Коновалову, а сам уехал в Ставку, где в нем меньше всего было нужды. В Петроград он вернулся только для того, чтобы открыть Предпарламент. Удерживаемый министрами, он 14-го все же снова уехал на фронт. Керенский убегал от судьбы, которая преследовала его по пятам.

Коновалов, ближайший сотрудник Керенского и его заместитель, приходил, по словам Набокова, в отчаяние от непостоянства Керенского и полной невозможности положиться на его слова. Но настроения остальных членов кабинета немногим отличались от настрое-

ний его главы. Министры тревожно приглядывались, прислушивались, выжидали, отделывались отписками и занимались пустяками. Министр юстиции Малянтович был, по рассказу Набокова, крайне озабочен тем, что сенаторы не допускали к себе нового коллегу Соколова в черном сюртуке. «Как вы думаете, что нужно сделать?» спрашивал с тревогой Малянтович. По установленному Керенским ритуалу строго соблюдалось, чтоб министры называли друг друга не по имени отчеству, как простые смертные, а по занимаемому посту, — «господин министр такой-то», — как полагается представителям сильной власти. Воспоминания участников кажутся сатирой. По поводу своего военного министра сам Керенский впоследствии писал: «Это было самое неудачное из всех назначений: Верховский в свою деятельность внес что-то неуловимо комическое». Но беда в том, что налет непроизвольного комизма лежал на всей деятельности Временного правительства: эти люди не знали, что им делать и как повернуться. Они не правили, а играли в правителей, как школьники играют в солдатиков, только гораздо менее забавно.

Выступая, как свидетель, Милюков очень определенными чертами характеризует состояние главы Правительства в тот период: «Потеряв под собой почву, чем дальше, тем больше Керенский обнаруживал все признаки того патологического состояния души, которое можно было бы на языке медицины назвать «психической неврастенией». Близкому кругу друзей давно было известно, что от моментов крайнего упадка энергии утром Керенский переходил во вторую половину дня в состояние крайнего возбуждения под влиянием медицинских средств, которые он принимал». Милюков объясняет особое влияние кадетского министра Кишкина, психиатра по профессии, его умелым обращением с пациентом. Эти сведения мы полностью оставляем на ответственности либерального историка, у которого были, правда, все возможности знать правду, но который далеко не всегда избирал правду своим высшим критерием.

Показания столь близкого к Керенскому человека, как Станкевич, подтверждают если не психиатрическую, то психологическую характеристику, данную Милюковым. «Керенский произвел на меня — пишет Станкевич — впечатление какой-то пустынностью всей обстановки и странным, никогда не бывалым спокойствием. Около него были только его неизменные «адъютантики». Но не было ни постоянно раньше окружавшей толпы, ни делегаций, ни прожекторов... Появились какие-то странные досуги, и я имел редкую возможность беседовать с ним по целым часам, причем он обнаруживал какую-то странную неторопливость».

Каждое новое преобразование Правительства совершалось во имя сильной власти, и каждое новое министерство начинало с мажорных тонов, чтоб уже в ближайшие дни впасть в прострацию. Оно дожидалось затем внешнего толчка, чтоб развалиться. Толчек давало каждый раз движение масс. Преобразование Правительства, если отбросить обманчивую внешность, происходило каждый раз в направлении, противоположном движению масс. Переход от одного правительства к другому заполнялся кризисом, который каждый раз принимал все более затяжной и болезненный характер. Каждый новый кризис расточал часть государственной власти, обессиливал революцию, деморализовал правящих. Исполнительный комитет первых двух месяцев мог все, даже призвать номинально к власти буржуазию. В следующие два месяца Временное правительство вместе с Исполнительным комитетом еще могло многое, даже открыть наступление на фронте. Третье правительство, при обессиленном Исполнительном комитете, способно было начать разгром большевиков, но не способно было довести его до конца. Четвертое правительство, возникшее после самого долгого кризиса, неспособно было уже ни на что. Едва родившись, оно умирало и с открытыми глазами ждало своего могильщика.

СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ ВТОРОГО ТОМА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ГРАНИТ»

Printed in Germany

25p.

